

ВАЛДАР

МНОГО-РАЗ-
РОЖДЕННЫЙ



ДЖОРДЖ
ПРИФФИТ

ILLUSTRATED
BY

Priffitt

Annotation

Роман популярного фантаста Викторианской эпохи, вышедший в 1895 г., «Валдар Много-раз-рожденный» — это фантастическая сага о сыне Одина, который нарушил законы своей северной страны и в наказание обречен на множество перевоплощений на протяжении веков.

- [Джордж Гриффит](#)
 - [Пролог](#)
 - [Глава 1. Чужак в этом мире](#)
 - [Глава 2. Дочь богов](#)
 - [Глава 3. Первая кровь на священном мече](#)
 - [Глава 4. От победы к смерти](#)
 - [Глава 5. Удивительное пробуждение](#)
 - [Глава 6. Тигр-Владыка Ашшура](#)
 - [Глава 7. Тайна плоти](#)
 - [Глава 8. С Гудрун в Салем](#)
 - [Глава 9. Перед тронном Соломона](#)
 - [Глава 10. Любовь, что смертельнее ненависти](#)
 - [Глава 11. Клеопатра](#)
 - [Глава 12. И снова лук и меч](#)
 - [Глава 13. Разрушенная вера, разбитая надежда](#)
 - [Глава 14. Аве, Цезарь!](#)
 - [Глава 15. От Акциума до Голгофы](#)
 - [Глава 16. «Меч аллаха»](#)
 - [Глава 17. Сватовство Зорайды](#)
 - [Глава 18. Последний из пророков](#)
 - [Глава 19. Халид в Сирии](#)
 - [Глава 20. Смерть Зорайды](#)
 - [Глава 21. Назад в тень](#)
 - [Глава 22. Гость морских волков](#)
 - [Глава 23. Северная лилия](#)
 - [Глава 24. На священную войну.](#)
 - [Глава 25. Плавание смерти](#)

- [Глава 26. Во времена великой Елизаветы](#)
- [Глава 27. Сэр Валдар при дворе](#)
- [Глава 28. Непобедимая армада](#)
- [Глава 29. Поход «Безжалостного»](#)
- [Глава 30. Пламенный венец мученицы](#)
- [Глава 31. И снова жизнь и снова любовь](#)
- [Глава 32. Последняя победа](#)
- [Эпилог. В мирном саду.](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)

- [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
 - [45](#)
 - [46](#)
 - [47](#)
 - [48](#)
 - [49](#)
-

Джордж Гриффит

**Валдар Много-раз-рожденный. Семь
эпох жизни**

Пролог

Великий город наконец-то заснул, если он вообще когда-нибудь спит, этот английский Лондон, современный Вавилон владык мира. Звезды на востоке уже растворяются в белесой синеве зимнего утра, и земля, словно новобрачная, встречающая супруга, ждет восхода солнца, которое придет с юга, чтобы вновь родился Бальдр Прекрасный, как говаривали мы в те давние времена, о которых должен буду рассказать я — ас Валдар, сын Одина, отца веков, громовержца, дарователя побед^[1].

Я поведаю о многих удивительных вещах, прежде чем закончу свой рассказ. Я начал его сегодня в день солнцеворота, выполняя волю норн — трех бессмертных дев-волшебниц, сестер Урд, Верданди и Скульд, которым известно все, что было, что есть и что будет, и которые отмеряют судьбы людей, движущихся из прошлого через настоящее в будущее. Я пишу эти слова, сидя у выходящего на север окна моей верхней комнаты в этом новом Вавилоне, глядя на звезды, которые кружат над тем, что было моим первым домом в незапамятные века до начала времен. Пусть с виду я мало отличаюсь от тысяч людей, мимо которых ежедневно прохожу на ваших многолюдных улицах, но я, Валдар Много-раз-рожденный, пожимал руки людям, чей прах стал забавой ветра, что носится над землями, самые названия которых забыты, затеряны в сумеречных туманах утра времен; людям, которые умерли задолго до того, как стала записываться история человечества. Я жил в городах, из руин которых были воздвигнуты другие города, которые потом сами превратились в руины, и я видел могучих, блистательных царей, единственным воспоминанием о которых остались лишь их имена, и то только потому, что были высечены в вечном камне. Я стоял на крышах дворцов и храмов там, где сейчас лежат ровные пески пустыни, а там, где я вместе с разгоряченными вином товарищами распевал буйные песни, теперь скулит одинокий шакал и сова мигает на луну в лесной чаще.

Короли и воины, которые для вас не более чем имена, начертанные на свитке истории, были моими вождями или боевыми

товарищами, моими друзьями или моими врагами, как того желала судьба. Я смотрел на их лица теми же глазами, что сейчас смотрят на эту исписанную страницу. Я любил их и ненавидел, пировал с ними и сражался, так же, как люди делали и делают это вчера и сегодня. Я смотрел в глаза женщин, чей любовный взгляд воспламенил империи, и слышал слова бессмертной мудрости, слетавшие с уст пророков, которые открыли божественное откровение людям и основали мировые религии. Я видел не раз, как империи, словно переменчивый прилив, накатывались с Востока на Запад и откатывались обратно с Запада на Восток. Я пел триумфальные песни вместе с победоносными армиями, которые маршировали домой из завоеванных земель, где сейчас ветер пустыни свистит среди руин или где пахарь покрикивает на лошадей, которые тянут мирную сталь, ворочая землю.

Читая эти, казалось бы, дикие слова, вы спрашиваете теперь, как могло случиться, что кто-либо в смертном обличье, будь он из рода богов или людей, попал в жернова столь удивительной судьбы, и почему среди миллионов тех, кто жил, умер и был забыт, я был выделен, чтобы жить и помнить то, что другие могут только прочесть как повесть, которая покажется сном прошлых веков; повесть, населенную призраками, которые движутся туда-сюда как тени, отбрасываемые на ширму, или как неясные фигуры, подсвеченные неуверенным светом на темном фоне ночи времени.

Вопрос справедлив, читайте дальше и узнаете ответ. И если он покажется вам лишь рассказом об удивительном видении, порождением фантазии, то что ж в этом такого для меня или для вас, если у меня есть, что рассказать, а у вас есть настроение послушать?

И помните, даже если сомневаетесь, что прежде истина часто приходила к людям в обличье чудес и принималась или отвергалась в соответствии с их мудростью или глупостью.

Сегодняшние мифы вчера были религией, а мечты одного века становились деяниями следующего. Я, пишущий эти строки, видел мужчин и женщин, брошенных на растерзание диким зверям на арене, чтобы развлечь их агонией праздную публику имперского Рима, и я видел других мужчин и женщин, корчащихся в пламени святой инквизиции за то, что они исповедуют веру, отрицание которой вы считаете смертным грехом. Нужно ли выразить мораль точнее? Наверное, нет, потому что я прошу вас выслушать историю, которую

стоит рассказывать только тем, кому это интересно. Это все, что меня волнует, ведь я всего лишь рассказчик, канал, по которому течет ручей, и то, теряются ли воды в песках пустыни или удобряют поля будущих урожаев, имеет мало значения для их источника или русла, по которому они текут, так что читайте дальше, если хотите.

Глава 1. Чужак в этом мире

Во тьме бессознательности родился слабый, неопределенный толчок чувств. Сквозь черный покров забвения пробился тонкий лучик света, который поцеловал мои глаза, сомкнутые, кто знает, как долго, и заставил их открыться.

Трепет возвращающейся жизни сначала холодной дрожью пробежал по окоченевшим членам, а затем все более быстрыми волнами от сердца к мозгу и обратно стал распространяться по всему моему обнаженному телу, как рябь от камня, брошенного в стоячую воду. Так отступал и набегал прибой возвращающейся жизни. С каждым разом прилив усиливался, и вдруг, сделав глубокий судорожный вдох, я подобрался, вскочил на ноги и огляделся.

Это то, что я помню о первом из многих пробуждений от смертного сна, которые я испытал с тех пор, и вот так я, тогда еще смутно осознавая свою судьбу, отправился в свой земной путь, который начался в утро, которое для тех, кто читает эти строки, было более пяти тысяч лет назад.

Поднявшись на ноги и повернувшись на запад, я сделал еще один глубокий вдох, напряг все еще скованное тело и ноющие конечности и вытянулся во весь рост, широко разведя руки. В тот же миг порыв теплого ветра ударил мне в спину, стремительный поток света хлынул со светлеющего неба позади меня, и на голый утес, на котором я стоял, передо мной упала длинная тень, тень той мистической формы, которую я с тех пор видел в качестве символа во всех религиях мира: в молоте Одина, в мече Бэла и в Голгофском кресте.

Я повернулся, чтобы приветствовать солнце, и склонился перед его восходящим сиянием, так что мои длинные золотые локоны упали с плеч на лицо, и я мог видеть свет, сияющий и искрящийся сквозь них. Это был невольный акт поклонения, первое сознательное действие моего нового существования. Я снова поднял голову и, продолжая глубоко вдыхать свежий, сладкий воздух, который, казалось, разливался из груди по каждой жилке и нерву моего тела быстрыми потоками легкого экстракта жизни, стал рассматривать удивительный мир, в котором я так таинственно родился.

Я стоял на голом серо-коричневом утесе. Вокруг со всех сторон тянулись бесконечные ряды диких изломанных холмов, поросших густым лесом. Холмы круто спускались в темные глубокие долины, в которых все еще маячили тени уходящей ночи. Насколько я мог видеть, я был единственным обитателем какого-то первобытного мира, одиноким и беспомощным, если не считать силы рук и ног, обнаженным перед ужасным ликом матери-природы.

Но хотя мне и показалось, что я одинок, все же я был не один, потому что вскоре низкий, хриплый крик сзади заставил меня обернуться. Из густой сосновой поросли, окружавшей утес, вышли пятеро рослых мужчин в накидках из богатого темного меха, обутых в сандалии, с голыми руками и ногами. Их длинные черные волосы были убраны со лба назад и стянуты широкими лентами из желтой кожи. У каждого на спине был лук и колчан со стрелами, а в правой руке длинный блестящий обоюдоострый меч.

С минуту они стояли и глядели на меня, как будто онемев от изумления. Затем быстро и ловко четверо подбежали и встали по сторонам от меня, а пятый, чья головная повязка, как я заметил, была из золота, а пояс с ножнами представлял собой широкую серебряную цепь, подошел ко мне на расстояние трех шагов и незлобно заговорил на незнакомом музыкальном языке, все же направляя в мою сторону острие сверкающего клинка.

Я заглянул в его глаза, протянул к нему безоружные руки, раскрыв ладони, покачал головой и сказал на языке, который показался мне наполовину чужим, но все же родным:

— Твои слова мне непонятны. Кто ты?

Его брови сошлись на переносице, и в вопрошающих глазах появилось выражение недоумения. Он оглянулся на товарищей и сделал им знак, по-прежнему держа острие меча на уровне моей груди. Мечи звякнули в ножнах, а затем эти четверо мягко и быстро шагнули вперед и схватили меня за руки.

Едва я почувствовал их хватку, странный новый дух овладел мной, и горячая кровь ударила от сердца к голове. Мои мускулы собрались в узлы и шнуры на шее и груди, я вывернул руки вверх и выбросил их в стороны, и четверо сильных мужчин, державших меня, отлетели и упали на землю, словно маленькие дети.

Когда я выпрямился во весь рост, на добрую голову выше, как я теперь заметил, человека, стоявшего передо мной, он издал глухой резкий крик и пригнулся, как будто собрался броситься на меня; так пригибаются лев или тигр для последнего смертельного прыжка, как я много раз видел с тех пор. Еще мгновение, и острая сталь вонзилась бы в мое тело, но прежде чем он прыгнул, я, движимый каким-то непонятным мне тогда порывом, выставил открытую ладонь левой руки к острию меча, а правую ладонь протянул ему.

Наши глаза на мгновение встретились, и в его глазах вспыхнул свет доброты, а затем румянец, должно быть, стыда выступил на его смуглом лице. Он опустил меч и отпустил рукоять, и когда сталь звякнула о камень, его правая рука встретилась с моей в долгом, теплом рукопожатии, которое было знаком доверия и дружбы между людьми с самого начала мира, и когда хватка ослабла, я больше не был одинок в этом мире.

К этому времени четверо его товарищей поднялись на ноги и переругивались, стоя в нескольких шагах, хмурясь то ли от гнева, то ли от стыда за то, что с ними сделал безоружный человек. Но когда они взглянули на меня, в их глазах появилось что-то такое, что я много раз видел потом в глазах людей — смесь удивления с испугом, которые можно увидеть в глазах дикого зверя, когда он впервые встречает человека.

Они увидели во мне то, чего я еще не знал о себе самом, то, что мне суждено было узнать только после многих долгих лет мучительных раздумий, одиноких непонятных мыслей и быстрых, кратких откровений, просвечивающих сквозь дым и пыль сражений. Наконец, они склонили лица и отвели взгляды, как будто больше не осмеливаясь глядеть мне в глаза.

Увидев это, тот, кто пожал мне руку, снова улыбнулся мне, а затем со смехом сказал им несколько слов и положил мою ладонь себе на грудь. Его слова и знак были поняты сразу, и все четверо подошли, неловко кланяясь, как будто не привыкли выражать почтение. Он подвел их ко мне одного за другим и каждому положил на грудь мою руку, при этом каждый произнес два или три слова. Потом он указал пальцем на себя и медленно, четко произнес:

— Аракс!

После этого он указал на меня, подняв брови и глядя на меня с выражением, которое говорило так же ясно, как могли бы сказать слова на моем родном языке:

«Меня зовут Аракс. А как зовут тебя?»

Некоторое время я молчал, потому что у меня не было имени, и, хотя я понял вопрос, я не мог на него ответить. Вдруг у меня вырвалось слово «Терай», что на моем неизвестном языке означало «незнакомец» или «странник».

Это слово было не хуже любых других, так как он увидел, что я понял его, и принял произнесенное слово за мое имя. И в самом деле, я бы и не мог выбрать лучшее, ибо разве не был я чужаком на Земле, и разве эти пять охотников не были единственными смертными, которых я знал тогда во всем мире? Он повторил его два или три раза, как ребенок, который учит новый урок, и заставил своих товарищей повторить его за ним.

Подняв меч и вложив его в ножны, он снова взял меня за руку и повел с утеса к тому месту, откуда он с товарищами вышел из леса. Отсюда узкая тропинка вилась вниз в долину, и по ней мы с ним пошли рядом, а четверо следовали за нами гуськом.

Мы споро спускались вниз, не произнося ни слова, пока тропинка не свернула резко влево вдоль небольшого ручья с прозрачной коричневой водой. Тогда мы пошли быстрее и все так же молча по гладкому мягкому дерну, засыпанному сосновыми иголками и гнилой листвой, пока сумрак леса, через который ручей бежал, как под куполом, не уступил место яркому свету и тропинка не вышла на маленькую горную поляну, на краю которой под высокими прямыми соснами приютилась бревенчатая хижина с крытой мхом крышей.

Дверь ее была приоткрыта, в нее и зашли мы с Араксом в сопровождении двух других. Один из них высек огонь из чего-то, что держал в руке, зажег сосновый факел и воткнул в металлическое гнездо в стене. Когда факел разгорелся, я огляделся и увидел висящие на стенах хижины луки и связки стрел, топоры, копья и другое охотничье оружие, название и назначение которого мне вскоре предстояло узнать.

В углу висели две или три шкуры. Аракс снял одну и, развернув передо мной, показал, что это была меховая накидка, как та, что была надета на нем. Затем он сделал несколько движений, из которых я

понял, что он хочет одеть меня, и я довольно неловко позволил ему это сделать. Затем он взял полосу выделанной кожи и завязал ее у меня на поясе, а потом снял со своей головы золотую ленту и надел ее на мою, откинув с лица мои длинные, густые волосы. Наконец, нашел пару сандалий, жестом предложил сесть, и крепко, но свободно привязал их к моим ногам.

Все это он проделал с улыбкой и, очевидно, был очень доволен собой и мной, как мать, одевающая своих детей, так как он, очевидно, взял меня, чужестранца, под свое покровительство и старался сделать меня как можно более похожим на себя и своих товарищей. Но он не предложил мне оружия, ни меча, ни копья, и не пытался повесить мне на спину лук или колчан. Это должно было случиться позже.

Когда он закончил этот мой самый первый на свете наряд, снаружи послышалось потрескивание, а так как дверь была открыта, вскоре я почувствовал приятный запах, который был незнаком для моего носа и который пробудил во мне еще более незнакомые чувства. Я посмотрел на дверь, потом на Аракса, улыбаясь, сам не зная чему, а он, кивая и смеясь в ответ, взял меня за руку и вывел из хижины на поляну, где ярко пылал костер. Один из товарищей Аракса резал на куски мясо какого-то недавно убитого животного, а другой жарил их над огнем. Третий катал маленькие лепешки из муки и воды на плоском куске коры, а вскоре из-за хижины появился четвертый, неся в обеих руках большую чашу с пенящимся парным молоком.

Потом мы шестером — я и пятеро моих удивительным образом обретенных друзей — уселись на зеленой траве этой уединенной горной поляны, и я впервые поел. Впервые я почувствовал голод и жажду, и впервые я утолил их.

С тех пор я трапезничал с королями и полководцами, ел с серебряных блюд и пил крепкое вино многих стран из золотых кубков, сверкающих драгоценными камнями; я ломал твердые скудные сухари у костра на биваке и запивал их мутной водой из вытопанного ручья; я проводил целые дни в пустыне, питаясь десятком фиников и несколькими пригоршнями муки; но какой бы ни была еда, хорошей или плохой, богатой или скудной, никогда с тех пор я не пробовал ничего вкуснее того первого простого охотничьего завтрака, съеденного на маленькой поляне среди гор в стране, названия которой я даже не знал.

Когда, наконец, мы закончили, а я могу сказать вам, что мы сидели долго, потому что были голодны — я после поста, который длился, не знаю, как долго, а мои спутники после похода по пронизывающему свежему горному воздуху — Аракс поднялся на ноги, а за ним и все остальные. Он положил мне руку на плечо и указал на холмы далеко на западе, а потом на тропу, по которой мы пришли, показывая, что нам предстоит долгое путешествие. Я кивнул, чтобы показать, что понял его, и потянулся так, что завязки моей накидки чуть не лопнули, потому что она была пошита на человека меньшего, чем я.

Его товарищи затоптали костер, отнесли в хижину то немного, что осталось от съеденного животного, и когда с этими простыми делами было покончено, мы снова двинулись в путь, шагая один за другим. Аракс с двумя спутниками шел передо мной, а двое других шагали сзади.

Так шли мы по лесным тропам, карабкались по горам и ныряли в долины, а солнце поднималось все выше и выше над нашими головами и начинало светить нам в лицо. Наконец, мы взобрались на последний гребень, и с его вершины я увидел широкую красивую долину, посреди которой возвышался высокий крутой холм из голых, зазубренных скал, на вершине которого послеполуденное солнце роняло лучи на белые зубчатые стены и низкие массивные башни крепости, которая должна была стать моим первым домом на земле.

Как только мы перевели дух на вершине хребта, Аракс указал на крепость и произнес:

— Армен!

Он выхватил меч, вытянул его перед собой, указывая сначала на город, а затем на клинок жестами, которых я тогда не понял, но которые, как я вскоре узнал, означали, что крепость на горе — это Армен, город Меча. Мы снова двинулись по тропинке вниз в долину и, когда заходящее солнце уже собиралось скрыться за вершинами западных гор, мы взобрались по крутой извилистой тропинке, которая вела вверх по скале к главным южным воротам города.

Стража увидела нас издалека и, узнав тех, кто был со мной, заранее распахнула для нас ворота. Пока мы проходили под высоким порталом между огромными башнями-близнецами, по обе стороны от себя я видел длинную шеренгу людей, одетых и вооруженных так же,

как товарищи Аракса. Когда мы ступили на короткую, но широкую улицу, ведущую от ворот к цитадели в центре, тысячи клинков с обеих сторон взметнулись из ножен в яркое вечернее небо.

В тот же миг Аракс и его спутники обнажили мечи, словно в ответ на приветствие, а затем, обменявшись несколькими словами с воином, бывшим, по-видимому, главным у ворот, Аракс поставил меня слева от себя, двух людей спереди, других двух сзади, и таким порядком мы молча прошли к воротам цитадели между двумя рядами сверкающей стали. Воины с обеих сторон наклонили поднятые мечи внутрь, так что казалось, будто мы идем под длинной стальной аркой.

Не было произнесено ни слова, пока стражи ворот не окликнули нас, но по удивленным взглядам, бросаемым на меня, я видел, что многие из этих суровых и молчаливых воинов были бы рады удовлетворить любопытство, вызванное моей странной внешностью. Аракс ответил часовым, и когда они сделали шаг в сторону, салютуя обнаженными мечами, двери открылись, и мы с Араксом вошли, оставив четверых снаружи с часовыми. Когда двери за нами закрылись, я услышал долгий звонкий стук клинков, падающих обратно в ножны, и беспорядочный топот тысяч ног, когда встречавшая нас стража покинула строй.

Аракс взял меня за руку и провел из дворика, в который выходили ворота, в одно из крыльев цитадели, в просторную квадратную комнату, из которой выходили три двери. Стены этой комнаты из гладкого камня были увешаны боевым и охотничьим оружием, трофейными доспехами и щитами, головами медведей и кабанов, а также рогами множества благородных оленей, павших от стрел Аракса. Пол был устлан душистым зеленым тростником. Вдоль двух стен стояли кушетки, покрытые богатыми мехами, а на тяжелом деревянном столе со скамьями с трех сторон и большим резным дубовым креслом во главе располагались кувшины и кубки из золота, серебра и бронзы.

Аракс хлопнул в ладоши, и двое мужчин в серых шерстяных хитонах с гладко выбритыми лицами и коротко остриженными волосами вошли и унесли со стола два больших серебряных кувшина. Когда они вернулись, один держал кувшины, полные темно-красного вина, а другой — чеканный серебряный поднос, на котором лежало свежеприготовленное мясо, лепешки из грубой муки и фрукты.

Поставив все на стол и склонив головы, они пятась вышли из комнаты. Аракс поднял кувшин и наполнил два кубка из кованого золота, один подал мне, а другой взял сам, и так я и первый друг, которого я приобрел на свете, выпили за здоровье друг друга, сделав по хорошему глотку того прекрасного дара богов, который во все века был символом доброты и дружбы.

Мы сели за стол и вместе поели, а после он отвел меня во внутреннюю комнату и там заставил сменить грубую меховую накидку на длинную тунику из тонкого белого льна, расшитую цветными нитями. Он надел серебряный пояс мне на талию, золотую цепь на шею, а на плечи накинул плащ из синей шерстяной материи, скрепленный бронзовыми фибулами, и, когда он, наконец, стал доволен мною, сам оделся примерно так же, за исключением того, что повесил на пояс меч, но, как и прежде, мне меча не дал. Затем он указал на меховое ложе у стены, как бы предлагая лечь и отдохнуть, и, кивнув на прощание, вышел из комнаты, оставив меня одного размышлять об удивительных вещах, которые приключились с утра, и гадать о том, что будет дальше.

Свет проникал в комнату через длинные узкие окна, прорезанные в одной из стен, и отверстие в крыше, прикрытое белым навесом. Я оставался один в комнате, пока не стемнело. Потом я услышал голоса и шаги и увидел свет в дверном проеме центральной комнаты. Вошел Аракс в сопровождении человека с зажженным факелом и, увидев, что я не сплю, сделал знак следовать за ним. В центральной комнате было еще шесть человек, одетых, как Аракс, но не так богато, и еще трое безоружных слуг с факелами.

Аракс взял меня за правую руку и что-то сказал воинам, на что они ответили, положив руку на рукоять меча и склонив передо мной головы. Затем Аракс произнес что-то еще более резким тоном, и слуги с факелами встали по обеим сторонам двери. Пройдя между ними, мы вышли во двор.

Мы прошли под высокой аркой и поднялись по широкой каменной лестнице. Наверху была большая двухстворчатая бронзовая дверь. По обеим ее сторонам стояли по два человека с факелами, а на самой верхней ступени перед дверями нас ждал богато одетый и полностью вооруженный человек в белой стальной кольчуге, в блестящем бронзовом шлеме с перьями, опоясанный серебряным поясом, с

золотой цепью на шее. В левой руке он держал длинное стальное копье, а в правой обнаженный меч. Когда мы поднялись, рукоять меча он приставил к груди, а острие направил к нам.

Аракс, шедший на две ступени выше нас, остановился перед ним, вынул меч и сделал быстрый знак, потом поцеловал меч в перекрестие рукояти и опустил острие на пол. Закованный в сталь стражник проделал то же самое, затем повернулся и трижды ударил по двери рукоятью своего оружия. Обе створки мгновенно распахнулись, и на нас хлынул поток яркого красного света, сквозь который мои ослепленные глаза некоторое время не могли разглядеть ничего, кроме смутных движущихся фигур и взмахов оружием.

Я все еще стоял на лестнице, когда Аракс жестом пригласил меня следовать за ним. Я поднялся и прошел между стражами двери, прикрывая глаза от света. Аракс взял меня за руку и повел вперед, а в это время взрыв дикой, гортанной песни смешался со звоном оружия вокруг.

Когда мои глаза вновь обрели ясность, я увидел сцену, которая после всех прекрасных и удивительных событий, через которые я прошел с тех пор, все так же свежа в моей памяти, как первый взгляд мужчины в глаза женщины, которую он полюбит. Я находился в большом каменном зале с арочной крышей из могучих кедровых стропил, изогнутых, высоких, украшенных причудливыми резными узорами. Стены были увешаны щитами, шлемами, оружием, охотничьими и военными трофеями. Вдоль стен стояли две шеренги слуг, держащих в руках пылающие факелы.

В центре зала выстроились две двойные шеренги воинов в кольчугах и шлемах. Люди из внутренних шеренг высоко подняли обнаженные клинки, так что их острия соприкасались, а над ними внешние ряды скрестили острия длинных копий. Между этими стенами воинов и под этой длинной стальной аркой мы с Араксом шли вперед одни, пока не прошли три части большого зала.

Затем он остановился и дал мне знак сделать то же самое. Снова раздался громopodobный крик, мощный лязг стали и быстрый, ритмичный топот множества ног. Арка из мечей исчезла, живые стены разошлись в стороны, освободив помещение, и в центре зала я остался один в десяти шагах от подножия трона, поднятого на широких каменных ступенях почти на половину моего роста, а за ним на той же

высоте открывался большой квадратный алтарь, высеченный из могучей скалы.

На каждом углу алтаря в золотом блюде горел огонь, от которого поднимались ввысь длинные бледные языки пламени и легкие перистые облака ароматного дыма. В центре алтаря возвышался огромный обоюдоострый меч с крестообразной рукоятью, его блестящее лезвие сверкало голубым светом от пламени горящих огней. У правого края алтаря, лицом к залу, стоял старый жрец с белоснежными волосами и бородой, одетый в длинное белое одеяние, доходившее до пола.

Все это, как бы странно оно ни выглядело, можно легко описать, но как моими бедными словами рассказать о той, что сидела на троне, обхватив руками подлокотники, и, наклонившись вперед, смотрела мне прямо в лицо взглядом, который ослепил меня больше, чем свет всех факелов? Представьте себе всё изящество и всю красоту, которые вы когда-либо видели воплощенными в форме той сладкой тайны, что зовется женщиной; соберите, если сможете, все из нежнейших прелестей самых прекрасных женщин, которых вы видели или о которых мечтали, в единственный образ божественной красоты и вы, возможно, увидите тень той сладкой реальности, которая была для меня в тот момент видением потерянного рая. Среди всей этой толпы смуглых черноволосых воинов сидела она — единственная женщина в зале, бледная, как лилия, и белая, как первый снег, выпавший на горные вершины.

Но я уже не видел ничего вокруг, кроме ослепившей меня красоты и удивленного взгляда двух огромных звездных глаз, устремленных на меня, и блеска алтарных огней, играющих на длинных волнистых прядях золотисто-рыжих волос, струившихся из-под сверкающей диадемы из стали и драгоценных камней, венчавшей ее. Пока я стоял, скованный и ошеломленный магией этого прекрасного существа, она обратила все еще удивленные глаза к Араксу, который оставил меня и стоял рядом с ее тронem. Ее красные губы приоткрылись и блеснули белые блестящие зубки, когда она заговорила с ним.

Пока я не услышу песен ангелов в раю, для меня не будет более сладкой музыки, чем та, что я услышал, когда она заговорила среди тишины, которую, казалось, никто не осмеливался нарушить даже звуком дыхания. Но для меня это была больше, чем музыка, потому

что, хотя я не мог понять ее слов, ее голос, словно эхо из далекого прошлого, будоражил мою кровь и пел в моем мозгу, пока почти не свел с ума от желания и замешательства.

Где я слышал его раньше? Я — чужак на земле, который до этого утра никогда не видел человеческого лица! И все же, словно человек, очнувшийся от сна и оглядывающийся на какое-то восхитительное ночное видение, я стоял перед ней, стараясь вспомнить что-то, что мое смутно просыпающееся сознание тщетно пыталось ухватить. Она умолкла, и, словно оборвалась нить, мой краткий сон наяву закончился, и знакомый голос Аракса вернул меня в настоящее.

Все еще стоя рядом с тронном, он повернулся к собравшимся воинам и громким, ясным, ровным голосом рассказал, как я узнал впоследствии, о том, где и как нашел меня. Когда он смолк, удивленный ропот пробежал вверх и вниз по сияющим рядам тех, кто заполнял обе стороны зала, а к передней части алтаря подошел жрец, повернулся лицом к мечу, поднял руки над головой и трижды поклонился ему, как бы призывая благословение.

Затем он повернулся к нам и заговорил, а я все еще стоял посреди комнаты, устремив голодный, восхищенный взгляд на лицо той, что сидела на троне. Священник говорил всего несколько минут, и когда он закончил жестом, который сделал обеими руками в сторону царицы (я, конечно, догадался, что это царица), воины снова испустили громовой крик, жужжащим круговым движением каждый меч выскочил из ножен, на мгновение указал на алтарь, а затем опустил и замер на груди того, кто его держал.

Когда крик стих, Аракс спустился по ступеням и, взяв меня за руку, подвел к трону, и я не стыжусь признаться, что дрожал как трус, идущий на смерть, приближаясь к этому прекрасному лицу и двум звездам, сиявшим из-под стальной диадемы.

Движимый каким-то неведомым порывом, я, никогда прежде не преклонявший колена, теперь преклонил его у подножия ее трона. Она протянула мне белую руку с большим драгоценным камнем, сверкнувшим на указательном пальце, и моя рука, самая сильная во всем этом огромном зале, заполненном воинами, задрожала, как колеблемый ветром лист, когда я коснулся ее. Поклонение, которое сердце каждого мужчины питает к красоте женщины, побудило меня поцеловать ее руку, и когда ее мягкая, теплая плоть коснулась моих

губ, мой язык развязался, и, все еще стоя перед ней на колене, я поднял глаза, наполовину ослепший от ее ошеломляющей красоты, и сказал, конечно, на своем языке, забыв в удивительной страсти, что она не сможет понять меня:

— Откуда я пришел, я не знаю, и даже не знаю, кто я и что я, но из какого-то далекого мира за пределами звезд я уже видел твои глаза, глядящие в мои, и при свете, который не сияет в этом новом мире, где я сейчас существую, я наблюдал видение твоей красоты. Твой голос говорил со мной на моем родном языке, хотя теперь он говорит на другом, и моя рука сжимала твою, хотя ты об этом не знаешь, да и я лишь смутно это помню.

Слова все быстрее и жарче слетали с моих уст, и к тому времени, как я закончил говорить, она вырвала свою руку из моей и съежилась в глубине просторного трона, прижав обе руки к украшенному диадемой лицу, приоткрыв рот и глядя на меня глазами, полными изумления и ужаса. Гневный ропот за моей спиной быстро перерос в глубокий хриплый рев, прокатившийся по залу, и я услышал резкий скрежет стали о сталь, когда тысячи мечей снова выскочили из ножен.

Я вскочил на ноги, обернулся и обнаружил тысячу искаженных гневом лиц и тысячу сверкающих клинков, направленных на меня. Вдруг раздался резкий крик, чистый нежный голос властно заглушил хриплый ропот, который все еще катился по залу, а за ним последовал еще один крик, но другим голосом. Тогда гневные лица отвернулись от меня, мечи опустились, и воины вернулись в свои шеренги.

Я огляделся и слева увидел высокую белую фигуру царицы, более чем царской грации и величия, стоящую рядом с тронном, а справа старого жреца, который на дрожащих ногах спускался по ступеням высокого алтаря.

Затем произошло самое необычное из всех странных событий того удивительного дня. В пяти шагах от меня он простерся на земле передо мной, а затем встал на колени, протянул ко мне руки и произнес на моем языке, но запинаясь, как человек, для которого этот язык неродной:

— Славься, сын звезд! Приветствую тебя от имени тех, кто давно ждал тебя на земле! Боги наконец услышали молитвы своих слуг, и близок день славы для Армена и детей Меча!

Глава 2. Дочь богов

Как рассказать о чувствах, захлестнувших мою душу, или о глубочайшей тишине, наполненной страхом и удивлением, охватившей все доблестное собрание от царицы у трона до слуг, державших факелы в дрожащих руках, когда старый жрец заговорил на моем языке, незнакомом остальным, преклонив колени предо мной, незнакомцем, как перед видимым воплощением бога?

Сзади я слышал быстрые, короткие всхрапы торопливого дыхания, какие я много раз с тех пор слышал в напряжении битвы, когда удары падали часто и быстро, а кровь, льющаяся из раны, уносила жизнь из доблестных героев, которые ушли и не оставили даже имени после себя. Передо мной стоял Аракс, с благоговением глядя на меня во все глаза, а рядом с ним, слегка раскачиваясь из стороны в сторону, пытаюсь удержаться рукой о трон, стояла та, перед кем я только что преклонял колена, и которая теперь смотрела на меня так, словно ждала, что божественное сияние сейчас вспыхнет и окружит мой человеческий облик.

Что касается меня, то я застыл, безмолвный и замороженный всем случившимся, пока жрец не встал с колен. Поднявшись по ступеням позади трона, он устремил руки к толпе воинов и произнес несколько коротких, серьезных слов на их родном языке. Он замолчал, и мечи снова сверкнули из ножен, и, взмахнув ими высоко в воздухе, воины снова издали тот гортанный крик, которым приветствовали мое поклонение их царице. Когда крик стих, перекатываясь эхом среди бревенчатых стропил крыши, жрец продолжил, на этот раз обращаясь ко мне на моем языке:

— Ты, пришелец среди людей, не ведающий, откуда пришел и куда идешь, если ты тот, кого давно ждали дети Меча, тот сын звезд, о котором было предсказано, что он поведет сыновей Армена к победе, ты, чей язык — язык сыновей богов, на котором в древние времена они говорили, когда ухаживали за дочерьми людей, прежде чем грех пришел на землю, и чей язык теперь забыт всеми, кроме тех, кто служит у алтарей Неназванного — если ты действительно тот, кого Армен так долго ждал, тогда в знак своей миссии взойди сюда и

возьми этот меч с его места. Но прежде чем ты отважишься на это испытание, выслушай предупреждение, которое было сделано в древности и до сих пор записано в нашей священной книге: тот, кто положит руку на Меч Армена и не сумеет вытащить его из камня, в который он погружен до середины рукояти, будет связан железными цепями и брошен на алтарь, и там умрет смертью, назначенной богохульнику. Поэтому, если ты боишься смерти, скажи об этом и уйди невредимым, но больше мы не увидим твоего лица!

Как ни удивился я этой странной речи, она все же пробудила во мне желание произнести слова, которые, казалось, исходили не от меня, а скорее от кого-то более мудрого и могущественного, чем я:

— Я ничего не знаю ни о смерти, о которой ты говоришь, ни о страхе, который я могу испытывать перед тем, что не имеет для меня никакого значения, и я не возьму меч с того места, где он стоит, только по твоему приказу. Но если бы та, что стоит передо мной, приказала мне вытащить его, тогда, будь он зарыт хоть в самом центре того камня, я бы вырвал его и положил к ее ногам, чтобы получить еще один ласковый взгляд ее глаз.

— Тот, кто не знает ни смерти, ни страха смерти, несомненно, должен быть чем-то большим, чем человек, но отважиться на смерть ради женской улыбки, действительно очень по-мужски! — грустно улыбнулся жрец. Повернувшись к царице, он сказал ей несколько слов на языке Армена. Слушая, она то бледнела, то краснела, глаза ее в недоумении перебегали с него на меня, а когда он замолчал, она спустилась по ступеням трона и протянула мне руку.

Я взял ее, и в тишине, в которой наши шаги отчетливо отдавались по камню, она подвела меня к самой верхней ступеньке перед алтарем и встала рядом со мной, указывая на рукоять меча, наполовину утопленную в камне. Жрец по другую от меня сторону возложил руку на алтарь:

— Теперь, дитя Земли или сын звезд, кем бы ты ни был, царица Армена, Владычица меча, которой сто тысяч воинов, таких, каких ты видишь там внизу, поклялись отдать свою жизнь, велит тебе взять священный клинок и владеть им, если сможешь. Ты доволен?

— Да, — ответил я. — И пусть моя правая рука отсохнет до плеча, если мне это не удастся!

Я протянул руку над алтарем и взялся за рукоять меча; между камнем и крестовиной как раз хватило места для ладони. Когда моя рука сомкнулась на мече, меня охватил тот же порыв, что заставил швырнуть четырех спутников Аракса наземь. Но было и нечто большее, потому что левой рукой я все еще держал царицу за руку и чувствовал, как она затрепетала в моей ладони, когда я протянул правую руку к мечу.

Я взглянул в ее глаза, устремленные на меня снизу-вверх, еще крепче сжал рукоять меча, дернул его, так что клинок закачался взад-вперед в свете алтарных огней, а затем одним могучим рывком выдернул его из развороченного камня. Трижды взмахнув им над головой в странном экстазе вновь обретенной радости, я опустился на колени и положил меч к ногам той, которая отныне была и его владычицей и моей.

Увидев это, жрец простерся передо мной, и каждый воин в зале опустился на колени там, где стоял и, прижав крестовую рукоять своего меча ко лбу, приветствовал меня — пришельца со звезд, каким все стали считать меня с этого момента, повелителя обнаженного меча и командующего армией Армена. Потом они поднялись на ноги и громогласно скандировали здравицу, а священник подошел ко мне и, опустив голову, произнес:

— Не подобает моему господину преклонять колена даже перед нашей госпожой Илмой, пред которой одной преклоняются все сыновья Армена, поэтому пусть мой господин встанет, а она своими руками опояшет меч, который в твоих руках принесет победу над врагами Армена.

С этими словами он ушел в каморку за алтарем и вернулся, неся в распростертых руках широкий цепной пояс с толстыми плоскими звеньями из чеканного золота, и, когда я встал, застегнул его на мне, а Илма, подняв обеими руками тяжелый меч с пола, куда я положил его к ее ногам, повесила его у меня на боку, а затем наклонилась и благословила золотую крестовую рукоять поцелуем, память о котором заставляла острый, сильный клинок бить глубже и вернее, чем любое другое оружие, которое я когда-либо применял во всех тысячах сражений, в которых я с тех пор прокладывал путь к победе или смерти.

Вот так я, ас Валдар, попал в Армен, мой первый земной дом, хотя тогда, как я уже говорил, я не знал, кто я и откуда пришел; и вот так пришли ко мне те две могучие силы, которые, что бы ни говорили ученые мужи, больше всего сделали для судьбы мира и судеб людей — меч сражений в руке и любовь женщины в сердце.

Я повернулся и посмотрел на вновь выстроившиеся ряды воинов, чьи взгляды сменились с гнева и подозрительности на уважение и почтение, больше не безоружный, а опоясанный мечом, как лучшие из них. Жрец Ардо заговорил с ними вместо меня и рассказал, как я совершил чудо только по приказу их царицы и так смело бросил вызов смерти, чтобы заслужить ее улыбку и добрый взгляд; и положив меч к ее ногам, я сделал это в знак служения и преданности ей и Армену.

Он замолчал, и громовой крик воинов снова сотряс кедровые балки крыши, а когда он затих, Илма тоже заговорила с ними, и они слушали ее, как маленькие дети. Что она говорила, я узнал много позже, но как музыка одинаково говорит с разноязыкими людьми, так и ее голос и жесты показывали, что она говорит обо мне и о себе. Пока я слушал сладкие переливы ее речи, видел, как на ее щеках вспыхивает и гаснет румянец, видел свет ее души, то сиявший в ее глазах, то затенявшийся белыми веками с длинными ресницами, которые то и дело опускались на них, мне так хотелось узнать, что она говорит, что я не мог дождаться, когда смогу попросить Ардо перевести ее слова.

Потом Илма заговорила о чем-то другом, отчего горячий румянец выступил на ее щеках, а в глазах вспыхнуло живое пламя; о чем-то, что заставило ее маленькие кулачки крепко сжиматься, а грудь вздыматься и опускаться под белым одеянием, и что заставило ее чистый, нежный голос звенеть, как серебряные трубы Ашшура звенели на заре перед городами, которым до прихода ночи было суждено превратиться в развалины.

Как влюбленный цепляется за слова возлюбленной, как старый боевой конь вострит уши, слыша топот военной колонны, так и воины Армена слушали, затаив дыхание, сжав кулаки и сверкая глазами от жажды битвы, в то время как Владычица меча очаровывала их колдовскими словами и воспламеняла их кровь пламенным красноречием.

Когда эхо от звона клинков и последовавшего за ее речью рёва одобрительных возгласов затихло, Аракс сделал знак, мгновенно

вытянулись и сошлись шеренги, и быстрее, чем я успел это записать, снова была выстроена стальная арка от ступеней трона до двери. Илма спустилась с трона и, склонив царственную голову, приветствуя меня, прошла под длинной сверкающей стальной аркой в сопровождении Аракса.

Когда ее белая фигурка исчезла из вида, факелы потускнели, пламя алтаря побледнело, а большой зал стал мрачным, как горная долина ночью после захода луны. Я не сводил глаз с громадных дверей, которые захлопнулись за ней, когда Ардо дотронулся до меня. Я повернулся к нему. Он поклонился и сказал:

— Если мой господин последует за мной, он узнает многое из того, что, возможно, хочет знать.

— Да, хочу, потому что события сегодняшнего дня были удивительными, и у меня больше вопросов, чем у тебя хватит терпения отвечать, так что веди меня и давай начнем.

— Пусть мой господин следует за мной, я расскажу все, что знаю.

С этими словами Ардо двинулся к маленькой двери в боковой стене, куда я прошел за ним, пока воины выходили из больших дверей в конце зала. Мы попали в маленькую комнату, скромно обставленную и освещенную лампой причудливой формы, которая давала бледное пламя, как у алтарных огней. Вдоль одной из стен стояла кушетка, накрытая шкурами, на ней я устроился полусидя-полулежа, а он сел в большое резное кресло из кедра.

— Прежде всего, скажи мне, — начал я, — где я и что это за страна, в которую я так странно попал?

— Это Армен, страна Меча, и ее жители называют себя детьми Меча, потому что мечом они завоевали ее в ушедшие века и с помощью меча они удержат ее. Для многих поколений меч, который висит у тебя на боку, был знаком их веры и видимым символом их бога.

— А теперь, — спросил я, чувствуя, как часто бьется мое сердце и как дрожит мой голос, — скажи мне, кто она, что правит в Армене? Кто эта дочь богов, которую вы называете Владычицей меча?

— Воистину, она дочь богов, ибо попала к нам так же необычно, как и ты, мой господин. Однажды почти двадцать лет тому назад наш царь Аракс, отец того, кто встретил тебя сегодня утром в горах, сражался с детьми Ашшура, о которых я расскажу позже, мой

господин. В самый разгар битвы к нему пробился небольшой отряд Анакимов, людей огромного роста, сынов пустыни, как их называют на языке юга, и один из них обратился к царю: «Аракс из Армена, есть ли у тебя время для отцовской любви посреди битвы, и так ли сильна твоя рука, чтобы защитить слабого, как она способна поражать сильных?»

И царь Аракс ответил: «Что было бы проку от моей силы для моего народа, если бы это было не так». Тогда незнакомец сказал: «Вот тот слабый, кого ты должен защитить. Возьми эту девочку, ибо начертано, что, если вы с ней выйдете живыми из битвы, ты дашь Армену царицу, которая происходит из рода богов, и которая будет править твоим народом после тебя до тех пор, пока не придет со звезд тот, кого вы ждете, и не поведет Армен к блистательной победе над вашим самым могущественным врагом».

С этими словами сын Анака положил улыбающуюся девочку на колени царю, и отряд Анакимов стремительно унесся, прорвав строй армии Ниневии, как бушующий поток прорывает песчаную отмель. В тот же миг ход битвы, которая шла против Армена, изменился. Царь наклонился и поцеловал девочку, привязал ее к седлу поясом для меча, прикрыл ее своим щитом и пронес невредимой через самую гущу сражения и тем же вечером доставил в свой шатер.

Вернувшись в город с победой, он отдал девочку жене и рассказал мне о случившемся. В ту же ночь я прочитал по звездам, что слова сына Анака сбудутся, и сказал царю, что, если он желает угодить богам, то во исполнение их повеления, написанного для царя на небесах, он должен назвать девочку своей дочерью и воспитать ее так, чтобы она правила Арменом вместо его собственного сына Аракса.

Для отца это было нелегко, но когда госпожа Илма выросла, стала девушкой, непохожей на темноволосых дочерей Армена, такой красивой и обаятельной, что при виде ее сердца мужчин вспыхивали огнем, юный Аракс сам однажды пришел к отцу и в большом зале перед алтарем у Обнаженного меча поклялся, что пророчество исполнится, и что он займет свое место подле сестры, каковой он всегда ее считал, и будет охранять ее ценой своей жизни и жизни каждого воина Армена, пока не случится то, чему мой господин был свидетелем сегодня.

— Хорошо, — сказал я, когда он поведал об удивительном появлении Илмы в Арме. — А теперь расскажи мне, почему ты один понял язык, на котором я говорю, и говорит ли на нем еще кто-нибудь на свете. А еще расскажи мне о врагах Арме на юге. Хотя я и не знаю, что такое война и почему один человек сражается с другим, все же, ради твоей и моей госпожи и после того, что я узнал сегодня, враги Арме стали и моими врагами, и когда-нибудь я должен буду с ними встретиться.

— На том языке, на котором разговаривает мой господин, — ответил Ардо, — на свете больше не говорит никто, кроме несколько жрецов, посвященных в глубоко скрытые тайны той сокровенной религии, слабыми отголосками которой являются верования и идола простых обывателей. Это был язык, на котором в начале времен говорили сыновья богов, которые смотрели на дочерей человеческих, находили их прекрасными и брали их себе в жены.

То были дни золотого века, но люди согрешили, и великий потоп уничтожил их всех, за исключением семьи одного праведника, который выучил этот язык и передал его как бесценный секрет, чтобы на этом языке записывать самое святое, храня его от порчи и извращения невежественными людьми. Я — один из тех, кому было передано это знание, и когда я услышал, как мой господин говорит на этом тайном языке, я понял, что надежда Арме вот-вот сбудется.

Что касается наших врагов, то это народ на юге, которым правит надменный и могущественный царь Нимрод. Он, как и все люди, произошел от того же праведника, о котором я только что говорил, но он и его отцы до него утратили истинную веру и поклоняются символам, а не тем, кого они символизируют. Его сердце раздулось от гордости, он провозгласил своих предков богами, чтобы его народ верил, что он — сын звезд.

На реке, которая вытекает с южных гор и течет далеко по бескрайним равнинам до водной пустыни без берегов, которую люди называют морем, он построил могучий город. В честь отца Нина, который основал этот город, Нимрод назвал его Ниневией. Благодаря ему, этот город стал столицей самого могущественного народа на свете. Год за годом, так же уверенно, как весна сменяет зиму, а осень лето, он ведет свои армии на восток и на запад, на юг и на север и

побеждает всех, кто выходит сразиться против него, чтобы отстоять свободу и родину.

И теперь только Армен один, восседающий на лесистых горах, огражденный сотней тысяч клинков детей Меча, остается свободным и непокоренным. Вот уже десять лет наши южные границы омываются красной волной сражений. Год за годом, подобно потоку, изливавшемуся из источника в основании мира, непобедимые орды сыновей Ашшура прорубают себе путь сквозь армии народов равнины, пока звон их мечей и грохот их боевых колесниц не пробуждает эхо скалистых долин наших южных границ.

Год за годом мы выходим им навстречу, и каждый год Нимрод обрушивает армии на наши укрепленные в скалах аванпосты только для того, чтобы увидеть, как разбитые они откатываются назад, как морские волны, бьющиеся о гранитный берег. И все же, год за годом бесчисленные полки возвращаются, чтобы снова сражаться в тех же битвах, как будто с возвращением весны те, кто оставил свои кости среди наших гор, возрождаются к новой жизни, чтобы отомстить за свою смерть и стереть позор, который дети Меча навлекли на армии великого царя.

До сих пор мы только защищали нашу землю и наш дом и отбрасывали захватчиков назад. Но теперь, когда пришло время и надежда Армена сбылась, ты, мой господин, как написано на лике небес, поведешь детей Меча в страну захватчиков и в стенах самой Ниневии ты водрузишь символ нашей веры над алтарями Бэла^[2] и Шамаша! Это прочел я по звездам, а то, что написано на сияющих страницах небесной книги, непременно должно исполниться.

Когда старый жрец произносил эти последние слова, кровь закипела и быстрее заструилась по моим жилам. В груди вспыхнул огонь, и дикая, яростная музыка зазвучала в голове. Я чувствовал гордость за свою силу и славу за то родство с богами, о котором они мне рассказали.

В ту ночь мы говорили долго и о многом, пока впервые на свете я не почувствовал, как мягкие пальцы сна легли мне на веки, и тогда Ардо отвел меня в комнату, которую Аракс приготовил для меня, и там я лег и заснул, и мне снились такие сладкие сны, что было жалко просыпаться, пока я не вспомнил, что дневной свет покажет мне ту, чья красота сделала эти сны прекрасными.

Следующим утром я поднялся, чтобы начать новую жизнь в Арме. Много дней я учил язык моей новой страны, сначала со старым Ардо, а потом с обладательницей более сладких уст. Скрытое родство между этим языком и моим собственным оказалось бесценным знанием и, однажды обретенное, оно сделало мой забытый язык ключом ко всем другим языкам, на которых мне предстояло говорить во многих странах в грядущие века.

За это время у лучших искусных воинов Армена я также обучился тончайшим нюансам того мрачного, ужасного ремесла, которому я следовал с тех пор во многих странах в течение многих сменяющих одно другое столетий. Я научился владеть мечом и боевым топором с таким мастерством и силой, что вскоре самый крепкий воин в Арме не мог устоять передо мной. Мне изготовили луки для битвы и охоты, которые не мог согнуть никто кроме меня, и из них я научился посылать стрелы точно в цель на сто шагов дальше любого другого лучника в Арме.

Самые искусные кузнецы страны выковали для меня кольчугу, такую удивительно тонкую и так хорошо подогнанную, что она сидела на мне, как шелковый жилет, и все же была настолько прочной, что самые острые клинки и самые острые стрелы тупились и ломались об нее. Они также изготовили для меня шлем из стали и золота с белым плюмажем, который был бы тяжел для любой головы кроме моей, а мои копья были длиннее любых остальных на добрых три пяди. Всю страну перевернули верх дном, пока не нашли черного скакуна, несравненного по силе и красоте, и когда я однажды добрался домой на его широкой сильной спине, я сидел на нем так, будто мы были одним целым. Я овладел всеми навыками верховой езды, которым могли научить меня лучшие наездники Армена.

Можете поверить, что вскоре я прославился богоподобной силой и вновь обретенным мастерством и с нетерпением ждал того дня, когда смогу испытать свои навыки в более суровом деле, чем тренировка храбрых воинов на плацу или охота на кабана или горного льва в лесу.

Вы, наверное, думаете, что я должен еще что-нибудь сказать об Илме, прежде чем мой рассказ уведет меня дальше, но если вы любите и были любимы, то что я могу сказать такого, о чем вы еще не догадались?

Она сопровождала меня на военные маневры в боевой колеснице с косами или верхом на молочно-белой, рожденной в пустыне кобыле, одетая с головы до колен в стальную кольчугу и вооруженная, как подобает царице воинственного народа, чьим богом был меч и чьим главным наслаждением была битва, и вместе мы рыскали по равнинам и лесным чащам в поисках охотничьей добычи, достаточно благородной для нашего оружия.

Аракс, который был правителем царства под ее началом и предводителем десяти тысяч воинов, составлявших отряд ее телохранителей, когда Армен отправлялся на войну, всегда был рядом в эти долгие, счастливые дни работы и игр, присматривая за той, кому он отдал свой трон, с любовью и бескорыстной преданностью брата и щедро делился со мной мастерством и знаниями военного дела и выживания в лесу.

Теперь, когда вы представили себе, как мы жили в те далекие дни, когда мир был молод, кровь горяча, а нравы проще, чем теперь, нужно ли рассказывать, какой сладкий урок извлек я впервые из ее глаз, или как случилось, что улыбка и доброе слово из ее уст вскоре стали мне дороже всех моих новых мечтаний о славе, или как я стал страстно ждать того часа, когда смогу обрушить свой еще девственный меч на врагов, которые так долго и так жестоко стремились сбросить ее с трона и (а ведь в те дни это была судьба всех прекрасных женщин завоеванной страны) увести ее в рабство и унижение во дворцы Нимрода или его военачальников?

Конечно, я знал, что если вернусь с победой, то наградой мне будет самое дорогое сокровище Армена и всего мира, и она тоже знала это, ибо, разве ее судьба, как и моя, не была связана с пророчеством, предсказавшим мое пришествие? Это знание никогда не заставляло ее хмуриться, а на ее глаза не набегала тень. Хотя между нами не было сказано ни слова о любви или, как я поклялся себе, не будет сказано до тех пор, пока я не выполню пророчество, чаша моей радости была наполнена крепким, ярким вином славной новой жизни. И во всем мире, от Нимрода на троне Ниневии до неукротимых скитальцев пустыни, не было человека более счастливого, чем незнакомец, который пришел в этот мир безымянный и нагой, чтобы найти дом и трон в Армене.

Так прошли осень и зима, как сон о юности, любви и радости, а с первыми весенними днями с юга прибыли запыхавшиеся гонцы, которые принесли весть о посольстве из Ниневии с требованием от Армена дани в виде земли и воды в знак покорности воле Великого царя и повелителя легионов Ашшура.

Глава 3. Первая кровь на священном мече

Новость ждали, потому что каждую весну со времени первой битвы, состоявшейся десять лет назад, Армен получал одно и то же требование. Основная масса наших легионов уже была на марше, продвигаясь на юг под предводительством самых отважных военачальников, и когда четыре дня спустя чернобородые посланцы Ашшура в длинных одеждах прибыли в цитадель, чтобы предложить условия, на которых их повелитель даст нам мир, только десять тысяч меченосцев, составлявших царскую гвардию, оставались в Армене, не считая гарнизонов городов.

Мы приняли послов в большом зале цитадели. Илма сидела на троне, а мы с Араксом стояли слева и справа от нее во всеоружии, если не считать того, что я на время вернул священный меч на его место в алтаре. Посланцы приблизились к нам, как были вынуждены делать все, кто пришел к трону Владычицы меча, пройдя между двумя шеренгами воинов под стальной аркой обнаженных клинков.

Их было четверо, суровых, крепких на вид воинов, великолепно одетых и вооруженных, с надменной осанкой, вполне подобающей слугам Великого царя, который, если бы не наша страна, был бы уже повелителем всего Востока. Но когда они увидели меня у трона Илмы, мой золотой шлем с белым плюмажем, который на добрых две пяди возвышался над Араксом, они подняли глаза в изумлении, в котором было что-то от благоговения, и все время, пока они говорили, передавая послание своего господина, их блуждающие взгляды постоянно возвращались ко мне, оценивая мой рост и доспехи, удивляясь моим золотым локонам, которых они никогда прежде не видели на мужской голове.

Их послание было кратким, но резким и суровым. Их устами Нимрод требовал добычи в виде земель и вод, сдачи наших южных форпостов, отправки сотни заложников благородной крови в Ниневию и уплаты ежегодной дани золотом и серебром, рабами и скотом, которые стоили бы больше ста тысяч фунтов ваших современных денег.

За это он прекратит войну и оставит Армен в покое. Но если мы откажемся, то войска Великого царя захватят наши земли, как разлившиеся реки захватывают берега, и огонь и меч будут бушевать в Армене, пока его города не превратятся в развалины, его поля — в пустыню, а само имя не будет стерто с лица земли. Таковы были слова Великого царя, и вот каким был ответ на них. Первой заговорила Илма:

— Сыны Ашшура и раньше произносили эти слова, но дети Меча все еще живут на своей земле, а я все еще царствую в Армене. Это все, что я скажу, но рядом со мной стоит тот, кто от моего имени и от имени моего народа даст вам ответ, который вы передадите своему хозяину Нимроду.

Она взглянула на меня, и, не говоря ни слова, повернувшись спиной к посланникам, я поднялся по ступеням алтаря и вынул священный меч из его вместилища. Сойдя на пол перед тронem, я спросил слуг Нимрода:

— Кто из вас самый сильный и у кого самый крепкий клинок?

Главный из них, беспокойно переминаясь с ноги на ногу и поглядывая краешком глаза на огромный меч, который я держал правой рукой так легко, словно это была деревянная рейка, произнес:

— Мы пришли сюда не воевать, а вести переговоры, и Армен всегда уважал жизни посланников. Пусть мой господин не забывает, что нас здесь всего четверо среди многих тысяч.

— Я не просил моего господина сражаться, — заметил я, подражая стилю его речи. — Я всего лишь прошу тебя вытащить меч и как можно крепче держать его вытянутой рукой. Тогда ты целым и невредимым отвезешь наш ответ своему повелителю, но, если ты боишься в нашем присутствии показать обнаженный клинок, мы будем считать, что на нем есть пятно, которое сыновья Ашшура стыдятся показывать врагам.

— На мече Ашшура нет пятен, кроме крови его врагов и тех, кто отвергает власть Великого царя! — вскричал он, вспыхнув от ярости, и в тот же миг выхватил меч из ножен. В следующее мгновение, пока он поднимал его передо мной, мой могучий меч сверкнул высоко в воздухе, а затем как молния рухнул и разрубил его клинок пополам так ровно, словно это был зеленый тростник. Рукоять выпала из его руки, и оба обрубка со звоном упали на каменный пол. Пока посланники

стояли передо мной, дрожа от страха и ярости, я указал мечом на обрубки:

— Вот ответ Армена! Заберите обломки с собой и расскажите Нимроду о том, что видели, и скажите также, что я, Терай, сын звезд, иду с сотней тысяч мечей из Армена в землю Ниневию, и что они порубят легионы Нимрода на куски, как мой меч разрубил твой надвое. Армен сказал свое слово! Завтра вас доставят в целости и сохранности к нашим южным границам, а после этого заботьтесь о себе сами, и пусть Нимрод сделает то же самое.

Насколько гордо посланцы Великого царя вошли в зал, настолько же потерянно и обескураженно они покинули его. На следующий день стража доставила их до границы, и в тот же час Илма, Аракс и я отправились на юг во главе десяти тысяч наших воинов-меченосцев.

Семь дней мы двигались со всей скоростью, возможной для нашего огромного войска, обеспечивая себе безопасный тыл, пока, наконец, на границе нас не встретили связные, сообщившие, что в половине дня пути на запад, там, где наши южные горы спускаются в широкую равнину, которая когда-то была спорной территорией между Арменом и Ниневией, двадцать тысяч наших людей держатся против вдвое превосходящих их по численности легионов Нимрода.

Солнце зашло почти пять часов назад, когда мы получили это известие, но тотчас же трубы заиграли тревогу, костры были затоптаны, и в течение часа все войско длинными колоннами конных и пеших поспешило на запад по пологим горным тропам, ведущим на равнину. Я вел основной отряд, двигаясь рядом с колесницей Илмы, и мне было приятно вести с ней долгий разговор о делах, которые предстояло совершить завтра.

— Многое зависит от этой первой битвы, — сказала она после долгого обсуждения наших планов и шансов. — Если мы разобьем это войско, то ужас перед твоим именем и происхождением разнесется по всей Ниневии, пока не отразится эхом от высоких стен самого города. Они никогда не видели такого великого воина, каким станешь ты, мой господин, и у нас не будет более могучего союзника, чем страх, которым ты поразишь их сердца.

Здесь накануне нашей первой битвы она впервые назвала меня господином, и в ее голосе была такая нежность и сладкая дрожь, что они воспламенили мою душу и обожгли мои уста, когда я ответил ей:

— Это мое первое сражение, и пока я даже не знаю, что такое ярость боя, о которой мне говорят; но теперь во мне есть и другая страсть, от которой моя кровь закипает и которая даст мне силы пробиться сквозь каменные стены самой Ниневии, если прикажет голос моей госпожи и моей царицы.

Ее уста промолчали, но на мгновение она повернулась ко мне, и в бледном свете звезд я заметил, что ее лицо порозовело от того места, где шлем закрывал лоб, до смеющихся губ, которые сияли еще краснее; а блестящая сталь ее шлема потускнела в свете ее глаз, устремленных на меня.

На востоке загоралась заря, когда наши последние колонны вышли в долину и закончили построение, а затем пешие и конные, численностью десять тысяч человек, сияющим строем двинулись по песчаной, скудно поросшей равнине на запад, где в воздух уже вздымались облака пыли, которые говорили о том, что мрачная боевая работа началась.

Никакими словами не передать того, о чем я думал и что чувствовал, когда скакал рядом с колесницей Илмы в первую из тысяч битв, в которых я сражался с того памятного утра. Я, никогда не обнажавший меча в гневе и не проливавший человеческой крови, выступил против испытанных в бою легионов Ниневии, фактический командующий единственным войском, которого они никогда не побеждали. Подумайте об этом и о той, что должна была стать призом победы, и вы поймете, о чем я говорю.

Хотя мы продвигались быстро, мы всё никак не могли подобраться к пыльному облаку настолько близко, чтобы можно было разглядеть, скрывает ли оно друзей или врагов, или тех и других. Но все же настал момент, когда мы увидели блеск оружия и доспехов, сияние ярких мундиров и реющих штандартов.

На расстоянии трех выстрелов из лука мы остановились, и Аракс, спешившись, занял свое место рядом с Илмой в ее колеснице, чтобы прикрывать ее своим щитом, а она готовила лук и стрелы, которыми могла пользоваться с ужасающим мастерством. Вокруг нее выстроилась сотня других колесниц, а перед ними я во главе двух тысяч всадников ждал сигнала для первой атаки. Вот Илма махнула мне рукой, я в ответ сверкнул огромным мечом в свете только что взошедшего солнца, зазвучали трубы, и мы двинулись вперед.

Вскоре из клубов пыли донеслись крики ярости и агонии, лязг оружия, топот атакующих эскадронов, гортанные боевые кличи Армена и Ашшура. Мое сердце запрыгало под кольчугой, а кровь заплясала в венах, как пенящееся вино в кубке.

Мы наступали на фланг Ашшура и как только мы приблизились, их трубы взревели, хриплые крики перекатились с края на край, фланг выгнулся дугой, раскидывая крылья направо и налево, и из этих крыльев вылетели ливни стрел, свистящих и поющих в воздухе. Однако их стрелы лишь слабо стучали по нашим доспехам, а то и просто зарывались наконечниками в песок, не долетев. Расстояние было на добрых пятьдесят шагов больше чем надо, чтобы лучники Ашшура могли вонзить свои стрелы.

Увидев это, я вскинул руку и приказал всем остановиться. По удивленным шеренгам разнесся крик, когда я слез с коня. Я взял у оруженосца свой самый длинный и жесткий лук, натянул его, приладил древко стрелы к тетиве, вышел перед войском и, прицелившись в высокую фигуру на коне в центре ассирийского строя, оттянул стрелу до головы и послал ее поющей на путь смерти. Она ударила ассирийца прямо в центр груди, он раскинул руки и упал под громкие крики гнева и ужаса своих людей.

Что касается меня, то на мгновение перед моими глазами проплыл туман, и рука моя задрожала, когда я вынул вторую стрелу, ибо я забрал первую жизнь. Однако вторая стрела пролетела так же далеко и прямо, как первая, а я снова и снова посылал стрелу за стрелой в их тесные ряды, в то время как их стрелы по-прежнему беспомощно падали, не причиняя вреда или не долетая до нас.

Они никогда прежде не видели, чтобы так стреляли из лука, потому что мои стрелы пронзали их насквозь, и к тому времени, когда была пущена последняя, самые смелые сердца в их рядах трепетали в страхе от мысли, что лук, который привел эти стрелы в движение, был натянут рукой не простого смертного.

Именно на это я и рассчитывал, и как только я услышал их испуганные крики, я бросил лук оруженосцу, вскочил в седло и, размахивая над головой священным мечом, выкрикнул боевой клич Армена и галопом поскакал прямо на центр армии Ашшура.

Для любого другого это было бы безумием, но для меня эта атака означала победу. Пленные рассказывали потом, что, когда они увидели

прекрасную сияющую фигуру, летящую в одиночку на их легионы, и огромный меч, сверкающий в руке, которая посылала стрелы с такой силой, что они пробивали щит и кольчугу, как будто те были сделаны из шелка, не осталось никого, чья кровь не превратилась бы в воду, и чье оружие не задрожало бы в руке от страха.

Позади себя я слышал грохот тысяч копыт, звон оружия и конской сбруи, дикие крики моих людей, вопивших в восторге от увиденного, а передо мной стеной стояло молчаливое, угрюмое воинство Ашшура. Я скакал прямо к тому месту, куда выпустил стрелы. Подлетая, я увидел десятки трупов, застывших на земле, а потом началось сражение.

Град стремительных, сокрушительных ударов обрушился на мой щит и шлем. Мой огромный меч, сам не знаю как, разрубил медный шлем высокого воина передо мной. Могучим ударом шлем и голова были расколоты до шеи. В то же мгновение мой конь встал на дыбы и прыгнул; человек с конем свалились под его копыта, и я оказался в центре главной битвы Ашшура. Крепко стиснув зубы, жарко и быстро дыша, я рубил резко и точно, с каждым ударом расширяя круг умирающих и мертвых вокруг себя.

Я был опьянен новым крепким вином битвы — уже не человек, каким был полчаса назад, а демон-разрушитель с пылающей кровью и бушующим сердцем, одержимый лишь одной мыслью — убивать, убивать и убивать, пока передо мной стоит живой враг. На мгновение я забыл обо всем, мной владел дикий, яростный экстаз битвы. Даже образ Илмы расплылся в кровавом тумане, застывшим мои глаза.

Раздался торжествующий рев. Кольцо врагов, съеживавшееся наружу за пределом досягаемости острия моего меча, внезапно разорвалось и растаяло. Боевой клич Армена прогремел по обе стороны от меня, и, глянув направо и налево, я увидел, как поднимаются и опускаются длинные мечи, и белые кольчуги моих товарищей сверкающим морем прорываются сквозь темные, разорванные шеренги Ашшура. Я снова бросил коня вперед, и мы понеслись, рубя и кроша остатки разбитых колонн, конных и пеших, топча их в кровавом песке, как стадо диких быков топчет ячменное поле.

Затем мы развернулись и поскакали направо и налево, чтобы сокрушить два крыла между нами и нашими товарищами по флангам, и в этот момент я услышал еще один боевой клич, грохот копыт и стук

колес. По широкой красной дороге, которую мы проложили, Илма и сотня ее колесниц на полном скаку понеслись в тыл теперь уже разбитого войска Ашшура. Проезжая мимо, она махнула мне рукой, я ответил ей криком и взмахом клинка, который стал красным от кончика до рукояти. Она проехала, и мы с нашими отважными всадниками снова принялись за работу.

Весь этот пылающий багровый день, под палящим солнцем, которое запекало кровь на песке, сквозь пыль сражения и тошнотворную вонь горячего, насыщенного кровью воздуха мы продолжали наше мрачное дело: рубили и резали, так как в те дни война была войной, и мы сражались не только для того, чтобы победить, но и для того, чтобы уничтожить. Более того, дети Меча копили злобу уже несколько лет, и теперь наступил час расплаты за внезапные нападения, опустошительные набеги, разоренные деревни и разграбленные города.

Это был первый раз, когда лев Ашшура склонил свою надменную голову перед мечом Армена. До сих пор против армий Великого царя можно было только обороняться. И вот одним непреодолимым натиском мы прорвались сквозь их разбитые ряды в самую землю Ниневию. Мы знали, что за этой армией стоит другая, и еще одна, которые нужно сокрушить, прежде чем мы увидим стены города Великого царя. Поэтому мы убивали без пощады, чтобы разбитые легионы не могли соединиться и прийти на подмогу тем, кто попытается преградить нам путь на юг.

Наша дикая атака действительно решила исход дня. Но только когда мы соединили наши силы с силами армии, которая целый день выдерживала непрерывные атаки ниневийцев, то, что было сражением, превратилось в бойню. Как только наши фланги сомкнулись, то зримое чудо, которое я сотворил, вселило в армию ликующую уверенность, которая делает одного человека с ней равным трем без нее, и тогда мы окружили врагов длинными, мускулистыми рядами конных и пеших, и крушили их сзади и спереди, одного за другим, пока они не превратились из армии в сброд.

Затем мы отошли, перестроились и снова двинулись на них, конные, пешие и колесницы, рядами, колоннами и клиньями покрасневшей стали и дикой, ликующей отваги, и прошли их насквозь, разбивая на разрозненные копошащиеся кучки, и снова атаковали их,

вбивая их в красную грязь, в которую превратился песок, пока из всего могучего войска Ашшура численностью почти пятьдесят тысяч человек, вышедшего на битву, не осталось ни одного отряда, в котором нашелся хотя бы десяток невредимых солдат.

Наступила ночь, взошли звезды, которые сверху вниз смотрели на нашу легкую конницу, все еще преследовавшую остатки армии Великого царя, улепетывающей на юг, в то время как наши главные силы наваливали на повозки добычу, сокровища и львиные штандарты Ашшура. Потом мы двинулись в наш лагерь, который был разбит на берегу Тигра, оставив волков, шакалов и стервятников пировать на самом роскошном за много-много дней пиру.

В ту ночь воды Тигра покраснели от крови, которую наши храбрецы смыли с доспехов и ран, но не было ни одного человека из тех тридцати тысяч, что выжили в битве, кто не лег бы спать, страстно желая, чтобы поскорее пришло утро и осветило нам путь в Ниневию.

Можете поверить, когда моя рука наконец устала от резни и боевое безумие угасло в моей крови, моя первая мысль была о ней, из уст которой я имел теперь полное право услышать похвалу, которая была для меня самой дорогой наградой. И я, как был, в величественных доспехах, побитых, вымазанных в грязи, крови, покрытый потом и пылью отправился в шатер Илмы, чтобы справиться о ее здоровье.

Верный Аракс стоял у входа в ничуть не лучшем виде, ибо, как и я, не стал ни умываться, ни перевязывать свои раны, пока не будет сделано все для удобства нашей госпожи. Как только мы пожали друг другу руки, и я задал свой взволнованный вопрос, полог шатра откинулся, и она, которую всего пару часов назад я видел закованной в сталь, мчащейся на колеснице с косами сквозь разбитую толпу, которая на рассвете была армией Ашшура, когда ее щеки горели, глаза пылали божественным неистовством битвы, а золотисто-рыжие волосы развевались сзади как знамя, — теперь вышла одетая в мягкий белый лен, причесанная, в накидке из серебристого меха, пушистого, как лебединый пух, такая спокойная, милая и величественная, как будто она только что сошла с трона в Арме.

— Приветствую тебя, мой господин, приносящий победу! Воистину, это был день славы для Армена и для тебя. Но что это? Твои раны еще не омыты, и ты даже не снял доспехов! И ты тоже, Аракс?

Ты уже стоишь на страже у моего шатра, даже минуты не уделив себе. Как видите, я здорова и невредима благодаря тебе, Аракс, и твоему замечательному щиту. И больше я не скажу вам ни слова, пока вы не снимете доспехи и не обработаете раны, так что немедленно отправляйтесь в свои шатры, это царица приказывает вам!

Она произнесла слова с милым раздражением, которому очаровательно противоречили слезы, подступившие к ее глазам, когда она увидела своих помятых, грязных героев. Но возражать ей было бесполезно, и поэтому мы, два предводителя победоносного войска, как пара получивших выговор парней, со смехом захромали прочь, чтобы сделать то, что нам было велено.

Час спустя, когда луна взбиралась на южное небо среди сверкающих звезд, мы вернулись, дочиста отмытые, одетые в льняные туники с шерстяными накидками, и обнаружили, что наши люди раскладывают длинные столы на берегу реки и уверенно расставляют на них кувшины, кубки и блюда из золота и серебра, которые мы обнаружили в ассирийском лагере.

Оказалось, что наша госпожа, как всегда, позаботилась о нас и приказала приготовить пир для военачальников, и когда всё было готово, села во главе самого длинного стола с Араксом по левую руку и со мной по правую. Привели переживших позор главных командиров армии Нимрода и заставили их служить на коленях и подавать нам их собственное вино в их же чашах, так как в то бесцеремонное время побежденный враг вряд ли мог рассчитывать на правила вежливости и мог считать судьбу благосклонной, если вышел из поражения живым и с целой шкурой.

Мы славно повеселились в ту ночь и увенчали первую большую победу Армена множеством наполненных до краев кубков красного вина из Эшкола, которое мы пили из ассирийского золота, и, хотя мы шли маршем половину прошлой ночи и сражались весь день напролет, луна уже опускалась на запад, когда поднялись последние из нас, возможно, не очень уверенно, со своих мест и осушили последний бокал за нашу прекрасную Владычицу меча и удачу нашего похода на юг. Она, конечно, ушла задолго до этого, потому что, несмотря на всю ее храбрость, была всего лишь женщиной, и в тот день она отважно сыграла роль воина. Когда на рассвете прозвучали трубы, не было ни

одного, кто уже не проснулся бы, гадая, когда же будет дан сигнал снимать лагерь и выступать.

Пока сворачивали шатры и грузили повозки, состоялся совет вождей. Мы решили двигаться на юг вдоль реки, так, чтобы ее широкий быстрый поток защищал наш левый фланг, а тучи легкой кавалерии занимались разведкой и сбором фуража на западе, таким образом защищая нас справа. Мы построились и прошагали день и ночь, не останавливаясь больше, чем было необходимо для отдыха лошадям и тягловым животным. Мы не встретили ни одного врага, ни пешего, ни всадника из всего того воинства, которое, как говорили нам пленники, преградит нам путь в землю Ниневию.

На запад и на север мы протянули длинные цепочки быстроногих конных курьеров, чтобы держать связь с нашей страной и для охраны наших южных границ от флангового нападения другой армии, но от курьеров не поступало никаких известий, и на юге тоже ничего не было видно.

Преодолев половину пути до Ниневию, мы поменяли план похода. Во время дневной жары мы останавливались и спали под надежной охраной наших эстафет разведчиков и часовых, а когда солнце садилось и воздух становился свеж и прохладен, мы сворачивали лагерь и двигались дальше бесшумно, как армия теней под бледным светом луны и звезд. Мы знали, что на восток от реки за много километров от ее берегов, около пятидесяти тысяч всадников и пехотинцев идут маршем или пробиваются с боями, чтобы присоединиться к нашему сражению у стен Ниневию.

Утром на четвертый день после битвы, когда еще один ночной переход и еще один восход солнца должны были показать нам стены Великого города, мы заметили одинокого всадника в меховой накидке и кожаном шлеме легкой кавалерии Армена, скачущего во весь опор к восточному берегу и размахивающего копьем, как бы подзывая нас. Сотня моих людей бросилась в реку и поплыла узнать новости о другой нашей армии.

Новость была краткой, но важной. В дне пути на юг и восток по ту сторону реки стояла основная армия Ашшура под командованием самого Великого царя, преграждая путь в Ниневию. На нашей стороне реки под командованием Тукула, одного из самых искусных его военачальников, шагали десять тысяч воинов из покоренных племен,

чтобы выдавить нас через реку на уничтожение Великим царем, после того, как он разгромит другое наше войско. Весть о нашей победе на севере не дошла до Ниневии, так как все беглецы были перехвачены и убиты по приказу Нимрода.

Потребовалось недолгое обсуждение, чтобы показать, что лучше всего делать в таком случае. Нимрод явно был жестоко обманут относительно нашей реальной силы, и на этот раз Великого царя можно было застигнуть врасплох. Я с десятью тысячами всадников, вооруженных луками, копьями и мечами, переправлюсь через реку, оставив Аракса и нашу госпожу с двадцатью тысячами конных и пеших и сотней боевых колесниц, чтобы они разбили войско Тукула и преследовали его до стен Ниневии. Мы отправим сообщение нашей основной армии на востоке с приказом атаковать позиции царя, как только взойдет луна, доверив нам присоединиться к битве в нужный момент. Когда разведчик ускакал с нашим посланием, я зашел проститься с Илмой.

— Да помогут тебе боги, мой господин, и да пошлют тебя с победой к стенам Ниневии! — сказала она, вложив свои руки в мои, а я поднес их к губам. — Мы встретимся там или никогда, потому что теперь для нас и для Армена может быть только победа или смерть!

— Тогда это должна быть победа, — сказал я в ответ, — и она будет. Армену слишком сильно нужны мы, а мне нужна ты, милая Илма, чтобы звезды нарушили сейчас свое обещание.

— Пусть тогда это будет победа Армена и твоя, мой господин, как было бы, если бы мои желания и воля богов были едины! — ответила она, глядя вниз, застенчиво прикрыв глаза, как самая простая девушка в своей стране, признаваясь в любви. Если бы рядом не стояло войско, я бы попрощался по-другому, но так уж вышло, что я ответил только:

— Сами боги не могли отказаться от столь нежно произнесенной молитвы. Прощай, пока победа снова не соединит наши руки!

Я опустил перед ней на колени, а она возложила руки на мой шлем и благословила его — прекрасный обычай, который был у нас в те дни. Затем я поднялся и вскочил на коня. В тот же миг десять тысяч всадников двинулись к берегу реки. Здесь не было ни моста, ни брода, но какое это имело значение для моих доблестных горцев или для

наших коней, которые могли преодолеть поток так же легко, как перепрыгнуть через поваленное дерево?

Река здесь была шире и медленнее, и плавание по ней было для нас как утреннее купание, поэтому мы двигались пятью длинными рядами, а час спустя галопом скакали к длинной низкой гряде песчаных безлесных холмов, где намеревались затаиться до наступления ночи. На их западном склоне мы спешили и выслали разведчиков, которые сообщили, вернувшись, что за этими холмами в 4 километрах отсюда есть еще один хребет, на котором стоят ассирийские заставы, а к югу в хребте есть широкий проход, через который может проехать тысяча человек в ряд.

Ассирийцам и в голову не могло прийти, что мы так близко, поэтому мы пробыли там незамеченными до наступления ночи, а под покровом темноты, скрываясь за холмами, просочились как сонм серых теней по высотам и по равнине, лежащей между двумя хребтами. Мы как раз добрались до прохода, когда навстречу нам прискакал разведчик и сообщил, что вся армия Нимрода разбила лагерь на дальнем склоне примерно в 10 км от нас, и что неглубокая река, текущая на юг, охраняет ее фланг. Поэтому мы остановились там, где были, и стали ждать восхода луны, внимательно наблюдая за происходящим.

Глава 4. От победы к смерти

Я охотно рассказал бы обо всех ратных подвигах, совершенных в ту ночь при свете луны и звезд. О том, как мы ждали своего часа и, когда битва разгорелась так жарко, что не стало ни свободных людей, ни времени, чтобы продолжать чего-то ждать, мы пятью колоннами по две тысячи человек каждая обрушились на ослабевший фланг Ашшура и издали боевой клич Армена так громко, яростно и мощно над ревом и грохотом битвы, что ассирийцы на мгновение потеряли голову и поверили, что окружены.

Я мог бы еще рассказать вам, как в тот момент мы, словно живые клинья, врезались в них, полные свирепой и неистовой отваги, в то время как наша основная группа впереди, услышав наши крики и увидев блеск наших клинков в лунном свете, набросилась на врага с такой ликующей энергией, что фаланга Ашшура сломалась под их натиском и отшатнулась назад, но тут же обнаружила в своем тылу наши атакующие эскадроны. Враги оказались зажаты между двумя стенами из стали, и у них был только один выбор: рабство или смерть. Никогда еще глаза небес не видели более безжалостного зрелища, ведь мы пришли, чтобы побеждать и убивать, точно так же, как армия Нимрода год за годом выступала против нас.

Снова и снова я скакал во главе своего отряда сквозь визжащую, колышущуюся, отчаявшуюся толпу, объятую хваткой смерти, и выкрикивал имя Нимрода, чтобы он вышел навстречу и сразился со мной за трон и царство. Но я так и не нашел его, потому что Великий царь бежал. Тот, кто никогда прежде не поворачивался спиной к врагу, уже ускакал с отрядом телохранителей, чтобы подготовиться к тому, что могло стать смертельной схваткой его империи под стенами Ниневии. Но, говоря откровенно, я должен был быть доволен, ибо, как ни велики были деяния той ночи, это было ничто по сравнению с тем, что должно было осветить солнце следующего дня.

Я знал, что в армии нет коня, способного догнать Нимрода, поэтому я приказал отряду позаботиться о скакунах и отдохнуть три часа, а сам, слишком возбужденный нашей победой и слишком взволнованный мыслями об Илме, чтобы думать о сне, собрал

военачальников, чтобы привести в порядок нашу армию после битвы. Восход солнца вновь застал меня во главе моего отряда, скачущего к реке, в то время как наша главная армия в маршевом порядке продвигалась к Ниневии, которая находилась примерно в 2 км к востоку. Войска Илмы не было видно. На всем западном берегу реки, насколько хватало глаз, не было признаков жизни, и поэтому мы пришли к выводу, что они с Араксом либо прошли дальше и уже находились под стенами Ниневии, либо ушли на запад, преследуя войско Тукула.

Но далеко на юге, высоко в небе плыло видение огромного города с ровными широкими стенами, охраняемыми высокими башнями, за которыми ярус за ярусом возвышались пирамидальные храмы и дворцы Ниневии, так как то, что мы видели и приветствовали криками торжества и восторга, было миражом великого города, плывущим в чистом голубом воздухе словно видение самого рая.

Мы отправили двух быстроногих конных курьеров на восток, чтобы приказать армии сделать остановку в 2 км от городских стен, если только наш марш не столкнется с другой армией Ниневии. В этом случае новости должны были быть немедленно отправлены мне. Я также выделил двести всадников, чтобы они переплыли Тигр и узнали, где находятся Илма и Аракс со своей армией, и приказал им соединиться с нами на берегу реки в 2 км вверх по течению от города.

Затем мы поскакали дальше, выслав разведчиков далеко вперед, чтобы не попасть врасплох в зоне досягаемости вражеской армии, которая, как мы знали, будет ждать нас под стенами Великого города, и все время, пока мы ехали на юг, изображение города на небе опускалось все ниже и ниже к земле, пока отражение не уступило место реальности, и тогда мы увидели Ниневию во всей ее ранней славе и свежей красоте, лежащую перед нами на обоих берегах Тигра.

Стены ее вырастали из равнины, как скалы вздымаются из моря, столь темными, высокими и сильными они казались. Через каждые сто шагов возвышалась башня, и между каждой парой башен были ворота, такие высокие, что даже издали мы могли видеть золотую и алую роспись, которой они были украшены. Высоко над стенами возвышались великие пирамиды храмов Бэла и Иштар, и дворца Нимрода, а под ними над высокой, как небо, линией стен резко выступали сотни башен и пирамид поменьше.

Но как ни чудесен был вид первого великого города Междуречья, все его чудеса были ничтожны по сравнению с тем, что находилось в 400 метрах от восточных ворот. Те, кто никогда не видел ни ее самой, ни фрагментов ее развалин, считали ее башней высотой около двухсот локтей. Ваши историки и исследователи земель, бывших когда-то Ашшуром и Халдеей, указывали на руины строений, которые были древними, когда она уже исчезла, и говорили, что это все, что осталось от великой Вавилонской башни, которую Нимрод и народ Ниневии построили, чтобы подняться над облаками и посмеяться над терпением Того, кто обещал больше не затапливать мир и в знак обещания поставил в облаках свой лук, подарив людям радугу.

Но я, видевший собственными глазами эту могучую громаду, взмывшую к облакам во всем блеске гордости, силы и славы, говорю вам, что никогда за все века, прошедшие с тех пор, со всем своим искусством и техникой человек не построил ничего, что не казалось бы карликом рядом с этой башней. Всё еще была весна, несколько легких белоснежных облачков плыли по небосводу, но, как бы высоко они ни плыли, гордый гребень Бэла и слабая мерцающая звезда вечного огня на его вершине парили еще выше над облаками.

Все, как один, натянули поводья и остановились, онемев от благоговения и изумления при виде этого зрелища, и даже мы, за десять коротких дней разгромившие две армии Ашшура и обратившие в бегство самого Великого царя, смотрели друг на друга, словно спрашивая, не спустятся ли с небес сами боги, чтобы сразиться с нами, вместо того чтобы позволить покорить народ, воздвигший такие чудеса из кирпича и камня.

Но это наваждение продлилось всего несколько мгновений, потому что под стенами Ниневии и вокруг мощного основания башни Бэла мы увидели блеск доспехов и оружия, сверкавших на солнце, как пена волн у подножия истертых морем утесов, и когда мы снова двинулись вперед, подъехали наши разведчики с востока и запада и сообщили, что две большие армии выстроились перед городом по обе стороны реки, и что, убив Тукула и рассеяв его войско, Илма с Араксом вернулись вверх по реке к броду, о котором им рассказал один ассириец в обмен на жизнь, свободу и пятьдесят фунтов золота, и что они переправятся там и вместе с нами вступят в битву против Великого царя и его армии.

К полудню после тяжелого марша они прибыли, и тогда наше объединенное войско, насчитывавшее около восьмидесяти тысяч всадников и пехотинцев, выстроилось длинным широким сверкающим строем примерно в километре от восточной стены Ниневии и примерно в восьмистах метров от сомкнутых легионов Ашшура, в страхе стоявших под стенами своего надменного города.

На свете никогда еще солнце не освещало столь величественного зрелища. Одна против другой стояли две огромные армии: одна, сияющая от побед и пылающая триумфом, а другая мрачная, молчаливая и наполненная ужасом от сознания того, что это последний бой, который способен дать Ашшур, и что им остается либо победить нас, либо запереться в городе и наблюдать, как мы опустошаем поля, сады и виноградники и готовимся уморить голодом Ниневию и все тысячи ее обитателей, если они не покорятся.

Две армии сами по себе являли такое великолепное зрелище, увидеть которое могут только мечтать глаза, но если к этому зрелищу прибавить Ниневию, ее могучие стены и башни, ее расписные ворота и ступенчатые храмы и дворцы, ее висячие сады с яркими цветами и зеленью весны, и самое могучее и удивительное из всего — эту колоссальную башню Бэла, вздымающую к небу храмовый гребень, увенчанный алтарным огнем, который, как поклялась вся Ниневия, никогда не погаснет, пока мир будет существовать, — вот тогда у вас получится картина того чуда и величия, взглянув на которое можно ослепнуть, но которое никакое воображение не сможет представить и никакое перо не сможет верно описать.

Когда я, верхом на коне рядом с колесницей Илмы в центре нашего воинства, смотрел на всю эту красоту, я ощутил необычную, радостную гордость в груди. Тогда я повернулся к ней и спросил:

— Раньше кто-нибудь в мире сражался за такой приз? Вот величайший город, самая гордая империя и самая мощная армия на свете, которые балансируют на грани победы и поражения в войне. Повелит ли мне Владычица меча выйти и сразиться за них в одиночку?

— В одиночку?! — воскликнула она, широко раскрыв глаза и внезапно побледнев, что в эту минуту мне понравилось больше, чем ее румянец. — Ты, один, против всего этого могучего воинства?! Нет, мой господин, Сын звезд, как бы ни был ты могуч в битве, это все равно,

что приказать тебе пасть от собственного меча. Ты никогда не услышишь от меня таких безумных слов!

— Нет, нет, — ответил я, смеясь. — Если ты подумала, что я имею в виду именно это, тогда ты, наверное, решила, что я крепко опьянен битвой и победой. Нет, я имел в виду вот что. Мы стоим перед стенами Ниневии, за нашей спиной — две разбитые армии Ашшура, а перед нами — ее последнее войско. До сих пор я не встречал ни одного воина Ашшура, достойного предстать перед священной сталью Армена. Нимрод — самый могучий охотник и величайший воин во всем его царстве. Я хочу послать к нему вестника и предложить ему выйти и сразиться со мной здесь между двумя армиями, лук против лука, копьё против копья, меч против меча, и пусть Армен или Ниневия будут наградой за победу.

Она опустила глаза и молчала так долго, что я мог бы сосчитать до двадцати. Я видел, как ее грудь вздымалась и опускалась под гибкими звеньями стальных лат, а румянец то появлялся, то исчезал на ее щеках быстрыми розовыми и молочно-белыми волнами. Наконец, она подняла глаза и, протянув ко мне правую руку, бледная объявила дрожащими губами, но смелым и твердым голосом:

— Эти слова достойны моего господина! Пошли вызов, и если Нимрод откажется, то всех детей Армена научат вечно называть его ничтожным трусом. Если он падет, ты получишь награду, достойную твоей доблести, а если погибнешь ты, то умрет и надежда Армена, и нам нечего будет больше желать и не к чему стремиться. Что касается меня, то у Аракса острый меч и сильная рука, и мой господин может вознестись к звездам, зная, что я, по крайней мере, никогда не стану добычей Великого царя.

— Решено! — воскликнул я, спрыгивая с седла. — Аракс, ты брат нашей царицы и правитель Армена, и поэтому даже Великий царь не может отказаться выслушать послание, которое ты принесешь. согласишься ли ты стать моим глашатаем и отнести ему мой вызов?

— Да, охотно! — ответил Аракс. — Потому что, если сами боги не остановят битву, у нее может быть только один конец. Лишь бы Нимрод вышел и сразился с тобой между двумя армиями, тогда сегодня ночью мы будем пировать в Ниневии, а его военачальники будут служить нам, ползая на коленях.

— Другого я от тебя и не ожидал, мой доблестный Аракс! — улыбнулся я. — Теперь сними кору с ивового прута, а я пока соберу доспехи и подготовлю послание. Потом пусть фронт опустит оружие, а трубы возвестят о перемирии.

Так и было сделано, и когда все было готово, наше войско разделилось в центре, оставив длинный, широкий коридор, окаймленный лесом копий, и по нему проскакал Аракс с одним трубачом впереди, высоко подняв очищенную ветвь ивы — знак перемирия и переговоров. И вот какое послание он повез:

— Терай из Армена приветствует Великого царя Нимрода и предлагает ради его чести царя и воина, ради безопасности города и народа решить исход сражения в бою один на один перед лицом обеих армий. Каждый должен быть на коне и вооружен луком и копьем, мечом и щитом. У каждого должны быть три стрелы, и если они закончатся, а ни один из нас не погибнет, то копье и меч решат исход, а призом победы будет Армен или Ниневия, как то решат боги.

Весть о моем вызове уже пронеслась по нашим рядам к тому моменту, как фронт Ашшура открылся и Аракс въехал в проем, и пока он ехал, только одна лошадь заржала во всем нашем огромном войске, настолько все замерли в ожидании. Тем временем оружейник и оруженосец занялись моим обмундированием и оружием.

Проверили каждое звено, каждую застежку и сочленение. Осмотрели и подготовили самое длинное и крепкое из моих копий, самый мощный лук, в колчан вложили три самых прямых и острых стрелы, а из резерва привели свежего коня — огромного угольно-черного жеребца, на котором не был способен ездить ни один человек в Армене, кроме меня.

Вдруг в строю Ашшура раздался крик, снова открылся фронт, и Аракс галопом проскакал обратно, размахивая чем-то над головой. Радостные крики прокатились по нашему фронту, когда он пронесся по открытому коридору и резко поставил коня на дыбы перед колесницей Илмы. В руке вместо ивы он держал стрелу без наконечника, перья которой были вымазаны кровью.

— Я привез боевой знак Ашшура, — выкрикнул он и со смехом швырнул стрелу к моим ногам, как бросил бы вызов враг. — И вот слова Великого царя: «Нимрод из Ниневии приветствует Терай из

Армена и велит ему явиться как можно скорее, чтобы позор, который он навлек на Ашшур, был смыт кровью из его вен».

— Отлично! — воскликнул я, поднимая стрелу и ломая ее надвое. — Царственный и достойный ответ. А теперь посмотрим, сможем ли мы заставить льва Ашшура сломать клыки о меч Армена.

Пока я говорил, привели моего коня, и Илма белая, как лилия, сошла с колесницы и велела мне обнажить меч. Я вытащил меч, она взяла его и трижды прижалась прелестными губками к рукояти, прежде чем вернуть его мне:

— Вот мое благословение! В нем все мои надежды и все, что любовь женщины может дать мужеству и силе мужчины. Пусть мой господин будет силен, и пусть боги вернут его с победой, чтобы он по праву получил все, что Армен и его царица могут дать ему!

Я опустился перед ней на колени, и она, по нашему обычаю, возложила обе руки на мой золотой шлем. А я прижал ее руки к губам, потом поднялся на ноги и сказал:

— Никогда человек не сражался и не будет сражаться по более нежному приказу или за более благородный приз. Прощай, милая Илма, до новой встречи — либо здесь с победой, либо за звездами, в раю!

В книгах некоторых ваших ученых я читал, что в героические века не существовало того, что вы называете любовью между мужчиной и женщиной. Всех мужчин тех добрых старых дней они изображают жестокими и похотливыми тиранами, а всех женщин — рабынями, личной собственностью и игрушками. Они смотрят сквозь туман веков, и поэтому их можно простить за то, что видят они плохо. Но вряд ли кто-либо смог назвать любовь, горевшую в моей душе в эту минуту, каким-нибудь недостойным словом, ибо, клянусь всем небесным воинством, никогда не было более чистого и яркого пламени, горевшего на алтаре преданности, чем то, что зажгли глаза моей возлюбленной.

Когда я вскочил в седло, я на мгновение взглянул вверх. Солнце потускнело, а небо заволкло серой дымкой. По нашим рядам прокатился низкий громогласный крик, эхом отозвавшийся из сотни тысяч ассирийских глоток, и в одно мгновение исчез влюбленный, остался только мужчина и воин. Мой мозг был холоден, глаза ясны, а мускулы напряжены для боя, когда я медленно ехал по коридору

между двумя половинами нашей ликующей армии на поле битвы, и когда я выехал из наших рядов, из такого же проема, разделившего кричащие войска Ашшура, выехал самый величавый воин, которого мне когда-либо посчастливилось встретить в бою.

В шлеме из золота и стали, как у меня, в кольчуге с головы до колен, сверкающий драгоценными камнями и ослепляющий пурпуром Великий царь выехал на коне, белом, как снег на Эльбурсе^[3]. Мы остановились и отсалютовали, потом он свернул влево, а я вправо, и мы галопом понеслись вдоль длинных рядов наших ликующих армий.

Не успел я проскакать и двухсот метров, как кто-то крикнул мне из шеренги, и я припал к шее лошади как раз в тот момент, когда мощно пущенная стрела просвистела в фуते над моей спиной.

— Спасибо, друг! — я рассмеялся, увидев, как древко наполовину зарылось в землю передо мной. Я все скакал вперед, пока крики Ашшура не переросли в вопли, потому что они решили, что я удираю от следующей стрелы. Так оно и было, потому что вторая стрела не долетела, а третья летела так медленно, что я поймал ее кожаной перчаткой и сломал пополам. Теперь настала очередь Армена кричать от восторга, потому что у меня было три стрелы, а у Великого царя не осталось ни одной.

Поэтому я остановил коня и спрыгнул на землю. Я приставил стрелу к тетиве и подождал, пока Нимрод развернется, чтобы атаковать меня на коне, как он должен был бы сделать сейчас, если только он не ускакал совсем. Я видел, как в полукилometре от меня он развернулся и, словно молния, полетел в мою сторону, подняв щит и опустив голову. Я оттянул стрелу до наконечника и пустил ее. Обе армии затаили дыхание, когда стрела запела в воздухе. Она попала в медный щит Нимрода на пядь ниже верхнего края щита, пробила его, как натянутую льняную тряпку, и врезалась в землю в добрых пятидесяти шагах от Нимрода.

Надо было слышать крик, который вознесся от Армена, когда я выпустил вторую стрелу в Нимрода, который был всего в сотне шагов от меня. Стрела попала точно в стальную шишку щита и разлетелась в щепки от удара о твердый металл центральной пластины. Но еще до того, как вторая стрела попала в цель, я уже приготовил третью. Я натянул стрелу до наконечника, как и другие, и пустил ее в полуденное солнце. Обе армии взревели так, что даже Нимрод посреди атаки

поднял голову, чтобы посмотреть, что случилось, так как стрела улетела в небо за пределы видимости, и никто не увидел, куда она упала.

В следующее мгновение я уже был в седле и, увернувшись от несшегося на меня Нимрода, позволил ему проскочить мимо. Я поднял щит и опустил копье, и пока Нимрод разворачивался, я погладил шею жеребца, шепнул ему несколько слов, и мы бросились вперед быстро и прямо, как одна из моих стрел. Не родился еще конь, и не появился еще всадник, который мог бы выдержать такую атаку!

Мы столкнулись с грохотом, звук которого пролетел вдоль всего фронта. Каждое копье попало точно в центр щита и расколосось до руки, но мое было длиннее на фут, и поэтому мой удар пришелся первым. Какую-то долю мгновения мы балансировали в этом положении, конь против коня и человек против человека, а потом я почувствовал, что смещаюсь вперед. Всем, что осталось от моего копья, я ударил коня Нимрода по глазам, ослепив его. Конь свалился, и доспехи Великого царя со звоном ударились о землю.

Раздался торжествующий крик Армена и вопль ярости Ашшура, но то, чего ждали обе армии, так и не произошло. Мой меч уже выскочил из ножен и высоко сверкнул в солнечном свете, так как ставка была слишком велика, чтобы терять полученное преимущество. Еще мгновение, и Нимрод должен был бы сдаться или умереть, но прежде чем я опустил меч, мой конь отскочил назад, словно под его передней ногой вспыхнул огонь, и замер, дрожа и обливаясь потом, в десяти шагах от поверженного царя.

В то же мгновение обе армии и многотысячная толпа, сгрудившаяся на городской стене, исторгли такой крик, какого никогда еще не издавал голос человека и не слышали уши. Я огляделся, чтобы понять, что это значит, и увидел зрелище, от которого у меня остекленели глаза и кровь застыла в жилах от ужаса.



Огромная башня, увенчанная храмом с вечным огнем, раскачивалась из стороны в сторону, как пальма в бурю, а три башни Ниневии валялись со стен градом кирпичей и пыли. Вот, как подрубленная сосна, могучая башня Бэла зашаталась и рухнула всей длиной на армию Ашшура. Земля подпрыгнула и затряслась под ногами, огромные облака пыли поднялись там, где когда-то стояла самая мощная армия, которая когда-либо выходила на войну, и из-под обломков башни донеслись такие крики и вопли агонии и ужаса, что их эхо все еще звенит в моих ушах через пропасть длиной в пятьдесят веков.

Внезапно страх разорвал оковы ужаса, сковавшие меня, и с одной мыслью в голове и одним дорогим именем на сухих дрожащих губах я вонзил шпоры в бока коня и помчался к центру нашей линии. Когда я добрался до того места, откуда выехал на личный бой, я обнаружил, что дисциплина уже сменилась паникой, ряды были сломаны, лошади скакали на месте и тряслись от ужаса или яростно металась вперед с бледными, выпучившими глаза всадниками на их спинах.

Мужчины, которые до последней минуты не знали страха, кричали друг на друга, как испуганные женщины, бегали туда-сюда или бросались на землю и рвали ее горстями в агонии безумия. Огромные зияющие трещины открывались и снова закрывались в твердой земле, поглощая людей и лошадей сотнями. Могучие стены, величественные башни и пирамиды Ниневии раскачивались и

раскалывались от основания до вершины, являя рваные зияющие пропасти, и тысячи мужчин, женщин и детей падали или сами бросались в них, крича, что пришел конец всему и великий бог Бэл в гнев спустился на землю и яростно раздирает ее на куски.

Все мысли о битве, надежды на победу и империю умерли в тот ужасный момент, войска Армена и Ашшура стояли парализованные ужасом на трясущейся земле, которая зевала огромными могилами во всех направлениях. Меня же совершенно не заботила ни сама жизнь, ни то, что могли дать мне боги, я думал только о той, чье имя я выкрикивал, перекрывая страшный хор звуков вокруг.

Наконец я увидел ее, бледную и дрожащую на краю темной пропасти, которая только что разверзлась у ее ног. Я развернул коня, и когда снова выкрикнул ее имя, она повернулась и побежала ко мне, протягивая руки. Поравнявшись, я наклонился, схватил ее за пояс, она вцепилась в мою руку, и я бросил ее в седло перед собой.

Я снова вонзил шпоры в коня, и мы поскакали прочь, потому что теперь я получил все, что могли дать мне земля и боги, и мне было все равно, кто будет жить и кто умрет позади нас.

Мой скакун ржал от ужаса и неся над трепещущей землей, словно ураган. Перед нами разверзлась пропасть, но я направил коня к ней и прикрикнул на него, и он совершил такой отчаянный прыжок, какого не делал ни один конь с того дня. И так мы мчались все дальше и дальше, не зная куда, от обреченного города и всех ужасов, которые множились вокруг него.

Мы миновали вытоптанное поле и опустошенные виноградники, и помчались в открытую пустыню. Там я глубоко вздохнул и огляделся, полагая, что все опасности остались позади и что мы двое, по крайней мере, избежали участи, постигшей Великий город и две армии, вышедшие сразиться за него.

Но, подняв глаза, я увидел, что голубое небо над головой сменилось серовато-красным, солнце на западе тускло светилось кровавым диском, и повсюду, насколько хватало глаз, катились и металась красные массы летящего песка, как волны огромного огненного океана, взмывающего с земли на небо. Тогда я понял, что перед нами и со всех других сторон на нас смотрит судьба, от которой нет спасения. Я отпустил поводья и, обняв Илму, вывел ее из оцепенения первым поцелуем, который я запечатлел на ее губах. Она

открыла глаза, и кровь волнами румянца прилила к ее лицу, а затем снова исчезла. Она высвободила одну руку из моего объятия и указала на горизонт:

— А вот и огненный ветер, Терай! От него никуда не деться, но боги милосердны, ибо они позволят нам умереть вместе. Увы Армену и его доблестным сыновьям, тех, кого пощадит землетрясение, убьет огненный ветер!

— Нам умереть?! — отчаяние и боль разрывали мою душу. — Нет, клянусь богами, мы не можем умереть! Как, неужели я пришел со звезд, победил Великого царя и завоевал тебя, моя любимая царица, для того чтобы просто задохнуться, как верблюд купеческого каравана в песчаной буре? Нет, я проеду сквозь бурю, как проехал через войска Ашшура, и на другой стороне мы найдем солнечный свет и спасение!

— Нет, мой господин и моя любовь, — ответила она с нежной грустью. — В этом огненном море для нас нет другого берега. Мы умрем посреди него, и смерть будет медленной, мучительной пыткой и долгим безумием. Но нет! Мой кинжал остр, и смерть от твоей руки будет слаще жизни от чужой. Обещай мне, Терай, что раскаленный песок не задушит меня и не сведет с ума!

Она вытянула ко мне зовущие губы, и с печальным и бушующим сердцем я наклонился, поцеловал ее и дал обещание, потому что знал, несмотря на самоуверенность, что она говорила чистую неприглядную правду.

В этот момент мой конь Тигрол с диким ржанием встал на дыбы, и я почувствовал, как горячие, жалящие песчинки хлынули мне на лицо и обнаженные руки. Порыв обжигающего ветра пронесся через нас, и сквозь него Илма прошептала мне на ухо:

— Скорей, Терай, скорей — кинжал — у меня за поясом!

Пока она говорила, мой бедный конь перестал содрогаться и, повернув хвост к ветру, как подсказывал ему инстинкт, опустился на песок. Я понял, что конец близок, и с Илмой на руках соскользнул на землю. Первый удар бури пролетел, и у нас была короткая передышка. Это была волна, а за ней приближался океан. Мой лихой Тигрол храбро нес нас, поэтому я развернул его против ветра и быстрым взмахом меча перерубил ему хребет у шеи, избавив от последней агонии.

Илма отвязала ляжки стального корсета и бросила его к ногам. Она вынула кинжал из ножен на поясе и, улыбаясь, подошла ко мне. Когда я обнял ее, на нас обрушился еще один ревущий порыв горячего, удушливого ветра, и бурлящие песчаные волны закрыли солнце и небо темно-красным занавесом. Движимый каким-то нежным инстинктом, я увлек ее за тело бедного Тигрола, и мы легли в неглубокое укрытие на раскаленном песке — самое удивительное брачное ложе, когда-либо освященное любовью.

Буря продолжала бушевать, и песок быстрыми струйками начал перелетать через тело Тигрола и скапливаться вокруг нас, создавая могилу, которая навсегда останется безымянной. Я взял кинжал из податливой руки Илмы, прижался губами к ее губам и приставил острие к ее груди. Я почувствовал только один вздох ее сладкого дыхания, одно слабое трепетание ее губ, а когда пелена смерти погасила свет любви в ее глазах, мое сердце разорвалось от ярости и горя. Последний удар бури прогремел в моих умирающих ушах, моя голова упала рядом с головой моей любимой, потом кружащийся песок окутал нас пылающим саваном, а мы лежали бок о бок, рука об руку — мертвые, но неразделенные.

Глава 5. Удивительное пробуждение

Прохладный ночной ветерок скользнул по моему лицу и разбудил меня. Я открыл глаза. Полная луна безмятежно плыла в зените, а белые звезды сияли в небе, словно лампы из горящего хрусталя.

Песчаная буря и огненный ветер миновали. Наступившая ночь опустила завесу милосердной тьмы на ужасы, захлестнувшие Ниневию и исполинскую башню, и пролила благословение сладкого, прохладного дыхания на пылающее поле битвы и мрачную пустыню, через которую мы с Илмой бежали от землетрясения, когда попали в пылающий вихрь. Да, Илма! Она тоже проснулась? Если нет, то надо ее разбудить, так как буря и пожар закончились, и наступили спокойствие и прохлада, надо...

О нет, боги, нет, этого не может быть! Глупец, безумец, я убил ее, и ее милое, чистое тело лежит холодное и безжизненное рядом со мной на песке, с ее же кинжалом, вонзенным по самую рукоять в ее грудь моей убийственной рукой! Где же она? Я хочу еще раз взглянуть на ее белоснежную красоту, теперь, увы, еще более белую, чем когда-либо, в восковой бледности смерти, и тогда я собственной рукой расплачусь за свое безумие и тем же кинжалом открою путь к единственному возможному убежищу для горькой печали и отчаяния.

Где же она? Я повернулся набок, отряхивая песок, который ночной ветер еще не сдул с меня, и огляделся, ожидая увидеть изогнутую насыпь из песка, которая подскажет мне, где искать ее тело. Но песок гладко уходил вдаль во все стороны почти вровень с пустыней. И все же, разве не лежали мы бок о бок на нашем печальном, странном, пылающем брачном ложе, и разве не должна она быть все еще рядом со мной? Песок лишь прикрыл ее, и под этой серой, гладкой поверхностью я должен найти ее спящей сном бесконечного покоя, в который ввергла ее моя рука.

Я встал на колени и погрузил руки в мягкий, податливый песок, но в нем ничего не было. В приступе страха и удивления я вонзил их еще глубже и стал яростно швырять песок направо и налево, роя перед собой длинную глубокую яму. По-прежнему не было ничего, кроме рыхлых серых песчинок, которые утекали между пальцев.

Вдруг правой рукой я наткнулся на что-то твердое. Облако ужасного, необъяснимого страха опустилось на мою душу. Я схватил это что-то и выдернул наружу. Это была золотая рукоять кинжала Илмы, из которой торчал дюйм или два ржавой стали. Дикий вопль горя пополам с ужасом сорвался с моих уст, и, словно одержимый злым духом, я, задыхаясь, яростно копал то, что, как подсказывал мне тошнотворный страх, было теперь только пустой могилой, где когда-то, и кто знает, как давно, лежала моя мертвая возлюбленная.

Я сгреб песок вокруг того места, где нашел рукоять кинжала, просеивая каждую горсть сквозь пальцы, чтобы ничто не могло ускользнуть от меня, и вскоре наткнулся на маленькие кусочки чего-то белого, которые рассыпались в пыль, когда я пытался схватить их. Затем невысокая песчаная стенка в одном углу ямы, что я вырыл, осыпалась, и из нее выкатился серо-белый череп. На моих глазах, пока я с ужасом смотрел на жутко оскаленные челюсти, которые когда-то были прикрыты сладкими губами, к которым я прижался с последним поцелуем, и на пустые глазницы, в которых когда-то были глаза, чей последний взгляд был полон любви, череп рассыпался в маленькую кучку серой пыли. Без сознания я упал, уронив руки на несчастную горку праха, которая была всем, что смерть оставила от моей милой Илмы и несравненной царицы Армена.

Когда я очнулся, солнце бросало первые лучи на песчаную равнину. Я с трудом поднялся на ноги и осмотрелся. У моих ног лежал шлем из стали и золота, почти такой же яркий, как тогда, когда я надел его, чтобы сразиться с Нимродом, но кожаный ремешок на подбородке исчез. На мне была только стальная кольчуга, хотя священный меч Армена все еще висел у меня на боку. Однако кожаные ножны, которые защищали его, исчезли, и обнаженный клинок, сияющий непотускневшим блеском, держался крестообразной рукоятью на поясе. От другой одежды не осталось и следа. Мой льняной жилет и кожаная рубашка, которая была надета под кольчугой, сандалии и подвязки, которые держали их на ногах, исчезли. Не осталось ничего, что не было бы золотом или сталью. И когда я стоял лицом к только что взошедшему солнцу, в моей душе вспыхнул первый проблеск великой и ужасной истины, которую мне предстояло узнать во всей ее полноте только после многих других засыпаний и пробуждений, подобных этому.

Я вспомнил, как стоял голый и одинокий на утесе в горах Армена, прежде чем Аракс нашел меня — Аракс, мой верный друг и доблестный товарищ, чьи кости уже превратились в прах, кто знает, как давно. А за этим воспоминанием, тусклый, как туманное звездное облако в глубинах космоса за звездами, блеснул бледный луч еще более отдаленного воспоминания, который указал мне, что в свершившемся чуде есть смысл и цель.

Я умер и все же снова стоял живой в собственном теле, в котором, наверное, моя душа проспала только ночь бесчисленных лет, но Илма, которая умерла рядом со мной, исчезла в тумане смерти в стране загробного мира. Моя душа была прикована к своему земному обиталищу, чтобы снова проснуться, когда завершится первый цикл моей судьбы, но ее душа отвергла запятнанную кровью и раздорами землю и вознеслась к звездам, оставив меня наедине с горько-сладкими воспоминаниями о мертвом и исчезнувшем прошлом. Вернется ли когда-нибудь ее душа? Увижу ли я ее снова, глядящую на меня глазами женщины или говорящую со мной мелодичным женским голосом? Кто сможет ответить?

Итак, первый этап моего земного пути был пройден, и начинался другой. Позади лежали обломки моей утраченной славы и потерянной любви. Передо мной лежало неведомое, пустое, как гладкий, разглаженный ветром песок у ног. Я снова был чужаком в этом мире, у меня не было ничего, кроме шлема, кольчуги и меча, а в сердце жила память обо всем, что я любил и потерял.

Чудо? Да, это было чудо, и в теперешние черно-белые, практичные дни фактов и цифр рассказ о нем, несомненно, вызовет у многих улыбку недоверия. Но какое мне до этого дело? Разве те, кто улыбается, сами не являются чудом, банальным, но не менее чудесным, чем это? Разве не свершилось чудо, когда они родились? И разве каждый из них не живет надеждой, что еще одно чудо перекинет мост через могилу и проложит путь к загробной жизни? И что еще можно сказать о чуде среди таких многолюдных чудес?

Когда я поднялся на ноги, солнце еще только показалось над горизонтом, и вдали, резко очерченное на фоне яркого восточного неба, я увидел нечто, что заставило мою полуразбуженную кровь бежать быстрее, потому что увиденное сказало мне, что я не один на свете и даже не один в пустыне. Между мной и солнцем протянулась

длинная, медленно движущаяся вереница груженных верблюдов, пеших и конных людей, которые шли в мою сторону с юго-востока.

Тут я вспомнил, что голоден и хочу пить, а еще вспомнил, что на золото можно купить и мясо, и питье. И вот, когда они были еще далеко, я снова опустился на колени и стал рыться в песке, вспоминая золотую сбрую своего коня, а также драгоценные камни и золотые цепи, украшавшие доспехи Илмы. Теперь в голове у меня прояснилось, и я знал, где искать, так что через час поисков у меня набралась целая кучка.

Я нашел кольчугу Илмы целой там, где она бросила ее рядом с нашим пристанищем, расстелил ее на песке и сложил на нее свои сокровища. Но самую ценную для меня вещь — золотую рукоять ее кинжала с остатком лезвия, проржавевшим от ее драгоценной крови, — я отложил в сторону, чтобы не искушать себя обменом. Затем я срезал мечом золотые украшения со шлема, сложил их в ту же кучу и завернул все в мягкие складки кольчуги. Потом я благоговейно разгладил песок, покрывавший пыль Илмы, собрал пожитки и двинулся навстречу каравану, гадая, как встретят незнакомца в таком странном обличье, и все же вынужденный идти на риск из-за голода и жажды.

Я подошел к каравану на расстояние нескольких сотен шагов, когда они заметили меня. Два всадника покинули строй и подъехали ко мне. Это были смуглые, крупные, хорошо сложенные люди, одетые в развевающиеся белые одежды, вооруженные копьями и короткими мечами. Должно быть, я представлял собой удивительную и жалкую фигуру, когда они подъехали и разглядели меня, стоящего голым посреди пустыни, если не считать кольчуги и шлема, с серой кожей и спутанными, тусклыми от пыли волосами.

Они смотрели на меня как на пришельца из другого мира, что, впрочем, было справедливо, и, насмотревшись вдоволь, один из них спросил на странном, но наполовину знакомом языке:

— Кто ты, друг, и откуда явился в таком странном наряде? Как я понимаю, ты не из Ниневии, а если ты все-таки оттуда, то ты сильно отстал от моды и тебе пригодятся хорошие крашенные ткани из Тира, что мы везем.

Как я уже сказал, его язык был незнакомым, но я понял его и ответил, старательно смеясь:

— Тем не менее, друг мой, я из Ниневии или, по крайней мере, из-под ее стен, ибо последнее, что я видел, были развалины великого города и падение великой башни...

— Клянусь Бэлом и Аштаротом! — перебил другой насмешливым голосом, прежде чем я успел закончить. — Твои уста лгут, ведь башня Бэла рухнула две тысячи лет назад, если только предания не лгут тоже, а Ниневия — не руины, а самый величественный город Египта. Что это за язык, на котором ты говоришь?

— Это язык, на котором я могу сказать тебе, — воскликнул я с жаром, положив руку на рукоять меча, — что ни ты, кем бы ты ни был, ни самый главный в этом караване не сможет сказать, что я лгу, не получив собственной лжи обратно в горло. Может быть, мой рассказ странен, потому что я спал здесь в песке, не знаю, сколько времени, и только что проснулся. И все же то, что я говорю тебе, истинно, как истинна сталь этого доброго клинка, которым я докажу это.

— Сталь? Что это такое? — спросил тот, с трудом выговаривая слово.

— Успокойся, Мелькар! Твой язык всегда быстрее меча, и для тебя всякая удивительная история — ложь. Разве ты не видишь, что этот человек один и выглядит усталым, а ещё голодным и жаждущим? Говорит ли он правду или лжет, он разговаривает как мужчина и на языке, который, если я не ошибаюсь, является добрым старым Туранским. Этот язык лучше, чем тот ублюдочный говор, который ты усвоил на пристанях Тира и на палубах галер твоего отца.

Тот, кто произносил эти слова, был старше из двоих, и я заметил, что его речь была чище и яснее и больше походила на мою, чем речь второго, поэтому я повернулся ко второму спиной и сказал:

— Вопрос, правдива моя история или нет, добрый господин, может подождать другого раза. А пока я прошу вас принять меня таким, каков я есть — одинокий человек без друзей, испытывающий голод и жажду, но имеющий средства, чтобы купить мясо и питье, а также меч, чтобы защитить себя.

С этими словами, я развернул кольчугу Илмы и показал драгоценные камни и кусочки золота.

— В каком бы времени я ни проснулся, — продолжал я, — полагаю, золото еще не утратило своей магии.

— Нет, конечно, нет! — засмеялся старик, оглаживая черную бороду. — Ты говоришь, как мужчина, и притом честный. Мы, торговцы, хорошо знаем, что может золото, и, если оно у тебя есть, что ж, добро пожаловать. Мяса и воды ты получишь, сколько попросишь, но остальное, что еще тебе понадобится, придется купить. Я — финикийский торговец Зурим из Тира, и мои товары находятся вон в том караване на пути из Арбелы в Ниневию, которую, я надеюсь, мы увидим не в руинах, как ты сказал, а во всем ее богатстве, гордости и славе, прежде чем сядут еще три солнца. Пойдем с нашим караваном, и мы поможем тебе тем, что у нас есть. Что же касается этого болтуна, то забудь то, что он наговорил, потому что в его словах всегда больше быстроты, чем мудрости.

Глава 6. Тигр-Владыка Ашшура

Мне нужно рассказать о стольких важных вещах, что я должен ограничивать себя, и поэтому я лишь в нескольких словах упомяну о том, как я пришел в караван, как купцы и стражники столпились вокруг меня, удивляясь странному виду и речи, но больше всего — белому металлу, из которого были сделаны мой меч и доспехи.

Во время нашего путешествия я услышал много нового. Я узнал, что эта компания торговцев принадлежит к народу, который уже тогда прославил имя Финикии везде, где маршировали армии или плыл флот; они гостеприимно угощали меня мясом и питьем, но все же с некоторой робостью, как будто не были вполне уверены, что я сделан из человеческой плоти и крови; они продали мне тунику, сандалии и хороший шерстяной плащ, окрашенный в Тире в сапфирово-голубой цвет, за изрядный вес моих золотых обрезков. Я узнал, что само имя Армена забыто, падение башни и старой Ниневии, против которой я шел войной, стало смутным преданием, а имя Нимрода — легендой; что новая Ниневия, в которую мы шли (уже старая в их глазах), управлялась могущественным царем по имени Тиглат-Пильсер, на вашем языке этот титул означает «Тигр-Владыка Ашшура». Но самым важным из моих открытий оказалось то, что за века моего долгого сна искусство превращения кованого железа в сталь было совершенно забыто, таким образом, я был единственным живым человеком, обладавшим тайной, которая могла принести мне империю. Все это и многое другое, говорю я, вы должны принять как должное, ибо есть лучшее применение для моего пера, чем утомлять вас рассказами о ходе моего трехдневного путешествия с новообретенными друзьями-торговцами в Ниневию.

И все же было одно зрелище, мимо которого мы проехали, о котором я должен упомянуть. На третий день перед самым восходом солнца мы увидели на севере равнину, изрезанную огромными холмами темной земли, по которым ветер гонял серые пески пустыни. Они простирались на много километров во всех направлениях, и мои спутники сообщили, что это все, что осталось от гряды гор, размытых дождями бесчисленных зим.

Но внутренний голос шептал мне, что они ошибаются, что под этими огромными бесформенными курганами погребено все, что осталось от города Великого царя и башни Бэла, и что в земле вокруг города лежит забытая пыль доблестной армии, которая последовала за мной из Армена две тысячи лет назад. Я мог бы рассказать им то, что быстро отправило бы их туда охотиться за сокровищами, вместо того чтобы торговаться на рынке в новой Ниневии, но я промолчал, так как зачем мне тревожить место упокоения могучих мертвецов ради выгоды кучки торговцев, которые и так были богаче, чем им было нужно.

Поэтому я промолчал обо всех чудесах, о которых мог бы им рассказать, и наконец мы прибыли в Ниневию. И хотя на мой взгляд она выглядела проще той славной столицы первобытного мира, все же, по правде говоря, новая Ниневия с ее могучими стенами и величественными башнями, сияющими воротами и огромными храмами и дворцами, облицованными сверкающим, словно снег, мрамором, возвышающимися террасами пирамид ярус за ярусом высоко над всеми, эта Ниневия была достойной дочерью величественной матери, которую она забыла.

В ту ночь мы разбили лагерь на широком поле, отведенном для торговцев вокруг колодца у главных, восточных ворот города, и, пока финикийцы распаковывали товары и готовили их к выходу на рынок на рассвете, я развлекался тем, что чистил меч, шлем и кольчугу, гадая, что же может случиться со мной завтра в городе Тигра-Владыки.

Конечно, в лагере не обходилось без посетителей, и среди них было немало солдат и офицеров армии Тиглата, ярко разодетых, легковооруженных самодовольных щеголей, какими они представлялись на мой суровый, старомодный взгляд, однако, по всем сведениям, хорошо обученных, дисциплинированных и справедливо наводивших ужас на врагов. И все же, глядя на них, я бы не задумался дважды перед тем, как обрушиться на их десять тысяч со своим двухтысячным отрядом кавалерии Армена.

Можете поверить, что мой рост (а я был на добрую голову выше самого высокого из них), светлые, струящиеся локоны, странная белая кольчуга и меч недолго оставались незамеченными, и очень скоро один из офицеров подошел и приветствовал меня с тем ощущением товарищества, которое всегда возникало из братства по оружию, и

спросил, как меня зовут и откуда я. Его слова звучали для меня как искаженный диалект старого языка, на котором мы говорили раньше, до того, как языки людей были смешаны после падения исполинской башни, как рассказали мне финикийцы. Когда я ответил на его приветствие на языке своего старого мира, он уставился на меня и тут же принялся задавать вопросы, на которые я отвечал, что взбредет в голову, и рассказал о себе столько, сколько считал нужным, и далеко не все было правдой, потому что я не хотел стать на следующее утро объектом пристального внимания всего города.

Наконец он прямо спросил меня, не хочу ли я поставить свои крепкие руки и длинный меч на службу Великому царю, как он его называл, чтобы завоевать славу, добычу и, может быть, провинцию в армии Ашшура, в которой, как он признался мне, сам был командиром десятитысячной дивизии. Я забыл о хороших манерах и громко рассмеялся над этим предложением, потому что невольно подумал, как этот украшенный золотом, одетый в алое воин разинул бы рот в изумлении, если бы я рассказал ему, как в давно забытые дни я встретил и победил в единоборстве самого могучего Нимрода, предка Тигра-Владыки, которому он поклонялся как богу. Но вместо этого я попросил у него прощения и объяснил, что в настоящее время у меня нет хозяина и я не нуждаюсь в нем, что я путешествую, чтобы увидеть мир и его города, и собираюсь сделать это по-своему.

— Но что, если ты нужен моему господину царю, и он прикажет тебе следовать за его знаменем? — спросил он с внезапной надменностью, от которой моя горячая кровь всколыхнулась, и мне захотелось свалить его на землю за дерзость.

— Тогда, — медленно произнес я, положив руку ему на плечо и сжав его так, что он невольно вздрогнул, — я скажу твоему хозяину, что он мне не нужен и что я не приду.

— Ответ, который заставит тебя корчиться на остром колу за городскими воротами, прежде чем ты станешь на час старше, — заметил он с улыбкой, которая была приятнее его слов, — и видеть это зрелище мне было бы очень грустно, потому что, откуда бы ты ни пришел, ты самый лучший сын Анака, которого я когда-либо встречал, и мне хотелось бы видеть твою хватку на горле врага Ашшура, а не чувствовать ее на своем плече. Итак, поскольку Великий царь уже слышал о тебе, не удивляйся, если утром тебя призовут к нему, и,

прошу тебя, говори с ним справедливо, потому что те, кто поступал иначе, уже не живут.

— Если он пошлет ко мне, как один царь к другому...

— Что? Неужели ты царь в своей стране? — прервал он мою необдуманную речь, отступив на шаг.

— Да, царь и в моей стране, и здесь, — ответил я, смеясь, чтобы скрыть свою ошибку, — царь хорошего клинка и сильной руки, и того царства, какое они смогут добыть мне. Может ли твой господин дать мне больше в обмен на мою свободу?

— Слова воина! — улыбнулся он, — и завтра ты подтвердишь их. Но сейчас городские ворота закрываются, а я сегодня ночью в карауле. Ты увидишь меня снова вскоре после восхода солнца.

С этими словами он удалился, и действительно, едва солнце подняло свой диск над равниной, он оказался у моего шатра в сопровождении ярко одетых воинов в полированных бронзовых доспехах с медными украшениями и в плащах из ярко-синей ткани. Когда я вышел, он показал мне перстень с печаткой, украшенный голубым камнем, и сообщил, что исполняет приказ Великого царя пригласить меня в тронный зал. Сообщение было достаточно вежливым, учитывая, от кого оно пришло, и было учтиво передано, поэтому без лишних слов, поскольку я уже был одет и вооружен, я ответил:

— Мой господин царь милостив к страннику без цели. Веди, брат по мечу, я иду следом.

Он отдал приказ своим людям, которые все это время смотрели на меня во все глаза, они разделились на две колонны, между которыми я прошел рядом с вчерашним знакомым через большие врата, охраняемые чудовищами, затейливо вырезанными из камня — два с телами быков, орлиными крыльями и человеческими головами, а другие два с человеческими формами и орлиными головами.

От внутренней стороны ворот широкая, гладко мощеная улица тянулась прямой линией на много сотен метров к западной стене. Вдоль улицы выстроились величественные здания и тенистые сады. Мы шли по ней, пока не подошли к подножию огромной террасной пирамиды, по которой пролет за пролетом широкие мраморные ступени вели к огромным воротам через аллею каменных чудовищ, подобных тем, что стояли у входа в город.

Мы поднялись по ступеням и прошли через ворота в широкую и высокую галерею, плоскую крышу которой поддерживали ряды рифленых колонн, покрытых пластинами чеканного золота и серебра. Между ними стройные пальмы и папоротники, деревья с плодами или благоухающие цветами, казалось, выростали из мраморного пола, а среди них кристально чистые воды нескольких фонтанов с мягким музыкальным плеском падали в серебряные чаши. В другом конце этой галереи был еще один квадратный дверной проем, завешенный тяжелыми шелковыми портьерами цвета царского пурпура, охраняемый двумя двойными шеренгами пышно одетых воинов царской гвардии.

Когда мы проходили между ними, мой проводник показал перстень с печаткой. Все головы склонились перед ним, портьеры раздвинулись, и я очутился в огромном зале с колоннами, великолепие которого невозможно описать никакими словами. Мои спутники пали ниц, прижавшись лбами к блестящему наборному полу из разноцветного мрамора. Впереди в добрых двадцати шагах над десятком низких белых ступеней возвышался огромный золотой трон, на котором восседал, пристально глядя на меня пронзительными черными глазами, тот, кого справедливо называли Тигром-Владыкой Ашшура. По правую руку от трона стоял бритоголовый жрец Бэла в белом одеянии, и (моя рука дрожит от стыда и ярости даже сейчас, когда я описываю это) на низком мягком табурете, прислонившись спиной к другой стороне трона сидела Илма, белая, милая и прекрасная, как в былые времена, а левая рука царя лениво играла ее золотисто-рыжими волосами...

Внезапно беспричинное безумие охватило меня. Я забыл, что две тысячи летних солнц и две тысячи зимних бурь просияли и пронеслись над могилой в пустыне, в которую мы легли, чтобы умереть вместе. Я забыл, что давным-давно ее душа в безупречной чистоте вознеслась к звездам. Сейчас я видел только похожую на нее форму из плоти и руку другого мужчины, ее хозяина, который ласкал ее, как любимую собачку.

Что мне было до того, что он был царем, деспотом-повелителем миллионов? Раскаленный добела от ярости при виде этого отвратительного зрелища, я оставил провожатых пресмыкаться там, где они упали на пол, и зашагал к ступеням трона. Я остановился в

пяти шагах и стоял, слепо глядя на парочку. Затем я услышал голос, от которого дрожь пробежала по моим пылающим венам:

— Я вижу, что ты действительно чужестранец, как мне сказали. Из какой далекой страны ты пришел, если не знаешь, что смотреть в лицо восседающего на троне царя Ашшура, пока тебе не прикажут, карается смертью на колу? На этот раз я прощу твоё невежество. Пади ниц и будешь жить, ибо ты слишком хорошая жертва для Мардука, чтобы твои конечности гнили на колу под солнцем.

Не обращая внимания на кажущееся безумие моих слов, не обращая внимания даже на страшную угрозу, исходившую от слов царя, так яростно горела во мне беспричинная ярость, я схватился за рукоять меча и, глядя Тиглату прямо в глаза, сказал:

— Я чужестранец и гость царя, ведь он пригласил меня в свой дом. В остальном же глаза, смотревшие в лицо могучего Нимрода на поле битвы, едва ли будут ослеплены ликом Тигра-Владыки на его троне.

— Клянусь богами, ты так же безумен, как и дерзок! — произнес Тиглат все тем же холодным жестоким голосом, хотя румянец уже поднялся от его курчавой черной бороды к злым глазам. — Разве ты не знаешь, что Нимрод отправился к звездам две тысячи лет назад, а тебе еще нет и тридцати? Надо ли говорить, что стража только и ждет моего слова, чтобы закрыть твоё лицо и увести тебя на смерть?

При этих словах моя гордая кровь загорелась еще жарче, и, безразличный к жизни и смерти, глядя на мерзкое зрелище, я ответил:

— У тебя много легионов, но в них нет человека, который мог бы это сделать. Позови своих рабов, пусть попробуют!

Он засмеялся, в то время как жрец и девушка смотрели на меня широко раскрытыми от изумления глазами. Затем царь сделал знак правой рукой, левой все еще играя с волосами девушки, и я услышал шарканье, а затем топот ног сзади. Я обернулся и увидел, что отряд стражи бежит на меня с опущенными копьями, а их капитан обнажил меч. Вместе с ним, их было одиннадцать. За неимением лучшего щита я сорвал с себя плащ и намотал его на левую руку, и, когда они бросились на меня с поднятыми копьями, выхватил из-за пояса меч.

Когда наконечники копий оказались в футе от моей груди, они остановились, и капитан приказал мне сдаться во имя Великого царя. Вместо ответа я ударил мечом сверху вниз и вбок и срезал добрых

полдюжины древков, словно это был тростник. Острия копий звякнули о мраморный пол, когда я отшвырнул древки в сторону и нанес длинный горизонтальный удар по ряду лиц перед собой.

Хорошая сталь пробила себе дорогу сквозь плоть, кости и ремни шлемов, и когда хлынула кровь, меня охватило знакомое упоение боем. Давно забытый боевой клич Армена вырвался из моего горла, и я рубил направо и налево, резал и колол, каждым ударом посылая человека наземь с расколотым черепом или разбитой грудью, вновь и вновь пробивая доспехи, пока двое или трое оставшихся на глазах своего хозяина не убежали прочь, вопя от страха. Я бы сказал, что все, кроме одного, потому что в суматохе капитан стражи подкрался ко мне сзади и ударил в спину железным мечом. Удар был ловким и на мгновение сбил мне дыхание, но кольчуга выдержала, а несчастный клинок согнулся пополам от силы удара.

Когда я повернулся к нему, я услышал, как царь кричит дрожащим от гнева голосом:

— Удар труса, Зиркал! За это я с тебя живьем шкуру спущу, если ты его убил... Клянусь Бэлом и Ашшуром, нет, он даже не ранен! Что это за чудо?

Пока Тиглат говорил, я повернулся к дрожащему негодяю, который стоял, недоуменно уставившись на смятый клинок, и опустил меч за пояс, потому что не хотел пачкать меч его грязной кровью. Я взял Зиркала за горло и сказал громко, чтобы царь мог слышать:

— Дурак и трус в придачу! Разве я не говорил тебе вчера вечером, что в Ниневии нет оружия, способного причинить мне вред? Ты думал привести меня к смерти. Теперь я отведу тебя к твоей.

С этими словами я еще крепче сжал его горло одной рукой, а другой схватил его за пояс, поднял и понес к изумленному хозяину. Взмахнув им высоко над головой, я прокричал:

— Забери своего раба, царь, потому что мне не нужен такой пес!

И с этими словами я швырнул его на ступеньки с такой силой, что его череп раскололся, доспехи разлетелись на куски, а кровь и мозги брызнули на ноги Тигра-Владыки и запачкали белое одеяние съездившейся, дрожащей девушки, которая сидела у его ног.

Глава 7. Тайна плоти

Без сомнения, вы все это время удивлялись, почему Тиглат спокойно сидел на троне, наблюдая, как я убиваю его стражников, когда он мог бы вызвать сотню людей, чтобы одолеть меня, просто хлопнув в ладоши, но это скоро объяснится. То были дни, когда безраздельно властвовала сила, когда судьбы мира грубо высекались мечом и топором, чтобы подготовить их к более мягкому обращению в более поздние времена, и, что было вполне уместно для работы, которую должны были выполнять мужчины, высшими добродетелями считались сила рук и стойкость сердца. Если у мужчины они были, ему можно было простить все недостатки, за исключением измены и лжи, которые в те дни считались преступлением.

Несмотря на гордость и страсть, а также множество других недостатков, я в полной мере обладал этими двумя добродетелями, и Тиглат, как храбрый человек и хороший воин, увидел это и воздал мне должное. Более того, он смотрел на эту схватку так, как тысячу лет спустя римские цезари смотрели на хорошо сбалансированный бой гладиаторов или как ваши спортсмены смотрели бы на боксерский поединок. Для него это было лучшим развлечением, чем выпускать львов против нескольких слабо вооруженных пленников в саду его дворца. Что же касается стражников, то, что для Тиглата была дюжина человек, если в его руках были тысячи и десятки тысяч жизней?

Когда я швырнул Зиркала и разбил его голову о ступени трона, я решил, что настал мой последний час, что сейчас сотни солдат схватят меня и предадут пыткам и смерти. Но мне было наплевать на смерть, на новую жизнь, первые дни которой показали горькое, постыдное зрелище, все еще стоявшее перед моими глазами, и я с вызовом ждал сигнала, который, однако, так и не был дан. Войти в царское присутствие без приказа было равносильно смерти, поэтому стража стояла в недоумении возле дверей, но не осмеливалась пройти, а царь, вместо того чтобы позвать их, поднял на меня глаза с мрачной улыбкой на смуглом лице и тихо произнес:

— Смело сделано, друг! Твое сердце так же крепко, и рука твоя так же сильна, как дерзок твой язык. Воистину, ты достоин стоять

перед царями, даже перед владыкой Ашшура. А теперь назови свое имя и страну и скажи, из чего сделаны твой чудесный меч и кольчуга?

Удивление от таких дружеских и неожиданных слов и мягкость, с которой они были сказаны, слегка отрезвили меня, и, отступив на шаг, я ответил все так же гордо, но без всякой страсти в голосе:

— В дни, которые давно забыты, меня звали Терай из Армена. Я спустился со звезд, чтобы привести войско Армена к победе над Ниневией, и в час нашего триумфа, в тот самый момент, когда Нимрод пал под моим копьем, земля содрогнулась и разверзлась, и Ниневия с башней Бэла смешались в руинах. Я уехал с..., — как я ни старался, я не мог не опустить глаза на этот прекрасный призрак из плоти и крови у ног царя, — с тем, кто был мне дороже всего нашего доблестного войска, но огненный ветер встретил нас, и песчаная буря накрыла нас, и четыре дня назад я проснулся.

Вот моя история. Я вижу, что царь улыбается, принимая ее за выдумки сумасшедшего. Да будет так. Я ни у кого не прошу веры; клянусь богами, я сам хотел бы в нее не верить! Что касается моего меча и кольчуги, то они были выкованы в Армене много веков назад с помощью искусства, которое боги дали людям, когда мир был молод, и потом вернули его себе. Каковы их свойства, царь видел сам.

— Сказка о чуде, рассказанная коротко и ясно, — прокомментировал Тиглат, наполовину сомневаясь, наполовину веря. — По первой части ничего не скажу. Амрак, верховный жрец Бэла в Ниневии, побеседует с тобой об этом позже. Но теперь о мече и кольчуге. Судя по тому, что я слышал, ты далеко не богат. Я дам тебе доходы от провинции и командование десятью тысячами в моей армии в обмен на них. Что скажешь?

— Что царь может убить меня и получить их даром, но я не продам их за все богатства Ашшура, — медленно произнес я, глядя в глаза Тигру-Владыке. — Они — все, что у меня есть, и они бесценны, потому что боги дали их мне, и только боги могут забрать. Но у меня есть другая кольчуга, — продолжал я, пораженный внезапной мыслью, которую мой добрый гений, должно быть, вложил в мое сердце, — и я отдам ее тебе и сделаю тебе меч из этого металла, если за это ты дашь мне...

— Что? — вскричал Тиглат, его нетерпение, наконец, взяло верх над чувством собственного достоинства. — Я не хочу убивать такого

человека, как ты, так что назови цену, и ты получишь ее, даже половину моего царства!

— Царское слово сказано! — заметил я. — Моя цена — девушка у твоих ног, два хороших коня и свобода уйти, когда моя работа будет выполнена.

— Я бы предпочел, чтобы ты попросил самую богатую провинцию, — сказал в ответ Тиглат, глядя на девушку, которая переводила с него на меня широко распахнутые испуганные глаза, — потому что девушка прекрасна, и Хирам из Тира прислал ее мне только вчера на память о моем пребывании в Арваде. И все же, как ты говоришь, слово царя сказано, и то, что обещано, должно быть выполнено. Принеси мне кольчугу и можешь отвести ее в свой шатер. Остальное ты получишь, когда будет сделан меч. Амрак будет охранять девушку для тебя, и ты получишь ее в том же виде, в каком она пришла ко мне. Эй, там, стража! Уберите от меня эту пададь и закройте лица трусов, которые бежали от единственного меча.

С этими словами он поднялся с трона, оттолкнул ногой мертвое тело Зиркала и ушел, даже не взглянув на девушку в последний раз. Амрак, низко поклонившись господину, сделал ей знак подняться и следовать за ним. Затем он повернулся ко мне и заговорил впервые с тех пор, как я вошел в тронный зал:

— Мой господин за короткое время показал нам много чудес! Стражник отведет вас в ваш шатер, чтобы вы могли принести кольчугу для моего господина царя, а затем, если вам будет угодно оказать мне честь, мы вместе пообедаем в моей комнате в храме, куда стражник сопроводит вас. После того, что я услышал, мне не терпится услышать еще.

— Я с радостью расскажу тебе все, что знаю, ведь для того, у кого нет друзей на свете, вежливость и доброта вдвойне приятны.

Я произнес эти слова на древнем языке, который был моим до того, как я выучил речь Армена, так как помнил, что старый Ардо говорил мне в Армене о магическом языке жрецов, и хотел посмотреть, сохранили ли его служители Бэла. Румяное лицо упитанного первосвященника Бэла посерело, как завитки его тщательно завитой бороды, и, подойдя ко мне, он скрестил руки, склонил передо мной голову и ответил на том же языке:

— Нет никого, кто был бы достоин дружить с моим господином. Для Амрака достаточно чести быть его слугой. Тот, кто говорит на языке богов так, словно это его родной язык, не нуждается в земной дружбе. Я буду ждать моего господина, как и сказал. Теперь я должен идти выполнять приказы царя. Провожатый ожидает моего господина.

Я наклонил голову в ответ и, оглянувшись на девушку, которую Амрак уводил за руку, сказал начальнику стражи из двадцати человек, ожидавших меня с глазами полными удивления и трепета:

— Я готов. Шагайте, время не ждет.

Они выстроились, десять впереди и десять сзади, а между ними шел я с капитаном, сопровождавшим меня так угодливо, как раб сопровождает хозяина, потому что сам Тигр-Владыка назвал меня другом, а я стоял перед ним, пока он говорил со мной, так что в тот день не было в Ниневии более великого человека, чем я, который вошел в город без друзей и скорее в качестве пленника, а не гостя.

Вы, наверное, уже догадались, что я говорил царю о кольчуге Илмы. Как ни жаль мне было расставаться с дорогой реликвией, но это было все, что я мог отдать, чтобы избавиться от ненавистной мысли о той, которую судьба создала в образе моей потерянной Илмы, живущей в качестве рабыни и игрушки того, кто будет какое-то время забавляться ее красотой, а затем выбросит, как увядший цветок или надоевшую побрякушку.

Я мысленно смерил Тиглата, пока разговаривал с ним, и когда я добрался до своего шатра и достал кольчугу, то понял, что не стоит опасаться, что она ему не подойдет, ибо, как ни крепки и выносливы были эти ассирийцы, они были гораздо ниже ростом людей прекрасного племени Армена, и, если бы моя милая величественная Илма встала рядом с Тигром-Владыкой, она оказалась бы на дюйм его выше. Более того, она надевала кольчугу поверх шерстяного жилета, мягкого и тонкого, как шелк, но плотно простеганного, чтобы еще больше ослабить силу случайных ударов, которые она могла получить в бою.

С тяжелым сердцем, я все же почистил и отполировал кольчугу, и пересмотрел все застежки. Шлем Илмы из стали и золота я тоже нашел в песке, но оставил его себе, потому что не мог вынести мысли о том, чтобы увенчать чужую голову этой боевой короной, которую она надевала как Владычица меча. Было уже около полудня, когда я

закончил, и все это время моя стража неподвижно стояла у дверей моего шатра под палящим солнцем, чтобы никто не отвлекал и не подглядывал. Приготовив кольчугу, я завернул ее в тонкую тирскую ткань и, как раньше в сопровождении телохранителей отнес во дворец.

Амрак встретил меня в тронном зале со словами:

— Царь будет говорить с моим господином в своих покоях. Пусть мой господин следует за своим слугой.

Взмахом руки он отпустил мою стражу, и я последовал за ним через залы и галереи, каждая из которых была великолепнее остальных, пока мы не вышли в обширный сад, раскинувшийся между дворцом царя и высоким храмом Бэла, возвышавшимся над всеми другими зданиями города. Он провел меня через прохладные тенистые рощицы, защищенные высокими деревьями и украшенные цветами из разных стран, к маленькому дворцу из чистейшего мрамора, каждый камень и колонна которого были привезены более чем за 500 км из каменоломен Эльбурса.

Здесь обитал Тигр-Владыка во всем великолепии и роскоши царя, подданные которого — его слуги, а царство является его собственностью, и в зале, великолепии которого ослепило меня, Тиглат ждал нас один. Амрак упал на пол, согласно раболепному обычаю этой страны, я же остался стоять, только склонив голову, когда приблизился к ложу, на котором возлежал царь. Он встал, когда я вошел, и приветствовал меня с искренним дружелюбием, которое, казалось, исходило скорее от одного солдата к другому, чем от могущественного царя к чужеземцу без друзей, из чего я заключил, что Амрак сказал ему достаточно, чтобы воззвать в мою пользу к тому доверчивому суеверию, от которого величайшие и храбрейшие в те дни никогда не были полностью свободны.

— Ты верен сделке, ты самый удивительный из всех чужестранцев, которых я видел, — он смотрел на меня дружелюбно и с любопытством, которого не мог скрыть. — Я вижу, ты принес кольчугу, поэтому тебе остается только спросить Амрака о девушке, и она твоя.

— Кольчуга здесь, — сказал я, разворачивая ткань. — И, если мой господин царь пожелает, я поработаю оруженосцем и помогу надеть ее.

— Да будет так, если хочешь. Нет, постой — кольчуга еще не испытана.

Я улыбнулся подозрению в его голосе:

— Пусть мой господин обнажит свой меч и проверит ее, но предупреждаю, что меч будет сломан.

— Это лучший меч в Ашшуре, за исключением твоего, — ответил царь, вынимая оружие, — и, если он согнется или сломается о кольчугу, я добавлю к цене десять талантов золота.

Я обнажил правую руку, положил на нее кольчугу и протянул руку к царю:

— Теперь пусть царь бьет или колет, как заблагорассудится, и, если моя кожа будет поцарапана, пусть царь убьет меня моим же мечом.

Он поднял свой незакаленный железный меч и опустил его со всей силой. Я напряг мышцы, чтобы принять удар, и когда меч ударил, клинок согнулся вокруг моей руки и отломился у рукояти. Я снял кольчугу и показал, что на моей светлой коже нет ни царапины.

— Клянусь глазами Иштар, ты сказал правду! — воскликнул он восхищенно, глядя на мою руку и на погнутый и сломанный клинок. — А теперь быстро, друг Терай, надень на меня кольчугу, чтобы я знал, что никакое оружие не сможет пронзить меня. А потом поспеши и сделай мне меч, который ты обещал, и ты покинешь Ниневию с десятком верблюдов, груженых моими подарками, и, если когда-нибудь тебе понадобится друг, пошли это кольцо в Ниневию, и все армии Ашшура придут тебе на помощь.

Он протянул мне перстень, снятый с пальца, и после того, как я поблагодарил его самым любезным образом, я надел на царя кольчугу и показал застежки. По счастливой случайности кольчуга оказалась ему впору, и после того, как он дал Амраку указания, как меня развлекать и как обеспечить мне условия, необходимые дляковки меча, мы оставили его любоваться собой в длинном зеркале из полированного металла и радоваться новым доспехам, как женщина новому платью, а я последовал за верховным жрецом в храм, чтобы получить плату за то, что сделал Тигра-Владыку неуязвимым для его врагов.

Когда мы миновали дворцовую стражу, Амрак провел меня через сад по другой дорожке, которая вела к подножию широкой лестницы,

ведущей на нижнюю террасу Храма Бэла. Оттуда мы прошли под большим квадратным дверным проемом, увенчанным крылатым кругом, который, как вы знаете, является эмблемой Верховного божества, частичными проявлениями которого были все боги Ашшура. Из этих ворот широкий прямой коридор привел нас в самое сердце пирамиды, где была квадратная комната, а оттуда еще один лестничный пролет доставил нас к концу еще одного прохода, ведущего наружу к стороне пирамиды, и когда мы прошли его, Амрак хлопнул в ладоши.

Тяжелые занавеси, закрывавшие еще одну арку, были раздвинуты невидимыми руками, и, отойдя в сторону и склонившись почти до земли, Амрак сказал:

— Пусть мой господин почтит жилище своего слуги, и пусть присутствие сына звезд принесет благословение дому служителя Бэла!

Я отвернул голову, чтобы скрыть непрошеную улыбку над напыщенностью его речи, но не успел переступить порог, как улыбка исчезла с моих губ, и холодок пробежал по моему сердцу, из которого в эту минуту испарились все мысли о гордости. Широкие затененные окна комнаты выходили на третью террасу храма, и половина Ниневии с полями и садами за городской стеной, исчезающими в серой бескрайней пустыне, которая сливалась с серым небом, являла вид, который вполне мог бы внушить созерцателю мысли о величии этого города.

Однако я лишь мельком взглянул на великолепный пейзаж, потому что в этой комнате, сжавшись в комочек на краю крытой шкурами кушетки, сидела живая, дышащая копия той, что умерла рядом со мной в песке две тысячи лет назад. Тогда на свете не было более прекрасной и гордой царицы, чем та, кого мы называли Владычицей меча. Теперь это была съежившаяся, дрожащая рабыня, которую я купил у ее владельца за кольчугу, которую она надевала на нашу последнюю битву. Была ли когда-нибудь более удивительная встреча девушки и возлюбленного?

Но как же надо было толковать эту загадку? Действительно ли это была моя гордая, несравненная Илма, вернувшаяся к жизни, как и я, чтобы продолжить исполнять нашу удивительно связанную судьбу?

Нет, как такое может быть? Разве не видел я, не чувствовал, как ее кости рассыпались от моего прикосновения в нашей общей могиле

там, в песках пустыни? Разве не понимал я, что это не могла быть она, какое бы чудо ни сотворили боги?

И все же иллюзия, обманывающая мои чувства, была так совершенна, что я не мог удержаться, чтобы не подойти к ней и не взять ее за руку, как не мог удержаться, чтобы ее имя не сорвалось с моих уст:

— Илма!

Ее рука была вялой и пассивной, огромные бездонные глаза, которые в ужасный миг конца нашей прошлой жизни смотрели на меня с любовью даже сквозь напалзающую пелену смерти, теперь глядели на меня снизу-вверх испуганным взглядом, который я мог бы увидеть в глазах собаки, которая боится плети хозяина. Губы ее шевельнулись, издали какой-то звук, но было ли это слово, нечленораздельный звук ужаса или мольба, я не знаю. Я отпустил ее руку, пронзенный до самого сердца тупым холодом ее смертельного страха, и когда она безвольно упала ей на колени, я повернулся к Амраку и спросил, как можно небрежнее:

— Кто эта девушка? Известно ли что-нибудь о ее жизни до того, как Хирам Тирский послал ее к царю?

— Мой господин, — начал жрец с тенью улыбки на губах, — я могу сказать о ней не больше, чем о том, почему мой господин проявил к ней такой интерес. Пять лун назад царь путешествовал в Арвад в стране финикийцев на берегу моря Заходящего солнца, и Хирам рассказал ему, среди прочего, об удивительных странах за пределами дня, которые посетили его мореплаватели, и буквально вчера, когда мой господин прибыл к восточным воротам, к западным воротам пришло посольство от Хирама с этой девушкой, и те, кто привез ее, сообщили, что она происходит из далекой страны на севере, на самой дальней границе мира, и что она прислана, чтобы царь увидел, какие прекрасные цветы способны распускаться под вечно-темным небом севера.

Ее зовут Гудрун, сказали нам, — странное, диковинное имя для такой прекрасной девушки, но не более диковинное, чем ее речь, самая необычная из всех, когда-либо слетавших с таких прелестных уст. И это все, что я или кто-либо другой в Ниневии может рассказать о ней.

— А потому этого будет достаточно, — заключил я, — пока я не научусь ее языку, и она сама не расскажет больше. А теперь ты хотел

бы кое-что узнать у меня, и я буду очень рад отплатить тебе за твое дружелюбие. Спрашивай.

— С радостью, — ответил он. — Но сначала пусть рабы принесут мясо и вино, чтобы мой господин мог поесть и утешить свою душу.

Он хлопнул в ладоши, и бритые рабы быстро принесли все лучшее, что могла предложить Ниневия. Когда стол был накрыт, я позвал Гудрун по имени и указал на место рядом с собой, но она только молча посмотрела на меня и покачала головой, а затем бросилась на кушетку и закрыла лицо руками.

— Скоро она будет более милостива к моему господину, — сказал Амрак с улыбкой, за которую я готов был задушить его, — но с этими пленными красавицами всегда так. Стоит им попробовать плеть раз или два...

— Заткнись! — вскрикнул я так, что он подпрыгнул и задрожал от ужаса, встав рядом со своим креслом, — или я забуду, что ты жрец, и собаки найдут твой труп у подножия вон той террасы... Ну-ну, ладно, садись, приятель! Я ничего не имел в виду. Я забыл, что ты не знаешь того, чего я не могу тебе рассказать; но, клянусь богами, если бы ты знал это, то скорее откусил бы язык, чем позволил бы себе богохульствовать, как ты это сделал.

Он сел, все еще дрожа от ярости моих первых слов и удивляясь странности последних, и когда немного пришел в себя, то начал задавать вопросы, много вопросов, на которые я отвечал, как считал нужным, и после этого он сообщил, что царь отвел мне апартаменты в Большом дворце, пока я остаюсь в Ниневии, со слугами, рабами и почетным караулом, чтобы сопровождать меня; кроме того, Амрак приказал приспособить просторную комнату в храме под кузницу для изготовления царского меча, чтобы никто не мог видеть хода работы.

Наконец, все кузнецы и оружейники города будут в моем распоряжении со всеми металлами, которые могут мне понадобиться.

— Это хорошо, — сказал я, когда он закончил. — А теперь, Амрак, объясни мне одну вещь, честно, по вере верховного жреца Бэла. Почему Тигр-Владыка поступил со мной так, когда он мог убить меня и забрать все, что у меня есть, даром? И еще, скажи также, действительно ли он позволит мне покинуть Ниневию с миром, и если да, то почему, ведь он мог бы попытаться заставить меня служить в его армии?

— Во-первых, — Амрак положил руки на стол и сложил кончики пальцев вместе, — потому что мой господин царь дал слово, а его слово нерушимо. Если бы ты дрогнул перед стражей, ты сейчас умирал бы на колу за городскими воротами, но Тигр-Владыка был впечатлен твоей храбростью и назвал тебя другом, и ты навсегда останешься в его глазах другом.

Во-вторых, хотя мой господин царь самый могучий воин в Ашшуре, он не так могуч, как ты, мой господин, и он это понимает. Нужно ли объяснять тебе, почему царь Ашшура не должен принуждать себе на службу того, кто утверждает, что спустился со звезд, и может, при случае, отвратить от него сердца его воинов?

— Мудро сказано, верховный жрец Бэла и верный слуга царя! — улыбнулся я. — Я удовлетворен. Твои доводы так же хороши, как твое вино, а это говорит о многом. А теперь, прошу тебя, пусть твои слуги проводят меня в мое жилище, потому что до захода солнца мне нужно сделать больше, чем ты думаешь.

— Я сам провожу моего господина, если он позволит, — сказал Амрак, поднимаясь вместе со мной.

Я сделал девушке знак следовать за мной, и мы покинули храм и вернулись во дворец, где я обнаружил, что слуги уже подготовились к моему приему, а сам я устроился как царь. Моей первой заботой было выбрать несколько комнат для Гудрун и назначить рабынь прислуживать ей. Я велел им обращаться с ней как с царицей, и пригрозил, что своей жизнью они отвечают за безупречную службу.

Что касается меня, то я решил, пока не прольется свет на загадку, которая озадачивала меня, обращаться с ней так, как если бы она была настоящей Илмой, восставшей из мертвых. Ее тело было здесь, в этом я был уверен; и, может быть, боги позволят мне когда-нибудь вернуть ее душу из обиталища среди звезд в ее сосуд из глины.

В тот же день я приступил к работе над своей задачей, так как Ниневия с ее многолюдными толпами и подавляющим великолепием уже вызывала у меня ненависть, кроме того, я уже решил, как только освобожусь, отвезти Гудрун обратно на финикийское побережье, разыскать Хирама из Тира и узнать все, что смогу, о ее родной стране, потому что слова Амрака каким-то удивительным образом пробудили во мне то смутное воспоминание, какое я ощутил, когда впервые предстал перед Илмой в тронном зале Армена.

Во второй половине дня я заперся в одиночестве и вспомнил все, что узнал от кузнецов и оружейников Армена, которые под руководством жреца Ардо обучили меня тайнам своего искусства, и когда я убедился, что ничего не забыл, я вернулся в храм, осмотрел кузницу и отдал распоряжения о том, что было необходимо добавить к ее оснащению.

На следующий день вместе с Амраком я обошел все оружейные лавки и кузницы, а затем один отправился в лагерь финикийцев за воротами и навел справки о металлах, пока, наконец, не наткнулся на торговца, приехавшего из Дамаска и имевшего с собой небольшой запас мягкого чистого железа, которое он возил с собой скорее из любопытства, чем как товар; как он рассказал мне, оно было недавно найдено в одном из ущелий Загроса. Я купил все железо, что у него было, по весу золота и отнес его в свою кузницу, которая была спрятана глубоко в подвале храма, и через четыре дня вышел с мечом в руке и попросил аудиенции у царя.

Он принял меня в той же комнате, куда я принес кольчугу, и когда я вынул из ножен сверкающий клинок и протянул ему, глаза великого, могущественного монарха засияли как у ребенка, получившего желанную игрушку. Он взял меч, взвесил его в руке и взмахнул им в воздухе, а я, видя, что он оглядывается, словно ищет, на чем бы его испытать, поднял кожаный щит, усеянный бронзовыми и медными заклепками, и, держа его обеими руками перед собой, сказал:

— Пусть мой господин ударит по щиту и испытает клинок. Если он окажется зазубрен или притуплен, я сделаю ему еще один и не попрошу награды ни за этот, ни за тот.

Он взмахнул мечом над головой, со всей силы ударил лезвием в край щита и одним чистым разрезом рассек его до центра. Вытащив меч, он внимательно осмотрел его кромку.

— Клянусь богами, это действительно царское оружие! На нем нет даже царапины! Ты все еще хочешь покинуть Ниневию, Терай?

— Да, господин, — ответил я. — Завтра на рассвете я потребую обещанной царем свободы. Не думай, что я неблагодарен, но моя цель определена, а кроме того, не будет ли лучше, если в армии Ашшура будет только один такой клинок, а не два?

На мгновение румянец гнева вспыхнул на его смуглом лице, но тут же он рассмеялся, как добрый честный солдат, каким он и был под

царственной одеждой, и протянул мне руку:

— Клянусь Мардуком, ты попал в цель, ибо владыка Ашшура должен быть непревзойденным в своей армии! Ты уедешь завтра, а я провожу тебя как принца.

И вот в час, когда самая высокая терраса храма Бэла сияла белизной в первых лучах солнца, мы с Гудрун оседлали лошадей у западных ворот города во главе вереницы из десятка верблюдов, груженных подарками Тиглата, и двухсот всадников охраны, которых царь отправил сопровождать нас через пустыню до Каркемиша, откуда мы должны были отправиться в Арпад и Хамат^[4], а оттуда через Кадеш и Дамаск в Тир.

В то же самое утро, три тысячи лет назад, Тиглат, облаченный в кольчугу Илмы и с моим мечом у бедра, выехал из северных ворот во главе авангарда могучего войска, чтобы вторгнуться в страну Наири. Несколько дней назад я прочел в большом музее Лондона цилиндрическую печать^[5], на которой Тигр-Владыка записал историю своего военного похода. Тогда я и понял, что Наири — это и есть Армен, мой первый дом и страна, которую любила Илма. Если бы я знал это в Ниневии, самая славная страница в истории Ашшура никогда не была бы написана.

Глава 8. С Гудрун в Салем

Скорее, как принц, чем как простой солдат удачи (кем, в сущности, я и был, если у фортуны когда-либо был свой наемник), я путешествовал сорок дней со своей свитой и своей милой спутницей по пустыням и горам, через города, чьи названия погребены вместе с руинами в ползучем песке, и через другие города, чьи седые стены все еще стоят, потрепанные веками, очень похожие на те, что стояли тогда.

Я пересек Евфрат у Каркемиша и двинулся на юг по раскаленным пескам Сирийской пустыни, через прекрасную долину, в которой среди пальмовых рощ и розовых садов, окруженных зелеными пастбищами и орошаемых петляющими ручьями, бьющими из недр земли, лежала Пальмира во всей ее древней славе и красоте, этот Тадмор^[6] пустыни, островок зелени в океане песка, от которого теперь остались лишь величественные одинокие обломки, среди которых странствующий араб разбивает шатер из верблюжьей шерсти и устраивает загон для животных в разрушенных покоех, где великий Соломон отдыхал от государственных забот и размышлял о тщете мира, который дал ему все, кроме покоя.

Из города Пальм мы отправились на юг в Дамаск, и там я услышал от финикийского купца, который только что прибыл из Гаввафы^[7], новости столь странные и озадачивающие, что они быстро придали определенную форму тем смутным планам, которые я составил, услышав рассказ Амрака о Гудрун. Купец посетил нас вечером того дня, когда я прибыл в город, чтобы показать моей госпоже какое-то любопытное золотое изделие, купленное им у торговца из Бозры^[8], который привез его по морю из далекой страны на Востоке, которую вы теперь называете Индией.

Тогдашние торговцы были точно такими же, как и во все другие времена — проницательными, практичными, напористыми людьми, всегда готовыми получить прибыль, а так как моя слава бежала впереди меня, и страх перед именем Ассирии заставлял людей смотреть с готовым благоговением на того, кого Великий царь называл другом, можете поверить, что, где бы я ни останавливался на этом торговом пути, сообразительные финикийцы никогда не медлили с

тем, чтобы оказать мне услугу и найти возможность облегчить мой кошелек с золотом Тиглата.

Я пригласил Гудрун, с которой к этому времени уже мог свободно разговаривать на ее родном языке, в комнату, где торговец разложил товар, чтобы она выбрала безделушки, которые ей понравятся. Но как только финикиец увидел ее лицо — а в те дни женщины закрывались только, когда путешествовали или гуляли по улицам городов — он вздрогнул и побледнел, а затем, низко поклонившись ей, сказал:

— Твой слуга не знал, что город Сладких вод почтен присутствием Царицы юга и подруги великого Соломона, иначе я вошел бы в дом моего господина с более подобающим почтением. Прошу вас, пусть мой господин и царица благосклонно взглянут на своего слугу и простят его самонадеянность по незнанию.

Он говорил на хеттском языке, и Гудрун его не поняла. Что касается меня, то я, пораженный его словами, сказал:

— Я прощу тебе это и даже большее, если ты попридержишь язык и быстро продашь свой товар. Потом я поговорю с тобой наедине.

— Воля моего господина — закон для его слуги! — ответил он, поднимаясь и снова кланяясь, на этот раз мне. Мы приступили к делу, и когда Гудрун ушла с украшениями в свои покои, я спросил финикийца:

— А теперь скажи мне, что это за разговоры о царице юга и подруге великого Соломона? Я слышал о Соломоне, но госпожа, которую ты называешь царицей, насколько мне известно, никогда не носила короны и происходит не с юга, а с севера.

— Слова моего господина полны чудес, ведь они не могут не быть правдой, и все же, поскольку тринадцать богов будут судить меня, я скажу моему господину, что в Иерусалиме, откуда я приехал прямо через Суккот^[9] и Гаввафу^[10], всего двенадцать дней назад я видел Царицу юга, сидящую перед тронем Соломона и внимающую мудрость, которая слетала с его уст, и если боги не сотворили двух прекраснейших женщин на свете по одному и тому же образу, то Царица юга — это госпожа моего господина и никто другая.

Что же мне было думать об этом, зная то, что знал я? Финикийские купцы в те времена были разносчиками новостей всего мира, к тому же они были простым, практичным и здравомыслящим народом и, хотя они могли лгать в своем ремесле, как сыновья

Шайтана, каковыми они и были, все же ради собственного блага и чести их новости всегда заслуживали доверия, за исключением тех случаев, когда это касалось торговли. Более того, удивление и непритворное благоговение этого человека не лгали, даже если солгал его язык. И все же, разве Гудрун не путешествовала со мной сорок дней из Ниневи, хотя он взял своих богов в свидетели, что видел ее в Иерусалиме всего двенадцать дней назад?

Объяснение этой загадки могло быть только одно. Эта Царица юга, кем бы она ни была, должна была иметь удивительное сходство с Гудрун, следовательно, и с той, чью душу я все еще тщетно искал в прозрачных глубинах глаз Гудрун. Но если история ее происхождения не была враньем, было почти невозможно, чтобы между этой Царицей юга и девушкой, которую тирские пираты вырвали из ее дома на далеком и неизвестном севере, было такое сходство.

От самой Гудрун я ничего не узнал ни о ее доме, ни о ее прошлой жизни, потому что на мои первые вопросы о них она ответила такой нежной и искренней мольбой не спрашивать ее больше, пока она сама не расскажет, что я удивился и согласился, потому что, как мог я отказать просьбе, которая исходила из уст, когда-то принадлежавших Илме?

Я не видел иного выхода из лабиринта недоумения, который открыли передо мной слова финикийца, кроме путешествия в Иерусалим вместо Тира. И если я не найду эту южную царицу все еще при дворе Соломона, то я последую за ней в ее страну, даже если она находится на краю земли, и поставлю два подобия Илмы лицом к лицу и посмотрю, смогут ли они решить загадку.

Поэтому я собрал всю информацию, которую мог дать финикиец. Среди прочего, к моему большому удовлетворению, он сообщил, что Царица юга, по всем сведениям, останется при дворе Соломона еще надолго. И когда он рассказал все, я обязал его хранить молчание, сначала пригоршней золота, а затем угрозой, что если он нарушит обещание, то об этом узнает Тигр-Владыка, и все города Ассирии будут закрыты для него, как лжеца и мошенника.

Я решил выехать в Иерусалим на рассвете следующего дня и позаботился о том, чтобы ни мужчина, ни женщина не видели лица Гудрун до тех пор, пока я не поставлю ее лицом к лицу с царицей. Хотя она не знала причин для такой предосторожности, она выполнила

эту мою просьбу, как и все остальные (за исключением вопроса о ее прошлом) с милой и любезной покорностью, которая все сильнее сближала меня с ней с каждым днем нашего совместного путешествия.

Поначалу у нее прорывались приступы гнева или тихих рыданий, потому что в ней жила гордая душа, которая возмущалась и бунтовала против великого зла, причиненного ей тирскими пиратами. Но дни шли один за другим, и она видела, что, хотя я купил ее в Ниневии, словно какую-нибудь невольницу на рынке, я не собирался делать из нее ни рабыню, ни наложницу. Она слышала, что я никогда не говорил с ней иначе, как с добротой и почтением, и что я не смел даже прикоснуться к ней, кроме как для того, чтобы посадить ее в седло или помочь ей сойти с лошади или носилок. Ее дикий, испуганный взгляд исчез, хмурые брови расправились, и вернулась улыбка, правда, даже когда мы познакомились поближе, она все еще смотрела на меня с недоумением, которое, возможно, не было полностью свободно от страха. Тем не менее, она доверяла мне и следовала за мной без вопросов, хотя, когда она спросила меня, чем закончится наше путешествие, я был рад признаться, что знаю не больше ее.

Мы ехали на юго-запад через Гаввафу в Сеннабрис^[11] на озере, которое теперь называется Генисаретским, а оттуда вдоль западного берега Иордана через Суккот и Иерихон, где пересекли холмистую местность Иудеи и двинулись на запад к Иерусалиму. Мы достигли вершины гряды холмов, где дорога из Вифании спускается вниз и петляет к северу от города, как раз когда солнце приблизилось к вершинам западных холмов, и хотя я видел много городов во многих странах и веках, нет для меня более прекрасного зрелища, чем раскинувшийся на холмах Салем во всей своей славе, когда закатные лучи сияют на невыразимом великолепии недавно законченного Храма, сверкающего снежным мрамором, желтым золотом и красной бронзой; на царском доме, едва ли менее великолепном в своей свежей красоте; на массивных стенах и куполообразных домах, окруженных темно-зелеными деревьями, и на той темной, увенчанной оливами горе по другую сторону долины, которая однажды стала свидетелем первой из завершающих сцен той трагедии, вину за которую сыны Израилевы обрушили на свои головы и наказанием за которую стало проклятие бездомности, которое никогда не снималось с них с того дня и по сей день.

Но в те дни, о чем мне нет нужды вам рассказывать, Салем был самым ярким, веселым и оживленным из городов Сирии, и когда мы вошли в него, то увидели улицы и площади, полные радостных людей в самых разных праздничных нарядах и настоящую мешанину языков.

Были финикийские моряки из Тира и Сидона, купцы, которые прошли сотни километров дорогами пустыни на восток, север и юг, чтобы увидеть славу и богатство Мудрого царя. Землистый, худощавый, толстогубый египтянин разговаривал со смуглым, кротким евреем, в то время как подвижный, ловкий на язык хетт болтал с серьезным и суровым ассирийцем, высокомерно сознающим себя слугой Великого царя, свирепого Тигра-Владыки, который может когда-нибудь наложить свою страшную руку на все это богатство и величие, и забрать его себе.

Гигантские сыновья Анака из пустыни, пришедшие торговаться с Соломоном за безопасный проход его караванов в Яффу и Эцион-Гебер, со смесью удивления и презрения смотрели на богатство и великолепие, которые могли бы стать такой славной добычей. Чернокожие сияющие негры из Нубии и Эфиопии пришли со своими египетскими хозяевами и, как могли, братались со светловолосыми белокожими рабами из неведомых северных стран, куда в те дни не плавал никто, кроме финикийцев. Высокие смуглые люди с мягкими черными бородами, пронзительными глазами и надменными чертами лица двигались с видом чужеземцев, но везде встречали их с радушием и почтением, так как это были слуги самого почетного гостя Соломона, той таинственной Царицы юга, чей двойник ехал рядом со мной по улице, которую евреи в своей вполне оправданной гордости называли Красивой.

Что касается нас самих, можете быть уверены, что мы не прошли незамеченными по улицам, переполненным бездельниками и зеваками. Действительно, из всех веселых и необычных зрелищ, которые Салем видел в эти долгие дни веселья^[12], не было более удивительного, и лишь немногие зрелища были такими же яркими, как наш въезд в город. Во главе пятидесяти всадников пустыни, которых я нанял, когда ассирийцы покинули меня в Каркемише, и длинной вереницы верблюдов, несущих дары Тигра-Владыки, я ехал на большом черном скакуне, которого после долгих поисков я купил за сходство с Тигролом, моим конем двухтысячелетней давности. Мой наряд

поражал сверканием золота, стали и драгоценных камней, белым страусовым плюмажем, кивающим с моего шлема, тирским алым плащом, свисающим с моих плеч на спину коня, и длинными золотыми локонами, тоже струящимися на коня из-под моего шлема. А рядом на молочно-белой арабской кобыле восседала закутанная в покрывало Гудрун, разряженная во все великолепие золота и драгоценных камней, тонкого полотна и ярких крашенных тканей, которые женщины любили три тысячи лет назад так же горячо, как и сегодня.

Толпа почтительно расступилась перед нами, потому что уже разнесся слух, что я — принц и воин Ассирии и прибыл с дарами и приветствиями от Тигра-Владыки Ашшура к царю, который был так же силен в мудрости, как и на войне, и когда я ехал под огнем их любопытных взглядов, я думал о том, как быстро их любопытство сменится изумлением, если покрывало на мгновение упадет с лица Гудрун, а затем о том, что произойдет, когда придет время приказать ей снять его в присутствии Соломона и таинственной Царицы юга.

Все постоянные дворы и караван-сарай в городе и вокруг были заполнены, но золото в те дни имело такую же силу, какую получило с тех пор, как люди совершили первую куплю-продажу, и так как было хорошо известно, что тот, кто путешествует так, как я, будет легко тратить деньги, вскоре финикиец, которого я нанял в Дамаске в качестве, как вы бы теперь сказали, «агента», привел ко мне еврея, который после долгих приветствий и любезностей попросил чести предоставить его дом и все, что в нем находилось, в мое распоряжение, конечно, не даром, можете быть уверены.

Так как цель моей поездки была важна, и так как прежде всего я решил, что надо надлежащим образом устроить Гудрун, я позволил финикийцу сначала привести еврея к чему-то похожему на разум — и это был уникальный торг, скажу я вам, — а затем уплатил половину суммы как честную цену и вступил во владение домом. Разместив в безопасности самое ценное из моих богатств, я послал своих людей разбить лагерь за ручьем Кедрон на Елеонской горе, среди других слуг знатных и богатых людей, посещавших город.

Мой домовладелец отослал свою семью в дом брата, а сам остался исполнять обязанности мажордома, и так как он был полон до краев всеми новостями и сплетнями города, то не успел я стать хозяином его

дома, как он поведал мне все, что стоило знать о великих деяниях, последовавших за освящением Храма. Конечно, я подробно расспросил его о Царице юга и узнал, что так называли царицу Савскую, правительницу сабеев — народа, населявшего страну под названием Благословенная Аравия, которая была расположена в Южной Аравии, граничила с Красным морем, и часть которой теперь известна как провинция Йемен.

Еще он сообщил, что это самая красивая женщина, которую когда-либо видели в Салеме и даже в мире, и что сама Нитетис, дочь фараона и жена Соломона, несмотря на свою красоту, выглядит рядом с ней невзрачной, как деревенская девка. Весь Иерусалим — нет, сказал он, вся Иудея — сошла с ума от ее красоты, и, пока он рассказывал об этом, я едва мог сдерживать улыбку, думая о том, какое великое чудо свершится, если то, что рассказал финикийский купец в Дамаске о Гудрун, окажется правдой.

Здесь, поистине, была загадка, которую проницательность самого Мудрого царя могла бы не разгадать. Однако рядом была более глубокая загадка жизни и смерти, которую я мог бы загадать ему, если бы только захотел — а этого, можете быть уверены, я не собирался делать, потому что у меня не было желания, чтобы все языки, которые были тогда в Салеме, болтали о тайне моей судьбы.

Но тайне, окутавшей Гудрун, суждено было быть недолгой, так как едва я на следующее утро поднялся, как она сама пришла ко мне и попросила отослать еврея, который был со мной, чтобы она могла поговорить со мной наедине. Когда он ушел, она сняла вуаль и, к моему изумлению, упала передо мной на колени, взяла меня за руку обеими руками, подняла на меня тревожные, умоляющие глаза и сказала дрожащим от волнения голосом:

— Мой господин был очень добр ко мне. Он спас меня от судьбы, в которой я предпочла бы убить себя, чем терпеть. Хотя он купил меня, как рабыню на базаре, он обращался со мной с честью и добротой и исполнял все желания моего сердца, о которых я говорила. Пусть теперь он исполнит мою просьбу, и я буду его служанкой до самой смерти!

Я взял ее за руки, поднял с колен и ответил:

— Я не хозяин твой, Гудрун, и если бы ты могла видеть себя так, как вижу тебя я, ты бы поняла то, чего я не могу тебе объяснить. И не

подобает тебе преклоняться передо мной, тебе, которую боги сотворили так, что скорее я должен преклонять перед тобой колена. А теперь, обращай ко мне по имени и выскажи свою просьбу, как будто я не только твой друг, но и твой брат, и, если я могу исполнить эту просьбу, тебе не придется просить дважды.

— Благодарю тебя, Терай. Как странно звучит твое имя в моих устах, и все же кажется, что они произносят его не в первый раз! Где же это было? В моих снах или в каком-то другом мире, о котором учат наши учителя, обращаясь к солнцу, в моем сабейском доме?

— Что? — воскликнул я, хватая ее за руки и притягивая к себе — и, о боги, я мог бы поклясться, что в этот миг в ее испуганных глазах сиял огонек души Илмы. — Что ты говоришь? Твой сабейский дом? Значит, ты из той же страны, что и эта Царица юга, которая гостит у Соломона здесь в Салеме, и история, рассказанная тирийцами о тебе, — ложь?

Она опустила веки, и свет погас. Она задрожала в моих объятиях, ее грудь поднялась и опустилась, словно от резкого сдавленного всхлипа. Она снова подняла на меня глаза:

— Да, это была ложь — ложь, за которую им хорошо заплатили. Им заплатила та, что отняла у меня мою долю отцовского трона, чтобы править одной и быть самой прекрасной женщиной в стране. Отпусти мои руки, прошу тебя, мне больно. Я расскажу тебе в нескольких словах о судьбе, которая постигла меня, и тогда ты услышишь мою просьбу.

Я отпустил ее, покраснев от стыда за то, что забыл о своей силе и ее хрупкости, а потом подвел ее к кушетке, усадил рядом и попросил говорить дальше. Минуту-другую она молчала, опустив глаза, словно гадая, с чего начать, бросила на меня быстрый застенчивый взгляд, снова опустила веки и рассказала свою историю.

— Эта Царица юга — моя сестра-близнец и наследница трона Сабеи. Ее зовут Балкис, а меня — не Гудрун, как назвали те тирские варвары, а Цилла, и боги сделали нас настолько похожими, что, если бы Балкис стояла сейчас рядом, одетая как я, даже ты не смог бы сказать, кто из нас царица, а кто твоя купленная рабыня.

— Если ты так думаешь, — улыбнулся я и нежно взял ее руку своей, — тогда твоя просьба будет напрасной. А теперь продолжай, потому что мне не терпится услышать, что было дальше.

Она улыбнулась и снова взглянула на меня, на этот раз чуть дольше, и продолжила:

— Мой отец-царь оставил нам свой трон как общее наследство, полагая, что мы будем жить и царствовать вместе в любви и согласии. Но едва началось наше правление, как Иблис вошел в душу Балкис и внушил ей, что, если бы не я, она была бы, как говорили люди, прекраснейшей женщиной в мире и единственной царицей Савской. И вот, боясь, может быть, мести богов, если она убьет меня своими руками, однажды ночью она дала мне зелье, и когда я проснулась, я уже была далеко в море на тирской галере.

В ответ на мои просьбы и слезы капитан рассказал, что царица, как он ее назвал, решила править одна и поручила ему за талант серебра вывезти меня в море, связать в мешок и утопить. Но он был слишком хорошим финикийцем. Он получил и меня, и талант серебра, и похвастал, что если он хоть что-нибудь понимает в ценности женской красоты на рынке Тира, то выручит не меньше таланта золота, прежде чем покончит со мной.

Итак, меня отвезли вверх по Красному морю и через канал Рамзеса в Великое море, и доставили в Тир, где изменили мое имя на то варварское, которым ты научился называть меня, и сочинили ту лживую легенду, которую повторил тебе жрец Амрак. Но в Тире боги сжалились надо мной, потому что, прежде чем меня выставили на невольничьем рынке, обо мне сообщили царю Хираму, и тот приказал привести меня и выкупил меня у моих похитителей за талант золота, как они и просили.

Когда я поняла свою судьбу, я замолчала от стыда и позволила легенде обо мне сойти за правду. Хирам держал меня в своем дворце, чтобы я могла отдохнуть от усталости и страданий моего путешествия, пока караван не отправится в Ниневию. Потом, как ты знаешь, он послал меня в подарок царю Ассирии. Я едва предстала перед ним в то самое утро, когда ты убил стражников в тронном зале, и я понравилась ему, и он велел мне сесть у его ног. А потом пришел ты, и об остальном нет нужды тебе рассказывать.

— Это удивительная история, Цилла, хотя и рассказанная так просто. Итак, ты сама царица по праву. Разве я не говорил тебе, что я не твой господин и достоин только преклонить перед тобой колени? А

теперь пусть моя госпожа обратится с просьбой, чтобы ее слуга мог выполнить ее.

Она уловила тон моего подшучивания и рассмеялась в ответ, а так как в моих жилах течет кровь, а не вода, думаю, что в следующее мгновение я бы забылся, обнял ее и рассказал ей всю чудесную историю Илмы и другой моей жизни, если бы она не соскользнула мягко и быстро на колени и, положив сложенные руки на мои, не взглянула на меня так очаровательно, что я в одно мгновение чуть не сошел с ума от любви и желания:

— Ты хозяин моей жизни и... и владыка моей души, и я прошу тебя увезти меня отсюда, не важно куда, потому что я лучше буду служить тебе в шатре из козьей шерсти в пустыне, чем вернуться, даже если бы это было возможно, чтобы царствовать с Балкис в Сабее. И за все богатство Соломона я не захотела бы, чтобы она узнала, что я здесь, в Салеме, потому что она найдет способ убить меня, а я не хочу умирать, потому что жизнь, которую мой господин вернул мне, стала мне очень дорога. Пусть Балкис сидит на нашем троне и владеет царством моего отца, ведь я поняла, что у богов есть лучшие дары, чем власть и богатство. А теперь, мой господин, скажи мне, что просьба твоей рабыни не будет напрасной.

Глухой глупец, я не услышал в этом нежном умоляющем голосе моей Илмы, предлагавшей мне царство и величие, о подобии которых в этот самый час тщетно мечтал славный Соломон. Она предлагала царство, более широкое, чем сам Ашшур, и прекрасное, как луга асфоделей, сияющих светом рая. Я так гордился яркими неожиданными победами моей первой жизни на земле, я был слишком очарован блеском богатства, увиденного в Ниневии, Тадморе и Дамаске, и ослеплен мечтами о собственной империи, и о славе, добытой на войне тем, кто мог сделать своих солдат неуязвимыми, а их оружие неотразимым.

Цилла поднялась и встала передо мной, опустив голову и скрестив молочно-белые руки на мягко вздымающейся груди, в которой уже много дней незримо горело священное пламя любви — прекрасное видение чистоты и целомудрия, увиденное влюбленными и страстными глазами.

Увы! Если бы я любил так, как любила она — нет, если я хотя бы понимал, как бесценно сокровище, которое я держал в своих руках —

я бы в одно мгновение усвоил этот долгий урок, и, возможно, эта книга никогда не была бы написана; но в те дни любовь женщины была для меня лишь украшением в короне империи.

Я не знал тогда и не узнал еще в течение многих долгих и трудных лет, что любовь невозможно ни покрыть золотом, ни украсить славой, так же, как мишура не может сделать звезды ярче, а карминовая краска сделать розу красивее. Я вскочил на ноги, кровь моя запылала, глаза загорелись, я прижал ее, не сопротивлявшуюся, к своей груди. Когда она в изумлении подняла глаза, я наклонился, поцеловал ее в губы и воскликнул:

— Нет, клянусь сверкающим мечом Армена, ради твоего же блага, я не выполню твою просьбу! Вместо этого я дам тебе справедливость и верну твое наследство, и в этот самый день твоя гордая сестра признает твои права перед судом Соломона, или, клянусь священной сталью, в Сабее будет только одна царица и она будет править со мной! Что? Разве ты не помнишь, милая, как две тысячи лет назад во времена могучего Нимрода мы шли бок о бок к победе через разбитые легионы Ашшура? Разве ты не видела, как он пал под моим копьем, и можешь ли ты сомневаться, что я смогу вернуть твой трон и защитить его и тебя от всех тиранов земли?

Она выскользнула из моих объятий, отскочила на шаг и, прижав руки к вискам, уставилась на меня дикими, испуганными глазами, приоткрыв рот. Какое-то мгновение она задыхалась, а потом воскликнула:

— Мой господин Терай, что за странные и страшные слова ты произнес? Две тысячи лет назад? Кто ты и кто я? Да, конечно, я помню — и все же нет! это может быть только сном, ибо такого не может быть! Я никогда не видела тебя до того дня в тронном зале Тиглата. Армен? Нимрод? Нет, эта загадка слишком трудна для меня, и я не хочу никакого трона, кроме места у твоих ног. Кто я, как не рабыня моего господина? Пусть со мной будет так, как этого хочет мой господин!

С этими словами, ошеломленная и испуганная, она вернулась в мои объятия и стояла, дрожа, а ее вновь пробудившееся сердце трепетало у моей кольчуги.

Глава 9. Перед троном Соломона

В этот момент кто-то хлопнул в ладоши за занавесом, закрывавшим вход в комнату. Я раскрыл объятия, проклиная несвоевременного гостя, а Цилла отскочила от меня и вновь накинула вуаль. Я крикнул: «Войдите!» — и домовладелец Бен-Хамад с поклонами и извинениями за то, что нарушил покой моей светлости, сообщил, что один из царских вестников ждет меня во дворе, желая передать послание.

Я велел Бен-Хамаду привести его. Расскажу об этом кратко, так как вопрос был пустяковым. Вестник принес послание от царя, который думал, что я прибыл как посол Тигра-Владыки, и поэтому приглашал меня на аудиенцию в Зал суда Дома ливанского леса. Я быстро устранил недоразумение в отношении меня, но, решив не упускать случая, отослал вестника с подарком, так как в те дни (как и в наши) никто ничего не получал даром, и велел просить для меня аудиенции, так как у меня было очень загадочное дело, в котором я искал света мудрости Соломона.

Не прошло и часа, как он вернулся с другим посланием, в котором меня самым учтивым образом приглашали к царю. Тем временем я вызвал свою стражу из двадцати человек, все хорошо вооруженные и верховые. Наши с Циллой лошади стояли наготове во дворе. По моей просьбе, Цилла нарядилась в самые богатые одежды и надела самые дорогие украшения из золота и драгоценных камней, которые я щедро купил ей, и, когда мы ехали во дворец, на улицах Салема не было более великолепных фигур, чем мы двое.

Царский дворец располагался за городом, на холме к западу напротив горы Сион, на которой стоял меньший по размеру дворец его отца Давида. Широкая, прямая, пологая дорога вела из долины к крыльцу, и, когда мы достигли подножия склона, послышался рев серебряных труб и крик, который бежал по толпе, выстроившейся вдоль дороги:

— Царь, царь! Дорогу царю!

Я оглянулся и увидел отряд царской гвардии, скачущий галопом по дороге, ведущей от загородного дворца Эдма. Я скомандовал своей

охране, мои люди выстроились на повороте дороги, по десять человек с каждой стороны от нас с Циллой, и вскоре мимо проехал царский поезд. Первыми скакали две сотни вооруженных всадников, одетых в тирский пурпур, бронзу и золото, с густо посыпанными золотой пылью длинными развевающимися волосами, блестящими на солнце.

Следом проехали два небольших отряда охраны, а за ними — две колесницы в ряд. Ближайшая ко мне была из резного полированного кедра, с золотым полом и пурпурным балдахином на серебряных столбах, запряженная тремя молочно-белыми лошадьми чистой арабской породы. В ней восседал Соломон в роскошном одеянии, увенчанный золотой тиарой, на которой торчали три коротких золотых рога. Рядом в украшенной золотом колеснице из слоновой кости, запряженной тремя яркими гнедыми, также под пурпурным балдахином на сиденье из слоновой кости, обтянутом пурпуром, возлежала сама копия той, что сидела, скрытая вуалью и дрожащая, на лошади рядом со мной.

С моих уст сорвался крик, который, к счастью, затерялся в радостных криках толпы, и когда Соломон и Царица юга проезжали мимо, я выхватил огромный меч и отсалютовал им, как мы обычно делали в Армене. Солнце сверкнуло на белом сверкающем клинке, так что он стал похож на столб света в моей руке, и царь с царицей вздрогнули, когда непривычная вспышка попала им в глаза. Оба подняли головы, царица, прикрыв глаза рукой, с любопытством взглянула на меня и на женщину в вуали рядом со мной, и через мгновение процессия уже взлетела на холм.

Мы двинулись за ними более медленным шагом и спешили у крыльца, дожидаясь очереди. Моя взятка сослужила свою службу, так как глашатаи первым выкрикнули мое имя, и, взяв Циллу за холодную, дрожащую руку, я провел ее через крыльцо в огромный вытянутый зал приемов. На полу была полированная мозаика, сияющая сотнями оттенков цвета, стены из безупречного мрамора, крышу из резного полированного кедра поддерживали кедровые колонны, покрытые золотом и увенчанные капителями из чистого золота, изображавшими гранаты.

В конце зала, в окружении блистательного двора и посланников из половины царств мира восседал Соломон на знаменитом троне из слоновой кости и золота с двумя огромными медными львами по

бокам. К трону вели шесть ступеней из кедра, покрытого серебром, и на концах каждой ступени стояли еще два медных льва. В кресле из слоновой кости, стоявшем рядом с тронном, сидела сияющая красотой и поражающая совершенным сходством с Циллой Царица юга, которая, как известно, пролетела по сцене истории как безымянная тень посреди славы Соломона.

Нас подвели к подножию трона, мы приветствовали друг друга, и когда я снова поднял голову и посмотрел на Соломона, то увидел перед собой человека с довольно длинными руками, хотя и несколько худощавого телосложения, возлежавшего на троне с вялым, почти равнодушным выражением лица, и слегка нездорового вида из-за раннего часа.

Но, за исключением двух других, его лицо было самым красивым из всех, что я когда-либо видел. Одним из двух других был тот, кто много веков спустя смотрел на меня с креста на холме, примерно в двух сотнях метров от того места, где сейчас стоял я, а второго я видел на трибуне проповедника в храме Мекки.

Бледная, чистая, смуглая кожа, черты лица четкие и тонкие, гладкий лоб, скорее высокий, чем широкий, и глубокие мягкие темные глаза, полные невыразимой усталости — отражение души мудреца, который, подумав обо всем, что может вместить ум человека, и вкусив все, что может дать ему богатство земли, сказал в качестве последнего слова, что все это суэта; длинная, черная, шелковистая борода и усы, под которыми пара почти женских губ улыбалась ласково и вместе с тем печально. Таким я запомнил мудреца Соломона.

Слабая вспышка любопытства мелькнула в его глазах, когда он посмотрел вниз на нас — на меня, одетого в удивительную белую кольчугу, со стальным с золотом шлемом, возвышавшимся на добрую пядь над самым высоким из его стражников, и на Циллу, единственную женщину под вуалью в зале, стоявшую рядом со мной, сверкающую золотом и драгоценными камнями и все же скрывающую свое самое большое украшение, так как по моему совету она на время спрятала свои великолепные золотисто-рыжие волосы под льняным чепцом.

Что до царицы, то она сидела на троне прямо, сжимая руками подлокотники из слоновой кости, в той же позе, в какой я увидел Илму в тот памятный день в зале цитадели Армена, и пристально смотрела

на меня широко открытыми глазами из-под высокого белого лба, который был нахмурен, как будто чудесная загадка нашего присутствия поражала и ее своей неземной тайной. Но вскоре царь заговорил со мной по-ассирийски самым ласковым голосом, который я до сих пор слышал, если не считать женских уст:

— Добро пожаловать ко двору Великого царя! Ваня сказал, что ты желаешь видеть меня и выслушать мое суждение о деле, которое оказалось слишком трудным для твоего понимания. Также я приветствую твою спутницу. Она, по-видимому, из далекой страны, о которой я не слышал и в которой, несомненно, принято, чтобы дамы появлялись перед царями в вуали. Говори же, и если моя бедная мудрость, о которой доброжелательные придворные отзываются слишком высоко, сможет помочь тебе, то она к твоим услугам.

— О, царь, живи вечно! — воскликнул я, снова отдавая ему честь и используя форму приветствия, которая тогда была обычной в подобных случаях и которая, хотя он этого и не знал, имела такой горький смысл в моих устах. — Вопрос, относительно которого я хотел бы услышать голос твоей мудрости, состоит в следующем:

Иштар из Арбелы, богиня любви и красоты, послала на землю свой образ в смертном облике, и женщина, которую она сотворила, была прекраснее всех дочерей человеческих. Увидев ее, отец зла Иблис, завидуя искусству богини и опасаясь, как бы сердца людей не отвернулись от него при виде такой необыкновенной красоты и совершенной чистоты, сделал другую женщину, настолько похожую на дочь Иштар, что луна и ее отражение в спокойном озере в полночь не более похожи, чем эти две женщины.

И в это ее прекрасное тело он вложил частицу своей гнусной сущности, чтобы добро в одной было уничтожено злом в другой, и люди по-прежнему говорили бы, что зло может обитать в таком же прекрасном облике, как и добро. Теперь я хотел бы спросить моего господина царя, как тот, кто окажется по какой-то удивительной случайности в присутствии этих двух женщин, должен решить, кто из них зло, а кто добро?

Когда я закончил, наступила короткая тишина. Я посмотрел на царицу. Она сидела все так же недвижимо и прямо и смотрела на Циллу такими горящими глазами, что казалось, она вот-вот сдернет вуаль, скрывавшую лицо моей спутницы. Царь же улыбнулся и,

махнув в сторону Циллы рукой, на которой сияло таинственное кольцо, открывавшее ему, как говорили, все тайны, проговорил ровным мягким голосом:

— Никогда еще не было (и не будет) загадки, в которой женщина не была бы в какой-то мере или тайной, или ответом. В форме притчи ты рассказал историю той, что стоит рядом с тобой, и какой-то другой женщины, но ты рассказал не все, и я не буду пытаться ответить на твой вопрос, пока не узнаю больше. Продолжай и расскажи мне, кем и чем были эти две смертные женщины.

— Те, кто говорил о мудрости царя, были правы. Теперь я скажу больше, если уши царя открыты, — ответил я, на этот раз на том магическом языке, на котором я произнес первые слова на свете.

Веки Соломона резко поднялись, и легкий румянец залил его щеки, когда он ответил на том же языке.

— Уши царя и жреца Салема и помазанника божия всегда должны быть открыты для слов, произносимых на священном языке! Еще раз прошу, продолжай, ибо теперь я знаю, что ты хочешь сообщить нечто важное.

Как можно короче я рассказал историю Циллы и Балкис, а также рассказал о себе в той мере, в какой это касалось Циллы. Когда я закончил, он заметил, не глядя ни на одну из них:

— Ты был бы мудрее, если бы последовал совету своей Циллы и сбежал с ней в пустыню. Но сердце твое горячо, и кровь твоя молода, и ты еще не познал тщеты земной роскоши и богатства. Ты пойдешь навстречу опасностям, чтобы полуправить с ней на небольшом клочке земли, когда она готова была дать тебе империю более обширную, чем весь мир. Ты сделал свой выбор, и мои слова не убедят тебя изменить его.

Царица юга, которая сидит рядом со мной, не понимает ассирийской речи, и поэтому смысл твоей притчи не дошел до нее. Поэтому я снова расскажу твою историю на еврейском языке, чтобы она и все могли понять, потому что ее язык и наш очень похожи.

Но я скажу только, что ее сестра-царица была похищена и увезена пиратами с аравийского берега и продана в рабство в Тире, как ты и сказал. Потом пусть царица Цилла откроет лицо — и тогда мне не нужно будет говорить тебе, истинна ли твоя притча и каков ответ на твой вопрос.

Итак, он пересказал эту историю, и пока он говорил, я наблюдал за лицом Балкис, и, хотя она храбро и умело старалась скрыть бурю страсти и гнева, бушевавшую в ней, я видел (вы можете сами догадаться, с каким ужасом) ярость, ненависть и разочарованное зло, сверкающие в глазах, которые были бы глазами Илмы, если бы они не были также глазами Циллы, и оттенок стыда, поднимающийся к светлomu челу, которое, казалось, было создано быть самым престолом чистоты.

Наконец, царь закончил, и по моему слову Цилла подняла дрожащие руки к голове, и в следующее мгновение вуаль и чепец упали на землю, и она предстала во всей красе перед единственной женщиной на свете, которая была так же прекрасна, как она.

Несмотря на правила поведения в присутствии царя, по огромной великолепной толпе, стоявшей вокруг трона, пробежал тихий ропот изумления, а придворные, солдаты и послы дружно устремились вперед, чтобы увидеть двойное чудо, воплотившееся перед ними в человеческом облике.

— Клянусь славой господней, такого чуда еще не видел ни один человек! — воскликнул Соломон, привстав с трона и на мгновение совершенно стряхнув с себя мирскую усталость.

Но ему и всем нам суждено было увидеть в следующее мгновение чудо еще большее, чем это, ибо, когда Балкис встала, держась руками сзади за подлокотники трона, слегка раскачиваясь из стороны в сторону и стараясь заставить свои застывшие бледные уста произнести какие-то слова, которые не выдали бы ее ненависти и ее греха, Цилла оставила меня и, поднявшись на три ступени трона, упала на колени перед женщиной, которая послала ее на смерть и продала в рабство, и, протянув к ней руки, сказала на родном языке:

— Балкис, забудешь ли ты, как я простила, и да будет мир между нами?

Я никогда раньше не видел, чтобы кому-нибудь прощали обиду, и очень сомневаюсь, что кто-нибудь в этом зале тоже видел подобное, потому что в те дни единственным воплощением справедливости была месть. Я, слепец, видел только, что Цилла просила мира ради меня, но Мудрец понял больше, чем кто-либо из нас, потому что, когда Балкис наклонилась, чтобы поднять сестру, и поцеловала ее в лоб сладкими, лживыми губами, Соломон повернулся ко мне, давно непривычные

слезы стояли в его уставших от мира глазах, и сказал голосом, дрожащим от воодушевления:

— Друг! Ты показал сегодня два чуда мне, человеку, который думал, что ему больше никогда не придется взглянуть на что-либо земное с интересом, и второе чудо из них — большее, ибо в последующие дни слава господня явится в таком обличье, и в нем ты, как я и сказал, найдешь ответ на свой вопрос.

Глава 10. Любовь, что смертельнее ненависти

Соломон вызвал двух провожатых и велел отвести меня с двумя живыми подобиями моей потерянной и, как я полагал, вновь обретенной Илмы из Зала суда в приватные покои дворца, потому что видел, что наша драма достигла такой стадии, на которой уже было нежелательно выставлять ее на обозрение публики. Итак, мы прошли от подножия трона через расступившуюся толпу изумленных и восхищенных стражников и придворных, через дворы и коридоры, пока наконец нас не ввели в одну из личных комнат царя и не оставили там одних.

Балкис не проронила по дороге ни слова, но как только нас оставили наедине, разразилась потоком горячих слез и, бросившись к ногам Циллы, стала молить ее о прощении за свое противоестественное преступление, которое, как она снова и снова клялась, она совершила под непосредственным управлением самого Иблиса.

Но она не успела зайти далеко со своими заклинаниями и уверениями, потому что Цилла, чьи добрые глаза наполнились куда более чистыми слезами, подняла и поцеловала ее, поклявшись, что никогда не позволяла себе поверить в то, что ее сестра могла совершить такую подлость в здравом уме, и что она всегда была уверена, что вина за это лежит не на ней, что все это — работа Иблиса.

Прежде чем улыбнуться такому прощению или усомниться в его истинности, вспомните, что это были времена, когда религия, ошибочная или нет, была реальна, и что вера в демонов была не менее сильна, чем вера в богов. Я, никогда не придерживавшийся ничего, кроме простой веры Армена, не знавшего зла, за исключением тех земных сил, победить которые можно силой меча, прочел в заверениях Балкис иной смысл. Но Цилла искренне простила ее по доброте своего сердца и глубине веры.

Их лица все еще были мокры от слез, когда она подвела сестру ко мне и велела взять ее за руку и соединить мое прощение с ее прощением. Я некоторое время молча переводил взгляд с одной на

другую, потому что чем ближе я смотрел на них, тем лучше видел, как поразительно они были похожи. Заметив мое изумление, Цилла рассмеялась сквозь слезы, взяла мою руку и вложила в нее руку Балкис со словами:

— Воистину, мой господин должен хорошо относиться к нам обеим, ведь он не может отличить, кто из нас Балкис, а кто Цилла, и как я простила, так и он простит.

— Нет, Цилла, — возразил я, — твое прощение не оставляет мне ничего, что я мог бы простить. Кто я такой, чтобы злиться на зло, которое смыли все эти слезы любви? Как твои враги были бы моими врагами, так и твоя сестра, теперь, когда ты снова нашла ее, будет моей.

— Из того, что сказал мой господин, — вмешалась Балкис тоже улыбаясь, и улыбка Циллы была так точно подделана, что я тут же снова заблудился в лабиринте чудес, — похоже, скоро у нас в Сабее будут не две царицы, а царь, и боги справедливо накажут меня за мою вину. Ведь ты же знаешь, Цилла, что, согласно завещанию нашего отца, наш общий трон должен быть отдан той, которая первой найдет мужа, достойного править вместо него. Теперь ты нашла такого человека, и боги привели тебя к нему через грех, который я совершила против тебя. Таким образом, я справедливо наказана, причем слишком легко, потому что мое раскаяние и твое прощение наполнили мое сердце такой радостью, что в твоём счастье я буду счастлива больше, чем заслужила.

Эта приятная речь была произнесена так ласково и любезно, что все сомнения моего неискушенного сердца растаяли в свете сопровождавших ее ярких взглядов, так как прежде я никогда не видел зла в женском обличье, а кроме того, я был слишком рад и сам хотел убедить себя, что зло не может существовать в том образе, который когда-то принадлежал Илме, а теперь Цилле. Что же касается Циллы, то она стояла рядом, вытирая слезы и краснея с каждым словом Балкис. Тогда Балкис взяла ее за руку и, в свою очередь, притянула сестру ко мне и, вложив правую руку Циллы в мою, сказала еще ласковее, чем прежде:

— Мои слова не нуждаются в лучшем подтверждении, чем твое красноречивое личико, Цилла. Теперь позволь мне совершить последнее искупление моей вины, которое я могу совершить, и пусть

это будет сделано в знак твоей помолвки и моего отказа от того, что по воле нашего отца больше не принадлежит мне.

— Так ли это, в самом деле? — спросил я, обнимая Циллу и притягивая ее к себе. — А ты ничего мне об этом не говорила!

— Да, это правда, — прошептала она. — Но как могли мои уста сказать это моему господину, когда между нами еще не было слов любви? Я даже сейчас не знаю...

— Нет, Цилла, — рассмеялся я. — Не пятнай свои прелестные уста ложью, какой бы невинной она ни была.

С этими словами я нагнулся и поцеловал ее, а когда снова поднял голову, Балкис уже исчезла.

После этого мы пробыли целую неделю во дворце Соломона в качестве его гостей. Наша помолвка была отпразднована пиршеством и весельем, которые заставили весь Салем восторгаться нашей удивительной историей и радоваться счастливому исходу несчастий Циллы. На седьмой день Соломон торжественно простился с нами на крыльце Дома ливанского леса, и мы отправились в путь красивой длинной кавалькадой по горной дороге, которая вела из Салема в порт Яффы, где флот царицы должен был принять нас на борт.

С холмов над Яффой я впервые увидел море — это славное поле зелени и лазури, этот чудесный, переменчивый мир спокойствия и бури, которому через много лет суждено было стать моим домом и моим полем битвы, и когда мои глаза распахнулись, чтобы вобрать великолепие этого зрелища, и грудь наполнилась глубоким глотком крепкого соленого воздуха, новый восторг наполнил мою душу — прелюдия к другим диким восторгам, которые должны были прийти в будущем, — и я закричал в экстазе, словно маленький мальчик.

— Оно прекрасно, это море, — заметила Цилла, ехавшая рядом со мной, — но его синева бледна по сравнению с яркими водами, омывающими зеленые берега и золотые пески Сабеи. Не думай, что ты видел истинную красоту земли или океана, пока твои глаза не наслаждаются прелестью Аравии Благословенной.

— Для меня это будет Аравия дважды благословенная, милая Цилла! — я перевел взгляд с синевы моря на более глубокую и яркую лазурь ее глаз, — и вся ее красота, как бы прекрасна она ни была, будет лишь отражением твоей.

— Красиво сказано, мой господин, — рассмеялась Балкис голосом, который был совершенным эхом голоса Циллы. — Даже Соломон в самом галантном настроении не смог бы найти более изысканных слов или более искусно вызвать румянец на щеках той, для кого они предназначались. Ах, Цилла, избранница богов! Я боюсь, мое одинокое сердце начнет завидовать тебе, если боги не окажут и мне в скором времени какую-нибудь милость.

— Мне хотелось бы, чтобы ты встретила Тигра-Владыку, а он увидел тебя в царственном облике, прекрасная Балкис, — сказал я ей со смехом, — и тогда, мне кажется, ни твое, ни его сердце не осталось бы надолго одиноким, а потом, клянусь священной сталью, мы вдвоем, с нашими несравненными царицами, поделили бы всю землю между собой!

— А я заставила бы этого знаменитого Тигра лизать мою руку, как комнатная собачка, и Ниневия была бы моим тронem, и вся земля Ашшура — моей скамеечкой для ног, ибо если я люблю царя, то его меч будет моим скипетром, а его подданные — моими рабами!

Говоря это, она бросила на меня несдержанный, откровенный взгляд, а затем развернула лошадь и поскакала галопом по наклонной дороге, ведущей к морю. Какой же я был глупец, ослепленный любовью, счастьем и надеждой на совершенное блаженство! Я не сумел прочесть ее замысла, каким бы ясным он ни был. Но, увы, кто может видеть сегодняшнее при свете завтрашнего солнца?

В Яффе мы погрузились на корабли, благоприятный ветер наполнил разноцветные паруса наших величественных галер и весело пустил нас по гладким светлым водам, пока мы не достигли Пелусия, восточного аванпоста Египта, той древней страны чудес, которая уже тогда была седой от неисчислимых лет, и с флагом Соломона, развевающимся на наших мачтах в знак мира и дружбы, миновали форты великого Рамзеса и вошли в Пелузийский рукав Нила.

После этого наше плавание в течение многих дней было картиной чуда и веселья, мечтой о неописуемом великолепии; чередой ярких дней и мягких, томных ночей под пылающим солнцем и сияющими звездами великолепного египетского неба; зрелищем блестящих садов и мрачных храмов, величественных памятников и великолепных дворцов, даже руины которых все еще не поддаются описанию, пока мы не миновали Бубастис и утерянный город Рамзес, не проплыли

через воды Мерры и не вошли в Красное море через то, что вы теперь называете Суэцким заливом.

Оттуда мы плыли вдоль дикого и безмолвного берега Синайской пустыни и далее на юг, пока наконец не достигли веселой страны пальм и апельсиновых рощ, зеленых долин и величественных гор, где, как я так пылко и так тщетно мечтал, я должен был найти сразу царство, корону и царицу.

Я мог бы исписать целые страницы, если бы мне позволила длина стоящей передо мной задачи, в попытке (наверное, тщетной) описать теплоту нашего приема в Сабее, приема, ставшего вдвойне теплым благодаря возвращению царицы-близнеца, которую так долго оплакивали как потерянную; долгие публичные пиршества и тысячекратно более приятные личные беседы, которые привели к трижды счастливому, трижды проклятому дню, когда жрецы звезд воззвали к благословию богов на мою свадьбу с милой реинкарнацией моей давно потерянной Илмы, с милой лучезарной царицей, которую я купил в далекой Ниневии за меч и кольчугу.

Но пока я пишу, тени давно минувшей смерти сгущаются на странице, и слезы, от которых расплываются написанные мною слова, предупреждают, что я должен поспешить поведать о мрачной трагедии, которая смыла кровью мое счастье и положила конец короткой светлой мечте моей второй жизни на земле.

Закончился пир, стихли музыка и песни последнего празднества, и в тишине Балкис увела мою застенчивую Циллу к себе, чтобы подготовить ее к последнему обряду, который должен был увенчать ее и мою жизнь тем божественным блаженством, которое является единственным остатком рая, оставленного богами человеку, когда боги покинули землю. Жрецы в белых одеждах подвели меня к занавешенному входу моей брачной комнаты, последние звуки их эпиталамы затихали в длинном коридоре, когда с бьющимся сердцем я беззвучно вошел — и здесь, как только занавеси сомкнулись за моей спиной, так и завеса молчания должна на некоторое время опуститься между мной и вами.

Пламя в золотой лампе догорало и солнечные лучи пробирались сквозь занавешенные решетки комнаты, когда я открыл все еще полусонные глаза и огляделся. Спрашивая себя, не снится ли мне все

еще какой-то сладкий сон о рае, я попытался убедиться в этом, разбудив Циллу поцелуем.

— Ах ты, красивая дурочка! Неужели ты думала, что я действительно отдам тебе свой трон и твоего царственного господина? Нет... — Что? Ты уже проснулся, мой господин? Все, что я говорила — меня, несомненно, охватил какой-то злой сон, который наслал Иблис, чтобы омрачить мое счастье. Поцелуй меня еще раз, мой господин, любовь моя Терай, чтобы я смогла убедиться, что это был всего лишь сон!

Она протянула ко мне белые руки, но я, сжатый холодной хваткой смертельного безымянного ужаса, сковавшего мое сердце и выдавливающего из него кровь жизни, вскочил на ноги и отпрянул от нее, как будто она была какой-то отвратительной рептилией, пробравшейся в темноте на мое свадебное ложе.

— Цилла, — вскричал я, задыхаясь от рыданий, которые вырвались из груди и почти задушили меня, — Цилла, где она? Ты не Цилла, потому что ее чистая душа никогда не была бы запятнана таким отвратительным видением. Если ты и в самом деле Цилла, то встань и пойди со мной к Балкис, чтобы успокоить мою душу! Если же нет, если ты откажешься, то, клянусь любовью, которую ты оскорбила и осквернила, я убью тебя там, где ты лежишь!

— Тогда убей! — крикнула она с диким издевательским хохотом, жуткое эхо которого до сих пор через пропасть веков звучит в моих ушах. — Убей, ибо я не Цилла, я Балкис! Цилла с прошлой ночи лежит мертвая в моей постели, а я продала свое тело и душу за любовь к тебе, мой господин, и один кусочек блаженства, без которого жизнь была бы бесполезна для меня. Теперь я не боюсь смерти — возьми меч и убей меня, потому что я славно пожила!

Обнаженный клинок был уже в моей руке, когда последние из этих испепеляющих слов слетели с ее лживых, смеющихся уст. Она обнажила белую грудь навстречу удару, все еще улыбаясь и неотрывно глядя на приближающуюся сталь, но боги по своей милости пощадили меня, ибо, когда я отвел руку для справедливого возмездия, рука моя застыла, а глаза заволкло туманом, сквозь который я увидел — не ее, а прекрасное лицо и сияющую фигуру моей Илмы, исчезающей, уходящей все дальше в бесконечную даль... А затем темная завеса забвения опустилась на память о моем блаженстве и моем горе, и,

словно слепой в быстро сгущающихся потемках, я побрел спотыкаясь от того, что было, в то, что будет.

Глава 11. Клеопатра

— Клянусь девятью богами, он жив — или скоро будет жив! Воистину, госпожа, великий бог Амон-Ра сотворил чудо руками своего слуги для твоего удовольствия, а может быть, и для лучшего исполнения твоей судьбы, о, величайшая надежда Египта!

— Египта!.. Ах, если бы в стране Хем было хотя бы десять тысяч таких воинов, каким был этот! Тогда Египет не стал бы прятаться под темнеющей сенью крыла римского орла, ожидая, когда безжалостные когти вонзятся в его седую грудь, а ненасытный клюв, капая кровью народов, вырвет сердце, которое билось так сильно все эти бесчисленные века.

Если бы Египет породил таких людей, как этот, мой отец Авлет, изгнанник и нищий, не пошел бы просить защиты у надменного сената и не отдал бы в залог свое царство, и я, Клеопатра, законная царица Египта и дочь царской линии великого Александра, носила бы Змеиную корону достойно и одна, а не была бы унижена настоящими хозяевами Египта до жалкого выбора делить вассальный трон с тщедушным братом, которого наши диктаторы хотят сделать моим мужем.

С десятью тысячами таких, как он, я бы выстроила стену вокруг Египта и моего трона, которую и фаланга римлян не смогла бы сломить, даже если бы сам великий Гай повел ее.

Клянусь Аписом, ах, что это за человек! Интересно, из какой расы великанов он происходит? Теперь в мире нет таких мужчин. Даже самый рослый нубиец в Александрии был бы на добрую половину головы ниже его. А посмотри, какие руки и ноги, какие прямые и сильные! Видел ли ты, Амемфис, когда-нибудь человека, хотя бы и в тройной медной кольчуге, который не пал бы под ударом его правой руки с тем ужасным мечом, привезенным из Аравии вместе с его мумией?

— Нет, госпожа, я не думаю, что такой человек есть. Боги не допустят, чтобы он ударил меня или кого-нибудь из моих близких, так как человек, которого он ударит, в следующее мгновение окажется в чертогах Осириса. Но, прошу прощения, госпожа, ты ошибаешься,

называя его тело мумией. Он сохранился в гробнице, где мы его нашли, самым удивительным и чудесным образом, но это совершенное тело никогда не проходило через руки бальзамировщиков.

Посмотри еще раз, когда я натираю ее, гладкая светлая кожа согревается возвращающимся сиянием жизни. Эта ванна с теплым маслом и эссенциями творит чудеса, но об этом мы не осмелимся рассказывать, если боги увенчают работу этой ночи, а я верю, что так оно и будет. Теперь, госпожа, если твоему слуге позволено дать совет, не лучше ли тебе удалиться перед тем, как я совершу последнее действие? Твоя стойкость уже подверглась жестокому испытанию, и то, что должно произойти, может быть еще более ужасным.

Ты можешь застать борьбу души, возвращающейся в свое земное обиталище, возможно, только для того, чтобы разорвать его на части в какой-нибудь ужасной судороге, а затем снова уйти. Возможно, тебе придется взглянуть в лицо человека, пробудившегося от многолетнего смертного сна, и услышать из его испуганных уст намеки на ту страшную тайну, которая принадлежит только тем, кто прошел сквозь тени. Может быть,...

— Нет, нет, добрый Амефис, довольно, довольно! Я вижу, ты еще мало знаешь Клеопатру. Все, что я видела, только пробудило во мне желание увидеть больше. Ужасы, которые могут вынести твои глаза, могут вынести и мои, и я уже достаточно взрослая женщина, чтобы представить себе, что если его глаза снова откроются и тьма веков будет изгнана из них, то их первый взгляд упадет на мое лицо.

Продолжай свое дело, молю тебя, чтобы то, чего ты уже добился, не было потеряно, и пламя, которое ты раздуваешь в жизнь, не погасло снова в смерти. Итак, теперь у него мягкая кожа и гибкие суставы. Ты будешь работать его руками, чтобы дыхание проникло в его грудь, я видела это на берегу Нила, так делают с теми, кто наполовину утонул. Хорошо! А теперь смотри, как я тебе помогу! Его губы мягки и становятся теплее. Я одолжу им тепло своих губ, и первый вдох, который он сделает, будет частью моего.

— Нет, госпожа, госпожа! Я умоляю тебя кротостью Исиды, не рискуй так! Подумай, он еще не жив, и прикосновение к нему осквернило бы тебя так же, как я, жрец, осквернил бы себя в глазах людей, узнай они об этих моих ужасных играх с жизнью и смертью, в которых я повинен из-за тебя.

— Нет, нет, Адемфис, это не труп, это живое тело самого славного человека, виденного мной, ожидающее лишь возвращения своей души из чертогов Осириса, чтобы пробудить и прославить его как совершенного мужа. Смотри, поцелуем я призову его душу!

— А-а-а! Бэл, где я? Балкис! Убийца, разве я еще не убил тебя? Где мой меч? Я, что, спал, что ты украла его, как украла нежную жизнь Циллы? Скорее отведи меня к ней и покажи, что она жива, или, клянусь глазами Иштар, я задушу тебя, даже будь твоя молочно-белая шея втрое прекраснее и мягче!

Ответом был хриплый крик ужаса, вырвавшийся из уст дрожащего старика, прижавшегося к стене маленькой каменной комнаты, и короткий визг женщины, которую я схватил за плечи и рывком поднял в воздух в тот самый миг, когда я вскочил, полный жизни и несравненной силы, с убогого ложа, на котором лежал.

Женщина или, правильнее сказать, девушка, потому что ее красота была скорее девичьей, чем женской, была Балкис... или Цилла, или Илма, или что за странную шутку снова сыграла со мной мстительная судьба? Нет! Прах Илмы все еще носится по пескам пустыни около Ниневи, а Цилла лежит мертвая во дворце Сабее, ибо разве не сказали мне об этом минуту назад насмешливые уста Балкис?

Минуту? О, боги, где я? В каком новом веке или месте? Это была не моя свадебная комната в Сабее, это было больше похоже на гробницу. И все же, это совершенное лицо, эти глаза из живого сапфира, эти великолепные локоны длинных волнистых волос, мерцающие темным золотом в свете лампы — чьи они могли быть, как не ее? Неужели боги создали еще одну женщину по ее образу, чтобы заманить меня надеждой воображаемого счастья, а затем опрокинуть чашу с золотым вином блаженства, как только мои губы поцелуют ее? Она называла себя Клеопатрой — ибо то, что я здесь написал, я слышал словно во сне, прежде чем кровь зашевелилась в моих жилах и силы вернулись к моим конечностям.

— Кто такая Клеопатра?

Мысли одна за другой пронеслись в моем мозгу с быстротой ночной молнии, но эти последние слова я произнес вслух, и тогда ужас исчез из глаз девушки, которую я держал в руках, кровь прилила к ее лицу, она улыбнулась и сказала голосом, который я в последний раз слышал в то ужасное утро в Сабее:

— Опустит меня, друг, твоя хватка не женская, и у меня будут синяки. Отпусти меня, прошу тебя, и ты скоро узнаешь, кто такая Клеопатра. Подойди, Амефис, и успокой этого свирепого великана, которого ты вызвал из чертогов Аменти. — Что? Ты боишься плода своих усилий? Нет, нет, здесь нечего бояться, кроме его ужасной силы, потому что он не призрак, а настоящая плоть, кровь и мускулы, что видно по моим бедным измученным рукам.

Я опустил ее на землю, и она, закатав струящийся рукав белого шелкового платья, мило дулась, глядя на следы, оставленные моими ручищами на ее нежной белой коже. Жрец тоже набрался храбрости, увидев, как я стою в немом изумлении и перевожу взгляд с одного на другого из этой странной несообразной пары — морщинистого старика с длинной седой бородой и бритой головой, и прелестной девушки, только распускающейся в первый нежный румянец женственности, той несравненной девушки, которую еще несколько лет превратят в женщину, что будет держать судьбы мира в своей ладони и плавить судьбы народов в огненном горниле своих страстей, как на том роковом знаменитом пиру в Тарсе, когда она расплавила бесценную жемчужину в кислоте своего кубка.

Он подошел ко мне, низко кланяясь и все еще слегка дрожа от пережитого страха:

— Я не знаю, должен ли я обращаться к тебе как к человеку или как к большему, чем человек, ведь ты явился из тени в богоподобном образе и говоришь на языке древних богов — языке, который известен только посвященным в святые тайны нашей матери Исиды, и все же...

— И все же, добрый друг, кто бы ты ни был, — сказал я, немного резко обрывая его речь, так как я не только был голоден и хотел пить, но и был почти гол, и, хотя в ранние дни мира у нас почти не было ложного стыда, модного сейчас, за то, что было сделано по славному образу вечных богов, все же, хотя бы ради компании, я хотел быть одет. — На самом деле, я такой же человек, как и ты, поэтому давай обойдемся без церемоний. Если у тебя есть еда, вино и одежда под рукой, поверь мне, сейчас я оценю их выше, чем длинные придворные речи, а потом, когда я съем кусок хлеба и выпью глоток вина, мы сможем поговорить, если захочешь, потому что у меня есть о чем тебя спросить.

— А у нас есть еще больше вопросов к тебе, самому удивительному из всех пришельцев в мир живых людей, — вмешалась та, что называла себя Клеопатрой, когда старик вышел из комнаты, чтобы вскоре вернуться с тарелкой хлеба, фруктов и серебряным кувшином доброго красного вина, которым я быстро и полно воздал должное. Пока я ел и пил, старик покрыл меня длинным льняным плащом, а я с бесконечным удивлением смотрел в эти роковые глаза, которые должны были соблазнить Антония с престола мира, а в час ее падения смело смотреть в глаза судьбе.

— А теперь, — сказал я, немного поев, а больше попив, — где я, и как живет мир с тех пор, как эта девушка, которая теперь называет себя Клеопатрой, была Балкис, царицей-близнецом Сабей с моей милой Циллой, которую она убила из любви ко мне, и с тех пор, как жизнь покинула меня в тот момент, как я собирался убить ее за ее грех? Правит ли еще Соломон в Иерусалиме, а Тигр-Владыка Ашшура вернулся с венком победы на мече, который я дал ему в качестве части цены Циллы? Ниневия все еще владычица мира, или выскочка Вавилон оспаривает у нее место империи?

Чем больше я говорил, тем больше удивления было в их распахнутых глазах. Когда мои вопросы закончились, Клеопатра кивнула жрецу и почти прошептала, настолько она была поражена:

— Расскажи ему, Амефис, ты разбираешься в этих вещах лучше меня. Боги, вот это чудо!

— Чужестранец... нет, в десять раз больше, чем чужестранец, поскольку ты пришел не только из других стран, но и из далеких веков, — начал жрец таким голосом, каким он мог бы обращаться к своим богам, кем бы они ни были, — ясно, что паутина, которую богиня Хатор плетет на станке времени, сильно разрослась, и что многие поколения людей были призваны в чертоги Осириса с тех пор, как ты впал в тот таинственный сон, из которого, по какой-то темной причине, известной только богам, я своим простым искусством вызвал тебя.

От Ниневии остались лишь название и куча развалин, затерянных в песках пустыни, а тот Тигр-Владыка, о котором ты спрашиваешь, забыт. Когда пала Ниневия, поднялся Вавилон, и он тоже пал в свою очередь. Мидяне повергли его в прах, а македонский царь покорил мидян. Тот македонец триста лет назад основал город Александрию,

ныне главный в земле Египетской, а его потомок Клеопатра сидит сейчас перед тобой.

Мудрость Соломона жива, но сам мудрец уже тысячу лет как превратился в прах, а в Салеме правит римский наместник. Империя Александра простиралась с Востока на Запад, но ее больше нет; мир много раз менял свое лицо и значительно расширил свои границы, и теперь Рим царит над всеми, хотя ты никогда не слышал его имени до сегодняшней ночи. Что же касается Сабеи, о которой ты говоришь, то это воспоминание быстро стирается из людской памяти, а твои Цилла и Балкис — для нас просто имена, не более.

Приходят и уходят люди, возникают и рушатся империи, а поток веков течет медленно и бесстрастно, как наш вечный Нил, затопляя все, кроме могучих храмов Хема, которые были стары, когда твоя Ниневия была еще молода, и которые будут существовать до самого конца времен.

— Однако, — сказал я, нарушая торжественное молчание, воцарившееся между нами, когда он закончил, — я говорил только об одной Ниневии. Но еще раньше я видел другой город, место которого было забыто во времена Тигра-Владыки, город самого Нимрода, рядом с которым стояла башня Бэла, вершина которой достигала неба, и которая пала под ударом небес в тот самый миг, когда Нимрод пал под моим копьем. Но хватит рассказов, которые, не сомневаюсь, звучат для вас, как басни человека, только что очнувшегося от пьяного сна. А теперь скажи мне, прошу тебя, как я попал в Египет, ведь я помню, как проплыл его мимо Пелусия, как он тогда назывался, в Красное море, когда Соломон был царем в Салеме.

— Все это так удивительно, нет, невероятно, я бы сказал, если бы не знал, что душа человека — это искра вечного огня и что для богов нет ничего невозможного! — ответил Амемфис, медленно качая головой, как будто его сознание блуждало в лабиринте недоумения. — Но твое появление здесь легко объяснить, для этого хватит нескольких слов.

Более ста лет тому назад, как написано в книге моего прадеда Аменофиса, флотилия египетских галер, возвращавшихся из Индии через Красное море, из-за внезапного шторма была вынуждена искать убежища в старой, полуразрушенной гавани далеко на юге Аравии. Анати, племянник Аменофиса, командовавший одной из галер,

высадился на берег со своими людьми и за гаванью нашел развалины заброшенного города, и они начали искать в них сокровища, как обычно делают моряки в подобных случаях. Лишь одно здание из тех, что когда-то составляли великий город, осталось целым и невредимым. Это был огромный мавзолей, построенный в форме квадрата, углы которого указывали на север и юг, восток и запад.

После больших трудов им удалось проникнуть внутрь, и там они нашли три саркофага из черного полированного камня. Они вскрыли их и обнаружили в каждом герметично запечатанный гроб из чистого серебра. Их они тоже открыли. В двух лежали украшения из золота и драгоценных камней и несколько костей, которые рассыпались в пыль у них на глазах. В третьем они нашли тебя, покоящегося как в глубоком сне, нетронутого рукой времени, в доспехах из стали и золота, и с большим мечом, лежащим на твоей груди, твои руки были скрещены на его рукояти.

Ты выглядел таким живым, что они долго боялись прикоснуться к тебе, но, в конце концов, привезли тебя, гроб и все остальное обратно в Бубастис, где Аменофис услышал о чуде от своего племянника и купил тебя. От него по наследству ты достался мне как фамильная реликвия, несомненно, самая чудесная из всех, когда-либо бывших у людей, а я, после многих молитв царственной дочери Авлета, моей ученицы в мистериях, сделал то, что с помощью Амона-Ра вернуло тебя к жизни.

В ту ночь мы долго разговаривали на языке, который тогда был утраченным языком Хема, известным только жрецам древней веры Исида, в то время широко отвергаемой из-за отступничества и ухода людей к пантеонам Греции и Рима. За исключением меня, Клеопатра была единственной не урожденной египтянкой, кто разговаривал на этом языке, потому что Аменфис научил ее древнему языку в обмен на торжественную клятву, что, когда она станет настоящей царицей, а не на словах, она изгонит Сераписа и ложных богов Греции и восстановит Царицу небес на ее законном месте во всех верхних и нижних землях Египта.

Нет смысла рассказывать обо всем, что говорилось тогда между нами, равно как и о том ощущении чуда, которое пробудил и в них, и во мне тот полуночный разговор в тайной комнате великого храма Птаха, куда они принесли мое тело, чтобы без помех провести надо мной свой эксперимент. И все же то, что для них было удивлением, для

меня было скорее недоумением. Для них — свершилось чудо. Для меня — еще одно звено было добавлено к той цепи судьбы, по которой руки богов, казалось, вели меня, как призрака среди призраков, через меняющиеся сцены судьбы мира.

Я вернулся к жизни, чтобы обнаружить, что надежды и страхи, любовь и ненависть, радости и печали моего последнего существования сметены потоком спешащих веков. Для меня память о них была так свежа и остра, как если бы они были вещами вчерашнего дня, и все же мое вчерашнее было далеким прошлым мира, сном, который исчез в ночи времени, и над всем этим висела мрачная пелена той ужасной тайны, разгадка которой все еще скрывалась в будущем, которое могло быть таким же далеким, как и мое самое далекое прошлое.

Мы говорили обо всем этом и о многом другом, потому что, ответив на их вопросы, я начал задавать их сам, и в своих ответах Амефис нарисовал мне сцену, на которой разыгрывался эпизод из длинной драмы человечества, в котором мне предстояло сыграть свою следующую роль.

Тем, кто читает, будет достаточно, если я скажу, что за десять дней до того, как искусство Амефиса вернуло меня к жизни, великий Помпей оспорил власть над Римом и господство над миром у еще более великого Юлия Цезаря и проиграл в знаменитой битве у Фарсалы, и уже тогда был на пути в Египет, чтобы просить убежища, а найти могилу.

Следом за Помпеем, как вы увидите, в Египет должен был прибыть сам могущественный Юлий, чтобы найти погибшим своего друга и единственного победителя, которого он когда-либо встречал. Но о его приезде вы прочтете позже. Мы просидели всю ночь, а потом Клеопатра ушла, и вот что она сказала на прощанье:

— Я увидела и услышала достаточно чудес для одной ночи — нет, больше, чем любая другая женщина когда-либо видела, — и теперь мои глаза отяжелели, а душа полна видений, которые лучше устроятся во сне. Я встречу с тобой сегодня вечером в храме, Амефис, и, может быть, с тобой тоже... Как же мне тебя называть, ведь ты пришел в новую жизнь и должен иметь новое имя. Вот, придумала! Я назову тебя Аполлодором, мой златовласый Аполлон, ибо поистине боги

сотворили тебя наполовину Гераклом, наполовину Аполлоном, по их образу и подобию.

Пока она говорила, ее глаза, отяжелевшие от сна, снова загорелись, губы улыбнулись, и когда она вложила свою руку в мою одновременно и милостиво, и робко, она посмотрела на меня тем взглядом, чьему неопируемому колдовству, раз увидев, не мог сопротивляться никто, за одним исключением, а затем вышла из комнаты быстро и бесшумно, как какой-то нематериальный сон красоты.

— Эта женщина скоро потрясет мир до основания, — молвил Амемфис, когда она исчезла, — потому что такой, как она, никогда прежде не рождалось, и больше не будет. Пусть боги сделают так, чтобы ужасная магия ее красоты и несравненного интеллекта была использована во благо, а не во зло! Если наша мать Исида, которой она поклялась служить, направит ее по правильному пути, то она поднимет Египет из того унижения, к которому привело неверие ее сыновей. Наша древняя страна снова станет матерью мудрости и царицей народов, но если нет...

Но довольно об этом. Я тоже устал от долгого бдения, да и ты пришел из долгого путешествия и, наверное, устал. Следуй за мной, я отведу тебя в комнату получше этой, где ты сможешь спокойно поспать; и когда звезды, которые сейчас бледнеют, снова засияют, я приду и разбужу тебя.

Я пошел за ним, и он провел меня через множество темных коридоров, каменные стены которых, казалось, были воздвигнуты, чтобы стоять до конца всего сущего. Мы пришли в большую и просторную комнату, где я с благодарностью улегся на мягкое ложе, покрытое белоснежным льном, и еще до того, как он покинул комнату, ко мне пришел сон, и все чудеса ночи были забыты. Когда я проснулся, он стоял рядом с маленькой серебряной лампой в руке, потому что снова наступил вечер, и, когда я поднял глаза, моргая от света, он сказал:

— Ты спал долго и, надеюсь, хорошо. Теперь тебя ждут ванна, еда и свежая туника, а когда ты будешь готов увидеть удивительные вещи, мы пойдем.

— Куда? — спросил я, потягиваясь. — К Клеопатре?

— Да, — ответил он с улыбкой. — К Клеопатре, которая будет ждать тебя перед алтарем Исиды в большом зале Храма, а так как времени мало, я попрошу тебя поторопиться.

Услышав это, я не стал медлить, как вы понимаете, и не прошло и получаса, как я принял ванну, оделся в шерстяную рубаху и тунику из тонкого белого льна, расшитую разноцветными шелками, а поверх всего этого надел кольчугу, опоясался мечом, надвинул на голову стальной шлем с золотым обручем, привязал к ногам сандалии и накинул на плечи плащ из белого полотна, расшитый пурпуром и золотом.

Затем я наскоро поужинал с Амефисом, который с истинно жреческим мастерством уклонился от расспросов о том, что мы собираемся делать, и когда с едой было покончено, я прошел за ним, как раньше, через лабиринт мрачных коридоров, пока мы не вышли в звездную ночь перед огромным пилоном или внешним крыльцом, построенным из таких огромных блоков темного полированного камня, что казалось, только великаны могли поставить их на свои места.

Здесь нас остановили стражники, вооруженные копьями и мечами и облаченные в доспехи, белый блеск которых поведал мне, что я больше не единственный человек на свете, владеющий секретом стали. По слову Амефиса скрещенные копья поднялись, и мы прошли внутрь. За пилоном обнаружилось еще одно крыльцо, а еще дальше — квадратный дверной проем, полностью закрытый цельным блоком из темного зернистого гранита.

— И что теперь? — спросил я, резко остановившись перед ним. — Здесь нет пути, если только у тебя есть какая-нибудь магия, которая позволит нам пройти через эту каменную стену.

— Минутку терпения и увидишь, — ответил Амефис, выходя вперед.

Он поставил ногу в правый угол дверного проема и нажал рукой на цветок лотоса, вырезанный в массивной каменной притолоке двери. К моему изумлению, исполинская глыба гранита беззвучно погрузилась в землю, и, когда мы переступили порог, тихий нежный хор неземной песни вырвался из уст невидимых певцов, и я оказался в огромном мрачном зале, неразличимая крыша которого

поддерживалась длинными рядами высоченных рифленых колонн из черного камня.

Наверху из темноты на цепях свисал десяток золотых светильников, и при их свете в дальнем конце зала я увидел Клеопатру, сидящую на серебряном троне, опираясь ногами на лежащего сфинкса из черного камня. На голове у нее была корона стервятника и рогатый диск Исиды, змеиная корона Египта обвивала ее брови, скипетр Менеса был в ее левой руке, а плеть — в правой. Позади нее возвышался алтарь из белого камня, увенчанный крылатой эмблемой Матери всего сущего. Справа и слева от Клеопатры стоял двойной ряд жрецов, одетых, как Аменфис, в длинные белые льняные одежды.

В то утро я увидел ее девушкой, полной невинности и детского удивления. Вечером я встретил царицу, сидящую на самом древнем троне в мире и носящую эмблемы царской власти, по сравнению с которыми все остальные знаки отличия были лишь игрушками вчерашнего дня. Когда мы шли по залу, жрецы с обеих сторон, низко кланяясь нам, бормотали:

— Да здравствует Аменфис, верховный жрец Амона-Ра, владыка святых тайн Исиды! Славься, пришедший из чертогов Осириса и страны теней Аменти! Добро пожаловать в Египет в час нужды!

Слова произносились монотонным хором тихих бормочущих голосов и волнами терялись в сумраке огромного зала, но от Клеопатры не донеслось ни звука, ни знака. Она неподвижно сидела на троне, как воплощение женской красоты и царского достоинства, и глядела на меня твердым, неизменным взглядом, который приковывал магией чудесного света, сиявшего в ее глазах, и, казалось, проникал мне в самую душу и воспламенял ее славой, как какая-нибудь красивая мечта о победе и империи. Но ни приветствия, ни узнавания не было ни в ее глазах, ни на ее устах.

Они поставили для меня кресло напротив нее на другом конце двух рядов жрецов, и Аменфис, стоявший посередине лицом к Клеопатре, поднял руки к эмблеме над алтарем. Все жрецы склонили головы, и в течение многих минут стояла такая полная и торжественная тишина, что я едва осмеливался дышать, чтобы не нарушить ее. Потом Аменфис опустил руки и занял свое место по правую руку от трона. Он сказал:

— Жрецы Исида и посвященные в святые таинства, вы, все еще верные делу древних богов и нашей святой матери Исида, которой мы молились в той тишине, в которой говорит сердце, когда уста закрыты, я рассказал вам чудесную историю о том, кто с позволения Осириса вернулся прошлой ночью из обители мертвых и был приведен моей почтенной рукой обратно в мир живых.

Как ни чудесно его пришествие, оно не является неожиданным ни для меня, ни для вас, братья мои, ибо звезды, золотыми буквами которых написаны судьбы людей и империй, поведали нам, что мир быстро приближается к поворотному моменту в истории человечества. Мы, для кого знания столь же понятны, как иероглифы на стенах наших храмов, знаем, что весь мир бессознательно ожидает прихода того, кто сокрушит мощь угнетателя и снимет его ярмо с усталых шей покоренных народов.

И куда же должен прийти такой человек, как не в древнюю страну, откуда возникло все, что мир знает об искусстве, оружии и мудрости? Судьба Египта висит на волоске. Разве чудо, сотворенное вчера ночью, не имеет значения для нас и для этой святой земли Хем?

Он замолчал на мгновение, и снова на нас обрушилась торжественная тишина. Затем, обратив на меня глаза, пылающие огнем пророчества, он продолжал:

— А для тебя, о пришелец из далекой страны, этот смысл, конечно, не так уж сложно отыскать. Здесь в госпоже Клеопатре ты нашел, как сам сказал, живой образ той, что была твоей царицей-воительницей в Арме, и твоей Савской невестой, которую смертоносная рука ее лживого двойника вырвала из твоих рук в самый час неуловимого блаженства. Кто скажет, что боги не имеют в своем сердце желания дать тебе здесь, в Египте, то, что они отняли у тебя в своей непостижимой мудрости среди песков пустыни Ашшура и в твоей брачной комнате в Сабее?

Он снова умолк, и опять наступила тишина. Все взгляды были обращены на меня, но я не видел ничего, кроме двух светящихся глаз, которые глядели на меня из-под Змеиной короны. Тогда какой-то дух освободил мой язык, я поднялся на ноги, вынул меч, поцеловал золотую рукоять и воскликнул:

— Если это так, то клянусь священной сталью, которую боги передали мне в руки в Арме и которая была освящена устами той,

чье последнее воплощение теперь, похоже, восседает передо мной, клянусь, что, однажды выхватив эту сталь ради Египта и для нее, я никогда больше не вложу ее в ножны, пока не одержу победу, или пока смерть не выбьет ее из моей руки!

Я поднял меч вверх, и, пока я держал его так, сверкая им в свете ламп, Аменфис повернулся к Клеопатре и снова заговорил:

— А тебе, о царица, несравненная среди женщин и последняя надежда священной земли, не кажется ли тебе, что боги послали тебе из чертогов Аменти одновременно и защитника, и достойного супруга, героя, только что вышедшего из лона Осириса? Где среди всех царей земли ты найдешь того, кого боги удостоили такой же судьбы, кто никогда не был рожден женщиной и кто может справедливо заявить о своем происхождении со звезд? Кто будет сильнее его, чтобы отвоевать твой законный трон крепким мечом и посадить тебя на него не как вассала надменного Рима, а как царицу по твоему царскому праву и по праву, которое он завоюет для тебя в битве?

Он замолчал, и снова ужасная тишина обрушилась на нас, стоявших перед алтарем среди мрака огромного храма, а затем из тишины донесся голос, такой нежный и в то же время такой пронзительный, словно это был голос самой Исиды, говорившей с нами со звезд:

— Мне не дано знать того, что в сердцах богов, но, если бы я ясно знала их волю, я бы исполнила ее, хотя бы это стоило мне всех земных радостей и всего того, на что надеются смертные между колыбелью и могилой. У богов есть голоса. Пусть скажут, и я повинуюсь.

Прежде чем шепчущее эхо ее слов затихло среди колонн, бледная дымка света озарила мрак в другом конце храма. Он становился все ярче и ярче, пока пламя ламп не потускнело и не померкло перед ним. Затем посреди него появились движущиеся фигуры, которые вскоре приняли определенные, но быстро меняющиеся формы.

И снова на глазах изумленных жрецов и той, что просила о знамении, я во главе конницы Армена проскакал сквозь разбитое войско Ашшура, и Илма пронеслась в колеснице, как сияющий ангел разрушения по широкой красной дороге, которую я расчистил для нее три тысячи лет назад. Снова Армен и Ашшур встретились лицом к лицу под стенами Ниневии. Башня Бэла снова содрогнулась до основания и с грохотом рухнула на землю. Я снова стоял рядом с

Циллой перед тронном Соломона и снова с обнаженной сталью в руке я глядел на Балкис в свадебной комнате.

Видение исчезло так же бесшумно, как и появилось. Я повернулся и посмотрел на Клеопатру. Она встала с трона, бледная как смерть, и темными горящими глазами глядела в пустой мрак. Затем она повернулась и, протянув руки к эмблеме над алтарем, сказала голосом, который сладко дрожал в тишине:

— Благодарю тебя за знамение, святая мать Исида! Ты открыла мне путь судьбы, и я пройду по нему до конца, и если я дрогну или сверну в сторону, то пусть все мои надежды на земное счастье рухнут, пусть я умру от своей же руки в высший час отчаяния, и пусть божественные судьи найдут меня недостойной, когда я предстану перед Невидимым в чертогах Осириса! Так клянусь я, и какова моя вера, такой да будет милость твоя или суд твой, о святая мать Исида!

Она умолкла и, когда неземной хор, приветствовавший нас, снова зазвучал, как бы пропевая «Аминь» ее клятве, опустилась на колени перед алтарем и, закрыв лицо руками, стояла на коленях, бледная и неподвижная, самая милая и величественная фигура во всей этой торжественной сцене.

Глава 12. И снова лук и меч

Я должен пропустить события трех месяцев, последовавших за принесением нашей совместной клятвы перед алтарем Исиды в храме Птаха, потому что почти все это время я провел в храме под присмотром Амефмиса и его братьев-жрецов, которые обучили меня всему, что было необходимо для исполнения той роли, которую я взял на себя.

Но больше всего я узнал из уст и глаз самой Клеопатры. Она, по годам еще девушка, была сердцем, душой и мозгом восстания, назревавшего против придворной партии в Александрии, которая, когда Клеопатра отказалась подчиниться воле Птолемея и приказам римского сената, даровала мнимую власть ее брату-подростку Дионисию и сестре Арсиное.

Ее беспокойная энергия казалась бесконечной, она не уставала ни телом, ни душой. Только что она была на сирийском берегу Нила в Пелусии, где ее приверженцы разбивали лагерь; вот она в Газе на сирийском побережье тайно принимает послов из многих стран Азии, которые, как и Египет, стонут под римским игом; а вот она уже в самой Александрии закутанная и переодетая посещает дома тех, кто замышляет восстание, которое должно положить конец власти евнуха Потина, которого Птолемей оставил опекуном и наставником своих детей, и командующего наемными войсками Ахиллы, и передать город в ее руки.

В промежутках она путешествовала со мной и Амефмисом вверх по Нилу на скромной галере. Мы посетили Саис и Мемфис, Гизу, Фивы и Карнак и многие другие древние города, которые даже тогда, две тысячи лет назад, были окружены дикими развалинами, поседевшими по прошествии бесчисленных лет.

Именно в эти долгие, прекрасные ночи, плывя по широкой, гладкой груди древнего Нила, среди тусклого блеска остатков былого величия Египта, я узнал из уст Клеопатры музыку греческого и грубую силу римского языка, а из ее глаз — тот роковой урок добровольного подчинения, которое приписывали каждому мужчине, которому было суждено заглянуть в них.

Размягченный воспоминаниями о прошлом, живым воплощением которого она была, я не думал о сопротивлении роковым чарам, которые она плела вокруг меня. Для меня она была судьбой, воплощенной в самой прекрасной форме, которую когда-либо видели человеческие глаза. Там, где останавливался ее взгляд, для меня был день; там, откуда она его отводила, была ночь; и когда настало время действовать, а это случилось, когда моей новой жизни едва исполнилось двенадцать недель, я был влюбленным в нее рабом, готовым исполнять любые ее приказы, неважно, во имя добра или зла.

Вы читали, как великий Помпей, побежденный беглец с роковой Фарсалийской равнины, прибыл на одной высокой римской галере в Александрию, чтобы укрыться от победоносного Цезаря, и как Потин, подлый Феодот и лже-Ахиллес^[13] отплыли в лодке от плоского берега у храма Амона, чтобы доставить его на сушу, и как на мелководье Ахилла заколол его на глазах его величественной жены Корнелии, которая металась по палубе галеры, причитая и заламывая руки.

Именно это гнусное убийство и привело дело к развязке. Ахилла повел свои войска в Пелусий, а я, Амемфис и другие вожди нашей партии были в Газе вместе с Клеопатрой, когда сирийская галера, находившаяся у нас на службе, принесла это известие. Именно теперь, если вообще когда-либо, пришло время нанести решающий удар, который рассеял бы силы узурпаторов и поднял Египет на последнюю битву за независимость.

Промедление было бы фатальным, так как гонцы с севера уже доставили весть о том, что галеры победоносного Цезаря направляются в Александрию, а мы знали, что, как только великий Юлий и его непобедимые ветераны появятся в Александрии, ужас перед его всемогущим именем сделает больше на поле боя, чем сто легионов, и восстание будет подавлено прежде, чем будет обнажен меч.

В Газе у нас был флот из пятидесяти галер, и помимо трех тысяч человек на их борту у нас было две тысячи человек в лагере к востоку от Пелусия, и не требовалось большого умения, чтобы предвидеть, что Ахилла направит свою первую атаку против них. Здесь он должен быть встречен и сокрушен, Пелусий должен быть взят штурмом, и тогда будет открыта дорога в Александрию караванным путем через пустыню.

Итак, на рассвете одного прекрасного утра мы поднялись на галеры, зазвучали флейты, и двойные ряды длинных весел окунулись в воду, посылая за корму длинные струи брызг. С востока дул легкий ветерок, поэтому мы подняли большие квадратные паруса из яркой ткани и весело покатали по гладкому, залитому солнцем морю в поход, который, если бы не женская слабость или женская ложь — одни боги знают, что это было! — мог бы изменить историю мира.

Я был с Клеопатрой на ее галере «Золотой ибис», огромном двухпалубном судне с высокими кормой и баком, с золотой головой ибиса на форштевне и ростром^[14] в виде тройного медного клюва, наполовину погруженного в воду и выступающего на три метра за нос.

До сих пор меня держали вне поля зрения всех, кроме самых доверенных советников Клеопатры, так как было мудро решено, что лучше мне выйти на сцену в полном вооружении накануне боя, как я и сделал, чтобы у праздных языков не было времени посплетничать о странности моего появления, потому что в случае победы Амефис и его братья-жрецы намеревались смело провозгласить меня реинкарнацией великого Рамзеса, вернувшегося на землю, чтобы вырвать свое древнее владение из когтей римского орла и повести сыновей Хема на завоевание мира.

Так что можете догадаться, какое удивление было в глазах тех, кто видел, как я вышел в то утро из дома в Газе, где Амефис прятал меня почти неделю, и шагал рядом с Клеопатрой по кишашим шумным улицам, сверкая с головы до ног золотом, сталью и пурпуром, с огромным мечом Армена на бедре и с оруженосцем, марширующим позади меня и несущим точно такой же лук, как тот, каким я пронзил стрелой щит Нимрода, связку стрел наполовину более длинных, чем те, что были тогда в употреблении, и большой боевой топор с двумя лезвиями, который мастер из Дамаска, самый искусный кузнец в Газе выковал для меня по цене его веса серебром.

Когда я прошел по мосткам и занял свое место рядом с Клеопатрой под лазурным шелковым навесом на корме, шепот изумления, следовавший за мной, перешел в открытую речь, и солдаты с матросами начали громко спрашивать друг друга, не Менес ли это, Рамзес, Геракл или Мардук (в зависимости от их веры или языка) вернулся на землю, чтобы сражаться в битвах новой Исиды, как люди

уже начали называть Клеопатру, из-за ее более чем человеческой красоты и более чем царского достоинства.

Нельзя было упускать такой возможности, и поэтому Амефис, который плыл на нашей галере, бросил испытующий взгляд на Клеопатру, потом на меня, а затем подошел к передней части кормы, поднял руки, призывая к тишине, и сказал четко и громко, чтобы его было слышно на галерах по обе стороны от нас, потому что мы плыли в центре линии:

— Солдаты и моряки Египта, а также наши верные союзники! Я вижу, как вы смотрите с изумлением на того, кто стоит у трона вашей царицы, и спрашиваете себя, откуда взялся этот богоподобный образ силы и величия. Мне не дозволено ответить вам сейчас, ибо я не могу предвидеть замыслы священных богов, но близится время, когда вы сами увидите и решите, послала ли наша святая мать Исида в час нужды Египта достойного воина, чтобы расчистить путь к победе для ее живого образа на земле, нашей несравненной госпожи Клеопатры!

Он смолк, и в ответ на его слова прокатился могучий крик восторга и приветствия, который подхватили корабли по обе стороны от нас, прогремев вдоль нашей линии направо и налево в сопровождении слуха, что один из старых героев вернулся на землю, чтобы сражаться за Египет и его царицу.

Но я молча и бесстрастно стоял у кресла Клеопатры, потому что мы условились, что чувство таинственности и суеверия, которое всегда легко проникает в души невежественных, будет одновременно нашим лучшим союзником и самой сильной опорой власти, которую вскоре мне пришлось взять на себя. Поэтому я позволил им смотреть и удивляться, не говоря ни слова никому, кроме Клеопатры и ее советников.

Мы плыли весь день и ночь, не встретив ни друзей, ни врагов, но на следующем восходе солнца мы увидели огромный флот галер, численностью превосходивший нас в два раза, вытянувшийся длинной линией перед нами, а за ним — низменную сушу по обе стороны Пелузийского устья, увенчанную крепостями и зданиями Пелусия.

Это не могли быть друзья, потому что у нас не было других галер, кроме тех, что были в нашей флотилии; следовательно, это были либо александрийские суда, либо флот самого великого Цезаря. В любом случае они были врагами, и их линию нужно было прорвать, прежде

чем мы сможем добраться до земли и освободить наш лагерь, если он еще не был взят штурмом.

Клеопатра вышла на палубу из своей каюты как раз в тот момент, когда мы обнаружили их, и когда я увидел ее, одетую в мерцающий шелк и белоснежное полотно, с золотой змеиной лентой вокруг волос, мои мысли с чем-то похожим на укол печали вернулись к Илме, когда та вышла на битву в то далекое утро, когда я впервые атаковал ассирийское войско, и почти с горечью я сравнил роскошное одеяние Клеопатры со шлемом и стальным корсетом Илмы. И все же моя дорогая египтянка выглядела так мило и красиво, стоя на корме, прикрыв глаза ладонью и глядя на вражеский флот.

— Как их много! — заметила она, и я уловил легкую дрожь в ее голосе.

Увы! Разве сказала бы это Илма, да еще таким тоном? Я ответил так, как ответила бы она, и сказал почти грубо:

— Да, их больше, чем нас, поэтому сегодня будет больше славы для нас и больше добычи.

— Ты говоришь, как хороший воин! Эти слова должны послужить хорошим предзнаменованием для судеб этого дня, — ответила она, положив ладонь на мою обнаженную руку, своим прикосновением посылая волну магию по всему моему телу.

— Да, — сказал я. — Так и будет! Я мало верю в предзнаменования, за исключением тех, которые люди создают для себя мечом и топором. Но на этой палубе в таком наряде тебе не место, Клеопатра, ведь шальная стрела пронзит твоё мягкое одеяние как лист лотоса! Не лучше ли тебе спуститься вниз в укрытие и вооружиться?

— Вооружи-и-и-ться?! — протянула она, глядя на меня с почти детским удивлением. — Что ты имеешь в виду, мой герой? Ах, я понимаю — нет, или я помню, — что твоя Илма вышла на битву рядом с тобой, одетая в сталь и вооруженная луком и мечом, и ты думаешь, что я должна поступить так же. Нет, нет, Аполлодор, дни цариц-воительниц прошли, и теперь наше оружие другое, но не менее смертоносное, чем оружие поля битвы. И все же я не пойду в укрытие, потому что, хотя я и не женщина-воин, ты увидишь, что я не трусиха. Я встану здесь и буду наблюдать за атакой, чтобы увидеть, как мой герой пробивает себе путь к славе и победе. А теперь скажи, кто нанесет первый удар?

— Я сделаю это, — сказал я, — потому что, если мои руки не утратили ловкости, ты увидишь, что я могу ударить дальше и сильнее, чем любой другой из двух флотов. Но, поверь мне, ты опрометчива почти до глупости, оставаясь незащищенной. Подумай, что будет с нами и с Египтом, если в тебя попадет стрела!

— Нет! нет! — перебила она, качая головой. — Моя судьба в будущем, а не здесь, и я останусь.

Так что она осталась и, как всегда, снова добилась своего, а я, видя, что увещевания бесполезны, приказал ее телохранителям прикрыть ее щитами, когда начнется сражение, а затем велел оруженосцу принести мой лук и связки стрел. Я занял свое место на высоком баке и натянул тетиву на лук.

Мы повернули немного на юг, чтобы оказаться между противником и солнцем. Затем мы спустили паруса, погонщики рабов приготовили кнуты для несчастных, которые трудились на скамьях внизу, зазвучали флейты, весла шлепнулись в воду, и «Ибис» рванулся вперед вместе с остальными, быстро увлекая меня в мой первый морской бой.

Когда ближайшая из александрийских галер оказалась примерно в шестистах шагах от «Ибиса», я взял у оруженосца стрелу и положил ее на тетиву. Он ошеломленно уставился на меня, потому что даже на половине расстояния египетским луком невозможно было убить человека. Я подтянул острие к тетиве и пустил стрелу высоко над мачтами галер, пока она не скрылась из виду. Из группы воинов, стоявших на баке, донесся негромкий возглас изумления, так как самый сильный из них не смог бы пустить стрелу даже на половину расстояния.

Как вы понимаете, я пустил стрелу только для того, чтобы испытать силу лука, и убедился, что он сослужит мне хорошую службу. Поэтому я взял другую стрелу и, увидев идущую на нас большую галеру под пурпурно-синим флагом, царским знаменем Египта, я прицелился и послал стрелу с шипением в группу ярко одетых воинов, которые стояли на носу, размахивая оружием. Клянусь богами, вы должны были слышать крик, который поднялся со всей нашей флотилии, когда один из них подпрыгнул на метр в воздух и упал обратно на палубу со стрелой в сердце.

Стреляя так быстро, как только успевал укладывать древко на тетиву, я обрушил дождь стрел на адмиральскую галеру под командованием самого убийцы Ахиллы. Задолго до того, как мы приблизились на расстояние выстрела из обычного лука, я уложил на палубу добрый десяток бойцов, но гораздо смертоноснее стрел была паника, которую вызвала у них такая ужасная стрельба, как это было у ассирийцев три тысячи лет назад. Страшно было противостоять таким стрелам, но еще хуже было выйти на ближний бой с воином, который их посылал.

Но теперь принялись за работу лучники и пращники с обеих сторон, и тучи стрел со свистом стали рассекать воздух, а камни и шары из свинца и железа непрерывным ливнем с грохотом обрушились на нас. С каждым метром пространства, которое исчезало между галерами, старая боевая ярость разгоралась во мне все жарче и жарче. Я отложил лук, потому что моя последняя стрела была израсходована. Оруженосец пристегнул медный щит из крепкой бычьей шкуры мне на левую руку, а правой я принялся размахивать двусторонним боевым топором, словно маятником, отсчитывая мгновения, которые еще должны были пройти, прежде чем можно будет подать сигнал на abordаж.

Капитан нашего «Ибиса» творил чудеса, и вот, наконец, открылся бок александрийского адмирала, и долгожданный момент настал. Я взмахнул топором, надсмотрщики зарычали, жестокие кнуты со свистом опустились на спины вспотевших, задыхающихся рабов, огромные весла согнулись, а «Ибис» дернулся вперед так, будто хотел выскочить из воды. Мы приготовились к удару, услышали грохот и треск весел александрийца, и крик гнева, смешавшийся с воплем торжества, когда наш тройной клюв вломился в его бок.

Наш высокий бак возвышался над палубой адмиральской галеры. Я измерил расстояние и одним могучим прыжком перепрыгнул через острия копий, выстроившихся вдоль фальшборта. Когда я приземлился на палубу, старый боевой клич, который в последний раз эхом отдавался от стен тронного зала Тигра-Владыки, громко и яростно вырвался из моей груди, и лезвие моего топора пронзило щит, шлем и череп крепкого римского воина, который в ужасе отпрянул от моего дикого прыжка.

В следующее мгновение меня окружили. Мой добрый топор сверкал длинными широкими кривыми над моей головой, и в конце каждого поворота он попадал точно, и человек падал, чтобы никогда больше не шевельнуться. Клянусь славой Бэла, у них не хватало духу для таких сражений, у этих изнеженных воинов Греции и Египта с их жалким оружием и слабыми руками! Боги! Я мог бы сразиться с тысячью, если бы они захотели постоять за свою землю, но они не стали.

Им хватило коротких десяти минут. Позор им, они сломались и бежали, как овцы, а я, бросив щит оруженосцу, который к этому времени с отрядом абордажников с «Ибиса» последовал за мной, схватил топор обеими руками и гонялся за трусами вверх и вниз по палубе, смеясь и крича им, чтобы они остановились и сражались как мужчины, но с таким же успехом я мог бы кричать на свору собак на улице.

Наконец, сзади я услышал слабый крик: «Ахилла!» — и, обернувшись, увидел роскошного с головы до ног грека в великолепных доспехах, который держал перед собой огромный щит и крался ко мне с мечом. Три быстрых шага — и мой красный, мокрый от крови топор взлетел, но прежде чем он опустился, сердце труса растаяло, меч и щит со звоном упали на палубу, и он вскинул руки, плача и дрожа:

— Пощады! Пощады! Люди не могут сражаться с богами, я сдаюсь!

— Ах ты, шавка! — бросил я, опустив топор и положив руки на рукоять. — Трусливый пес и убийца! Где нож, пронзивший шею великого Помпея? Ты способен ударить царя в спину. Подними свой меч и щит, и покажи нам, как ты ударишь врага спереди!

Но трус не сделал ни малейшего движения в мою сторону. Он стоял, дрожа в своих величественных доспехах, и наконец, сумел выдать из себя:

— Нет, я сдался, господин. Я и мой корабль — твои.

— Тогда, — сказал я, — если ты мой, прикажи своему капитану, чтобы он дал сигнал флоту сдаться вместе с тобой, или, клянусь глазами Иштар, я повешу тебя на твоей же мачте, и это и станет для них сигналом.

Чтобы спасти свою жалкую жизнь, трус подал сигнал, хотя, как оказалось, в нем не было особой нужды, так как все это время по всей линии бушевала жаркая битва, и то, на что мы рассчитывали, свершилось. Наши люди, охваченные триумфальным исступлением от зрелища моей схватки, сражались так, как никогда прежде, и по всем александрийским кораблям разнесся слух, что какой-то бог спустился на землю и сражается за Клеопатру.

Когда александрийцы увидели сигнал с мачты адмирала, они поверили, что их командир погиб и что мы захватили его корабль, как оно и было на самом деле, и многие галеры развернулись и бежали из боя, чтобы укрыться в фортах на реке. Увидев это, я приказал нашим людям связать Ахиллу и доставить его на борт «Ибиса», а рабов оставить, чтобы они могли доставить его тонущий корабль к берегу. Вернувшись на флагман, я отвел Ахиллу на корму, где меня ждала Клеопатра, целая и невредимая, но бледная и дрожащая от волнения.

— Вот мой первый подарок тебе, о царица! — воскликнул я голосом, охрипшим от крика и безумия боя, которое все еще горело в моей крови. — Это Ахилла, адмирал Египта и убийца великого Помпея. Он твой, и тебе решать, убить его или оставить в живых.

Я схватил его за шею и поставил на колени перед ней. Мгновенно выражение благоговения, нет, почти поклонения, с которым она приветствовала меня, погасло в ее глазах. Она выпрямилась и посмотрела вниз на дрожащего труса, от головы до пят царица и вершительница судеб.

— Такой пес не стоит даже того, чтобы его вешать, — произнесла она таким холодным и безжалостным голосом, что по мне пробежал холодок, как от порыва ледяного ветра. — Пусть принесет хоть какую-то пользу, прежде чем умрет. Посадите его на цепь к одному из весел, он поможет нам грести в Пелусий.

Это была горькая участь для того, кто всего час назад был адмиралом сотни галер. Даже мне на мгновение стало его жалко, но слово царицы было сказано, и его увели, плачущего и ругающегося, сорвали с него воинские доспехи и приковали голым к весельной скамье вместо раба, погибшего под ударами плети. Потом Клеопатра повернулась ко мне, а я стоял на корме весь в крови с головы до ног, как мясник, только что вышедший из скотобойни с красным от лезвия до рукоятки топором, который я все еще держал в руке. Она сказала:

— О великий Осирис! Это было великолепно, мой богоподобный герой. С тех пор, как Геракл отправился на Олимп, такого сражения никогда не было. Но скажи, ты не получил ран за эти ужасные полчаса?

— Ран? — я рассмеялся. — Пара царапин на ногах и руках, полагаю, это все, чего могли достичь эти трусы с их жалким оружием. Клянусь Мардуком, если сейчас в мире нет лучших воинов, чем эти, я скоро посажу тебя на трон, перед которым склонятся все народы земли.

— Ах, — вмешался Амефис, стоявший рядом, — это были всего лишь наемники и александрийцы, смешанная кровь которых разбавлена буйством и излишествами. Тебе еще предстоит встретиться с римскими легионами и померяться мечами с Цезарем, но думаю, что даже они сломались бы под таким натиском, с которым ты обрушился на галеру Ахиллы. Клянусь славой Исиды, никогда не бывало в мире, чтобы один человек мог очистить палубу такой большой галеры своим оружием!

— Ну, что ж, — сказал я. — Это мы еще посмотрим, но сейчас нет времени на разговоры, поэтому мы должны приберечь красивые речи до сегодняшнего пира в Пелусии. Сюда, Пентар, — крикнул я капитану галеры. — Веди нас как можно скорее за теми кораблями, которые идут к устью реки, и дай сигнал остальным следовать за нами, а еще скажи моему оружейнику, чтобы приготовил несколько связок стрел и принес их на бак. И если ты, владычица Египта, захочешь посмотреть на стрельбу, я скоро тебе ее покажу.

— Я не могла бы найти лучшего времяпрепровождения, — улыбнулась она, собирая свои изящные одежды, прежде чем пересечь палубу.

И вот, когда галера набрала ход и понеслась в устье реки, через которое я проплыл с Циллой и Балкис тысячу лет назад, я снова занял свое место на баке и стал посылать стрелу за стрелой в переполненные палубы улепетывающих александрийцев. На море битва уже закончилась, корабли, которые не были потоплены или захвачены, сдались. Их экипажи были охвачены паникой, глядя на судьбу адмирала, и полны страха, что этот удивительный бог войны взмахнет и над ними своим боевым топором.

Итак, вступив в битву, имея только пятьдесят судов, теперь мы загнали в устье реки почти сотню, и одного за другим мы догоняли беглецов и топили их или выдавливали на берег, не давая пощады никому, кроме тех, кто сдался. Когда мы проходили мимо фортов, они приветствовали нас градом камней и дротиков из катапульта и других боевых машин, но это не причиняло особого вреда, так как расстояние было слишком велико, и мы проносились мимо них слишком быстро. Наконец, мы вошли в гавань Пелусия.

Здесь, на пристани, нас встретили войска, которые Ахилла оставил, чтобы преградить нам путь в город, и вскоре веселая игра рубки и удара началась снова. Несмотря на ливень стрел и дротиков, на дождь камней и пуль из пращей, которыми они осыпали нас, мы подтянули наши галеры к причалу, выбежали по абордажным доскам и бросились на них с топорами, мечами и копьями.

Я отдал топор оруженосцу, потому что моя рука зудела от желания снова сжать рукоять моего доброго старого меча, и вот так впервые сталь Армена снова сверкнула в бою в свете египетского солнца. И все же я должен сказать, что это была жалкая работа, потому что из всех хилых трусов, которых я когда-либо встречал в бою, эти несчастные египтяне и выродившиеся греки менее всего были достойны хорошей стали и крепкой руки.

Среди наших наемников был отряд численностью около пятисот человек — прекрасные высокие крепкие парни, все до одного со светлой кожей, голубыми глазами, румяными щеками и густыми желтыми волосами, которые почти соперничали по яркости с моими золотистыми локонами. Аемфис рассказал мне, что они были из народа, называемого готы, из какой-то далекой страны на севере, с которой римляне постоянно сражались. Они были вооружены короткими мечами, луками и тяжелыми топорами, и во время морского боя я заметил, что они всегда первыми оказывались на палубе противника и последними покидали ее.

Поэтому, пока мы двигались в гавань, я послал сообщение на другие корабли, чтобы готы прибыли ко мне, когда мы сойдем на землю, чтобы сражаться рядом со мной. Можете догадаться, как охотно они ухватились за эту честь, ибо, как один из них впоследствии сказал мне на варварской латыни, они все решили, что я — Один (боги, как знакомо прозвучало это давно забытое имя, когда он

произнес его!), который вернулся на землю, чтобы сломить мощь Рима и восстановить собственную империю^[15].

Поэтому, перебегая по абордажному настилу от корабельного фальшборта к причалу, я крикнул готов, и они бросились ко мне со всех наших кораблей, размахивая боевыми топорами и выкрикивая такие боевые кличи, каких я никогда прежде не слышал из человеческих глоток. Времени на то, чтобы выстроиться в боевую линию, не было, так как у нас было много дел, чтобы закрепиться на причале, но как только мы это сделали, места вскоре стало достаточно.

Первым же взмахом своего славного клинка я разрубил пополам по талии худощавого египтянина, стоявшего надо мной на причале и мешавшего пройти по абордажной доске. Когда две его половины упали по обе стороны доски, я ударил острием и вонзил меч в череп человека, стоявшего за ним, а затем, выдернув меч, послал третьего на землю обратным ударом щита, и следующий удар пришелся в воздух, потому что каждый из моих противников отпрянул назад, оставив вокруг меня широкий полукруг.

Именно в этот момент я позвал своих готов. Некоторые пробежали по доске следом за мной, другие перебрались на берег на веревках и цепях, так что примерно два десятка нас прочно заняли плацдарм и принялись за работу, пока остальные поднимались на пристань. Сначала это была короткая, резкая, кровавая работа, а потом они бежали. Мы охотились на них, как волки режут стадо овец, но мне стало стыдно использовать священную сталь в такой подлой работе, и поэтому я снова взял у оруженосца боевой топор и принялся весело махать им. Мои готы сражались и убивали, как дикие демоны (которыми они и были), а я разглядел в них прообраз отряда, чье имя должно было стать синонимом ужаса.

Они сражались короткими мечами в левой руке и боевыми топорами в правой, и лучших мясников я никогда не видел. Мы расчищали улицу за улицей, и через пару часов город был наш. Тем временем весть о нашей победе прилетела в наш лагерь, и все наши люди стекались оттуда в город, чтобы закончить то, что мы начали. В ту ночь, как я и обещал, мы с Клеопатрой пировали с нашими военачальниками по-царски, так как одержали две победы за один день и имели все основания веселиться.

Много кувшинов красного вина Коса мы опустошили во славу Египта и его будущей царицы, и еще больше могли бы опустошить под другие тосты, если бы в самый разгар веселья в порт не влетела легкая быстрая галера, принесшая роковую весть о том, что великий Юлий с 2500 ветеранами, триумфально разгоряченными славой Фарсалы, бросил якорь у Александрийского мола.

Глава 13. Разрушенная вера, разбитая надежда

Известие о прибытии Цезаря, хотя и ожидаемое, не было для нас радостной вестью, можете поверить. Еще два дня, и мы взяли бы Александрию, а недели хватило бы, чтобы сделать город неприступным. Но, как всегда, великий полководец двигался с неожиданной быстротой и, вместо того чтобы тратить время и силы на аванпосты, нанес прямой удар по ключевой позиции в Египте и, возможно, захватил ее без боя.

Позже мы узнали, что он прорвался в царскую гавань и закрепился во дворце Птолемеев на полуострове Лохия, который лежал к северу от царского порта, и частично в квартале Брухий на юге. Он также захватил александрийские галеры в порту, но Большая гавань Александрии и весь город, за исключением Лохии, все еще находились во владении Арсиной и двух ее оставшихся сторонников — евнуха Потина и негодяя Феодота, чьим первым посланием к Цезарю была отрубленная голова великого Помпея, человека, который был одновременно его соперником и другом, — подарок, который впоследствии принес Феодоту заслуженную смерть под пытками.

Из сказанного видно, что с нашей сотней галер на море, четырьмя тысячами вооруженных солдат и со всеми теми тысячами, которые мы ожидали поднять по всему Египту, чтобы сплотиться под победным знаменем царицы, нам было бы нетрудно запереть великого Цезаря с его небольшим войском в Лохии и заморить его голодом в плотной осаде, прежде чем остальная римская армия смогла бы добраться к нему из Фарсалы.

В ваших учебниках истории ничего не говорится о нашей морской победе и взятии Пелусия, и довольно мало о деяниях Цезаря в Александрии, но они рассказывают, что этот результат был почти достигнут даже наемниками под командованием Потина и Феодота. Они продержали его взаперти шесть месяцев, и даже его высочайшего военного гения едва хватило, чтобы спасти свою армию от уничтожения, а его самого от смерти. Если бы мы двинулись на Александрию в полном составе, как должны были бы сделать, если бы

не тот акт, о котором я сейчас расскажу (акт предательства и отступничества, столь непостижимый, что сам по себе был чудом), Египет был бы спасен, а покоритель мира побежден.

В тот вечер, примерно за полчаса до того, как новость о появлении Цезаря дошла до нас, Клеопатра удалилась отдохнуть во дворец правителя, который был приготовлен для нее, и я отправил ей эту весть через ее служанку гречанку Ирас. Как впоследствии рассказал Амемфис, эта гречанка всегда ненавидела и презирала Египет и считала египтян достойными быть лишь рабами своих греческих и римских господ. На следующее утро они с Клеопатрой исчезли, как и сирийская галера, доставившая весть в Пелусий.

Нет нужды рассказывать вам то, что к нашему стыду и ярости мы узнали вскоре. Вы знаете, как она отправилась в Александрию; как египтянин Стратон принес ее на плече ночью во дворец Цезаря, завернутую в сирийский ковер, словно тюк с товаром, и положил на его ложе; как суровый воин пятидесяти четырех лет, закаленный в битвах владыка Рима и величайший полководец, которого когда-либо видел мир, поддался изощренным чарам и всемогущей красоте девушки девятнадцати лет; как она продала себя и Египет ради благосклонности и покровительства Цезаря и таким образом нарушила клятву, которую дала Исиде в храме Птаха.

Но в то роковое утро мы ничего об этом не знали. Мы знали только, что она ушла, что наша царица, идол армии и флота бросила нас или была украдена, что, по правде говоря, было практически невозможно; что наша победа была уничтожена одним ударом, и что в будущем, которое казалось таким многообещающим, теперь для нас не было ничего, кроме недоумения и неопределенности. Было безнадежно пытаться сохранить дурную весть в тайне, так как новость о ее побеге уже распространилась, и по флоту и лагерю ходили всевозможные слухи.

Весь этот день мы потратили на ремонт повреждений, полученных нашим флотом и захваченными галерами, и на подготовку войск к походу на Александрию, ибо, Цезарь или не Цезарь, я решил предпринять комбинированную морскую и сухопутную атаку, если люди и корабли пойдут за мной. Но ближе к вечеру в каюту «Ибиса» вошел Амемфис и, не отвечая на приветствие, встал, качая головой,

ломаю руки и бессмысленно глядя на меня; из его глаз по морщинистым щекам обильно текли слезы.

— Что случилось, Амефис? Что с ней? — вскричал я. — Если ты принес новости, то плохие, как я вижу, так что не говори мне, что это о царице!

— О царице... о царице! — воскликнул он, внезапно раскинув руки. — Нет, не о царице, ибо, клянусь славой Исиды, в Египте больше нет царицы и никогда не будет, пока ее имя не будет забыто. О, горе мне! Что я наделал! Это мой грех, и вот как она отплатила за него! Я, жрец Египта и главный служитель Амона-Ра, был искушен колдовством ее блестящего ума, я открыл ей тайны запретные для всех, кроме тех, в чьих жилах течет кровь жрецов или древнего царского рода Египта. Я пытался посадить на трон Менеса ту, чьи вены осквернены македонской кровью. Я думал предать ей Египет, а она предала и меня, и Египет. И все же боги знают, что мои помыслы были чисты и что я сделал это ради блага.

— Но что она сделала, Амефис? Что это за предательство, о котором ты плачешь? Что же такое совершила Клеопатра?

— Терай из Армена, мое чудо и моя надежда, — произнес он, обхватив мою правую руку обеими холодными и дрожащими руками. — Известие, пришедшее ко мне, будет столь же печально для тебя, как и для меня. Ты смотрел с любовью в ее роковые глаза и мечтал вместе со мной о троне, который вы должны были разделить с ней. А теперь — увы, конец светлым надеждам вчерашнего дня! Ты должен узнать, что прошлой ночью, следуя, я не сомневаюсь, злым советам своей лживой греческой служанки, она тайно отправилась в Александрию и позволила египетскому предателю отнести себя во дворец Цезаря.

— Что? — воскликнул я, вырвав руку и отступив на шаг. — Во дворец Цезаря? Нет, нет, ты бредишь, Амефис! Это неправда. Это слишком ужасно, чтобы в это можно было поверить!

— Нет, говорю тебе, это правда, — ответил он тонким, дрожащим голосом. — И не просто во дворец Цезаря, но и в его покои. И та, которая еще вчера могла стать царицей Египта, теперь стала блудницей, которая сама продалась Цезарю, стала наложницей самого безжалостного из наших господ. Это, как ты говоришь, слишком

ужасно, чтобы поверить, но — да помилуют нас боги и да осудят ее! — это правда, ужасная правда. Горе Египту и нам!

Пока он говорил, его голос сорвался в пронзительный, дрожащий крик, похожий на вопль боли, а затем стих в скулящий стон. Он опустился на сиденье и, закрыв лицо руками, раскачивался из стороны в сторону, в то время как я ходил взад-вперед по узкой каюте, стиснув до боли руки и с гневом в сердце спрашивая себя, какой виной я навлек на себя такой горький удар, и пытаюсь придумать, как отомстить за него.

Тогда я спросил, известна ли эта новость в армии и на флоте, и если да, то какой эффект она произвела. Все еще стена между словами, Адемфис ответил, что к этому времени все уже знают об этом, так как много наших друзей прибыли из Александрии в надежде убедить нас пойти войной на город и отомстить за позор Египта.

Но, воистину, воля богов была против этой древней страны, ибо как только стало известно о предательстве Клеопатры, наши люди начали дезертировать сотнями, проклиная ее имя и моля пустые небеса отомстить ей, но не думая в своих непостоянных, трусливых сердцах о том, чтобы отомстить самим. Пока победа была с нами, все было хорошо, и они пошли бы за нами куда угодно. Но теперь их царица предала их римлянам, и страх перед именем великого Цезаря тяжким грузом лег на их трусливые души.

Наши полки растаяли. Люди либо рассеялись на юг по домам, либо отправились поодиночке в Александрию, чтобы дожидаться поворота событий и посмотреть, выйдет ли в конце концов победителем Цезарь или Потин, Клеопатра или Арсиноя. Я понял, что нельзя терять времени, если нужно хоть что-то спасти. Я знал, что Цезарь в настоящее время заперт, но я не знал ни о силе армии и флота, которые осаждают его, ни о том, как скоро их отряд сможет обрушиться на наши трусливые истощающиеся силы в Пелусии.

Более того, кончилась моя недолгая мечта, разбитая подлым предательством той, что снова пересекла мой путь в образе Илмы, но с черным лживым сердцем Балкис в груди.

— Что для меня теперь Египет? — в гневе бросил я Адемфису, узнав, как обстоят наши дела. Зачем мне сражаться за страну, чьи выродившиеся сыновья — трусы и слабаки, у которых не хватает

мужества вырвать шею из-под пяты чужеземного хозяина? Разве море не открыто, а мир не широк, и удача не где-то там, где ее можно взять?

Какая мне разница, кто правит в Александрии — Цезарь или евнух? И является ли та прелестная грешница, которая предала нас, содержанкой Цезаря или вассальной царицей Египта? Поистине, это уже не имело значения. В ту ночь я отправил Адемфиса на хорошо укомплектованной галере вверх по Нилу к его дому среди полуразрушенных храмов его исчезнувших богов, и принялся спасать для себя то, что мог, из обломков того, что мы выиграли.

— Прощай, Терай, — сказал он, когда я в последний раз обнял его на палубе. — И все же мы встретимся снова, прежде чем закончится эта новая жизнь, которую боги дали тебе с моей помощью. Я уйду, чтобы принять наказание за самонадеянность. Меня ждут долгие, томительные годы раскаяния и ожидания того, что должно случиться. Когда мы встретимся снова, твои золотые локоны станут такими же тонкими и седыми, как моя борода, а твое могучее тело — изможденным и сморщенным, и едва способным держать вес того, что от него останется. Но у тебя может быть много счастливых лет между сейчас и потом, так что прощай, и пусть боги даруют тебе славу и богатство по твоим заслугам!

Мы расстались, но однажды мы действительно встретились с ним снова.

А пока я вернулся в гавань, где стояли галеры, и вызвал к себе Хато, предводителя готов, о которых я говорил раньше. В нескольких словах я откровенно рассказал ему, как обстоят дела, и спросил, не желает ли он с товарищами помочь мне забрать лучшие галеры и последовать за мной в поисках фортуны.

— Следовать за тобой, мой господин? — он громко, от души рассмеялся. — Конечно, мы пойдем за тобой до самого края преисподней, и кроме готов в армии и на флоте есть пятьсот или шестьсот крепких парней — скифов, галлов и иберийцев, которые тоже пойдут. Каждый из них — это крепкий морской волк и голодный боевой пес, они пойдут вместе с нами в любое место, где есть череп, который нужно расколоть, или мешок с добычей, которую нужно захватить. Если кажется, что мир переворачивается с ног на голову, то нет никаких причин, почему сильные руки и храбрые сердца не могут

отвоевать что-нибудь для себя, так что тебе остается только вести, мой господин, а мы пойдем за тобой охотно и резво.

Его слова совпали с моим настроением, и поэтому, хлопнув его по плечу, я тут же произвел его в капитан-лейтенанты, велел приступить к работе и подготовить все к выходу из гавани к полуночи. Он решительно взялся за дело и вскоре собрал на пристани для смотра такую многообещающую стаю морских волков и боевых псов, какую только мог бы пожелать увидеть любой капитан пиратов — добрая тысяча мужчин в расцвете сил и боевой готовности, полных восторга при мысли о том, что герой вчерашней битвы поведет их к славе и добыче.

Мы забрали десять самых быстрых и сильных галер и набили их скамьи самыми крепкими рабами, каких только смогли найти, а потом без зазрения совести обшарили остальные корабли в поисках оружия, провизии и военных припасов для снабжения нашей эскадры.

В качестве личного корабля я взял «Ибис», самое крепкое и быстрое судно, уже испытанное мной, и переименовал его в «Илму», в память о той, за чье дело мой меч впервые пролил кровь. Когда я укомплектовал его ста двадцатью отборными готами, мы вышли из устья реки, и вот я, сражавшийся с Нимродом за корону Ашшура, друг и гость Тигра-Владыки и великого Соломона, а также законный супруг царицы Савской, на время простился с мыслями о короне и царском достоинстве и отправился, как простой пират, с десятью галерами и тысячью с лишним морских волков на поиски того добра или зла, которое фортуна уготовила мне в грядущие дни.

Никто не попытался препятствовать нам, потому что правда, хотя и не слишком лестная для нас, заключалась в том, что Пелусий был рад избавиться от нас такой невысокой ценой, с учетом того, что мои готы и их союзники могли бы очистить город от всего, что можно было бы забрать, и сжечь перед отплытием все оставшиеся суда.

Первым моим приказом было поднять паруса при благоприятном юго-восточном ветре и взять курс на Александрию, так как я твердо решил не покидать Египет, не увидев знаменитого города и, если возможно, самого Цезаря, потому что я так много слышал о его величии и завоеваниях, что мне было бы жаль находиться на расстоянии ночного перехода от него и уйти, не повидав величайшего

человека, когда-либо рожденного из вечно плодородного чрева времени.

Утром, ближе к концу первой вахты, яркий свет на вершине маяка Фароса начал бледнеть в лучах рассвета. Тогда мы изменили курс и взяли в море, все еще держа город в поле зрения, и с бака «Илмы» я наблюдал, как солнце поднимается над белоснежными мраморными зданиями, сверкающими крышами дворцов и храмов и сияющими памятниками города, который был тогда царицей морей. Это было поистине удивительное зрелище, ведь в те дни Александрия была в самом расцвете, наделенная всем великолепием, которое подарили ей триста лет процветания.

Как только рассвело, мы осторожно прошли мимо мыса Лохия, пока на другой стороне мола, охранявшего частную гавань дворца, не увидели корпуса двенадцати больших римских трирем, возвышающихся над водой. Этот флот, как объяснил Хато, мог бы раздавить нас, как яичную скорлупу, потому что римская трирема тех дней была тем же, чем был английский трехпалубный корабль во времена Нельсона или закованный в сталь линкор наших дней — противник, с которым нельзя просто столкнуться, разве что имея равную или превосходящую силу.

Поэтому мы отвернули и двинулись к Фаросу, пока не открылась Большая гавань и мы не увидели внутри акватории Посейдия и вдоль длинного мола, который красноречиво назывался Гептастадий^[16], огромный рой судов всех размеров, от двухпалубных галер до легких прогулочных судов, на которых александрийские влюбленные совершали вечерние прогулки под луной.

Мы недолго наблюдали за ними, как вдруг заметили, что между ними расчищен проход, и из него появилась большая галера под синим царским штандартом. Такой же штандарт развевался на флагштоке на Лохии, потому что в то время в Александрии были и царь, и царица, и каждый вывешивал флаг, бросая вызов другому. За галерой последовала длинная вереница других, всего мы насчитали сорок судов, и когда они выстроились и двинулись вокруг Посейдия к молу частной гавани, мы поняли, что прибыли как раз вовремя, чтобы понаблюдать за событиями напряженного дня и, возможно, принять в них участие.

Но то, что вы теперь назвали бы нашим вооруженным нейтралитетом, не продлилось долго, потому что, видя, что мы лежим на рейде, не подавая сигналов и не поднимая флага, из Большой гавани выслали легкую галеру, чтобы узнать наши намерения, и я, стараясь не показываться на глаза, велел Хато заявить, что мы не греки, не римляне и не александрийцы; что мы здесь для собственного удовольствия и намерены оставаться столько, сколько пожелаем, и уйдем, когда сочтем нужным.

Это, по-видимому, не соответствовало их планам, потому что, когда галера доставила сообщение, из гавани за волнорез, который тянулся на юг от Фароса, вышел свежий отряд из пятнадцати кораблей — двух- и однопалубных галер с развевающимися флагами, ревущими трубами и визжащими флейтами. Он направился к нам, явно намереваясь захватить или выгнать из гавани.

Так как я знал, что мои люди жаждут схватки хоть с каким-нибудь врагом, я был очень рад увидеть, что александрийцы «повелись» на нашу провокацию, и велел оруженосцу принести на бак мой лук со стрелами. Первая стрела с шипением вошла в сердце высокого парня, который управлял передней галерой; потом я послал стрелу в группу лучников на баке и пришил ей сразу двоих, а затем, когда галера за галерой подходила в пределы досягаемости, я снимал рулевого и тех, кто оказывался самым приметным на палубе.

Оценив дальность и убойную силу моего лука, они быстро сообразили, что их противник — никто иной, как победитель Пелусия, и так как в город дошли самые дикие слухи о моих подвигах, то решительность их наступления стала заметно ослабевать по мере того, как они приближались к нам.

Мои морские волки сразу это заметили, и когда я отдал команду атаковать, они разразились таким яростным и диким криком ликования, а наши корабли ринулись на них с такой бешеной скоростью, что шестеро из пятнадцати александрийцев развернулись и помчались обратно в гавань со всей возможной скоростью, сопровождаемые проклятиями командиров и взрывами смеха, смешавшимися с нашими боевыми криками.

Мы обрушили на тех, кто остался, град стрел, а затем врезалась в них и взяли на abordаж. Я выбрал самый крупный корабль в качестве жертвы тарана «Илмы», и когда тройной клюв вонзился в брюхо

корабля, раскалывая доски корпуса, мы с Хато бок о бок вскочили на борт, сопровождаемые пятьюдесятью нашими самыми грозными готами, и боевые топоры заработали, как молоты в кузнице. Греки и египтяне, нубийцы и сирийцы падали как дети, играющие в солдатиков.

Через полчаса все, что осталось от их отряда, было нашим — не слишком большое достижение, уверяю вас, потому что из всех воинов многих народов, с которыми я сражался, эти беспородные александрийцы в бою были худшими трусами и самыми жалкими слабаками. Но от этой атаки была и польза: она помогла решить, на чью сторону встать в их ссоре, и дала мне возможность, как вы увидите, отплатить моей лживой возлюбленной за ее предательство и вероотступничество таким образом, которого она вряд ли ожидала.

Как только была захвачена последняя галера, мы расковали рабов и бросили их за борт, чтобы дать несчастным шанс спастись, и так как ветер устойчиво дул в Большую гавань, мы подняли паруса восьми оставшихся на плаву галер, развели на их палубах большие костры и послали охваченные ревушим пламенем суда в толпу кораблей, сгрудившихся у Гептастадия. Надо было видеть, как бежали их экипажи, когда пылающие суда кружились среди них, а голодное пламя вырывалось наружу и лизало корабль за кораблем, пока вся линия большого волнореза не превратилась в одну огромную стену огня.

Сорока галерам, вышедшим в атаку на дворцовую гавань, теперь не оставалось иного выбора, кроме как идти дальше, так как отступить можно было только в эту ревущую топку, а для того чтобы выйти в открытое море, они должны были пройти сквозь пасти моих морских волков, а после того, что они видели, этот путь не мог им понравиться.

Но на их пути стояли мы, и, желая того или нет, они должны были сразиться с нами, потому что, как только римляне увидели, что мы сделали, и, рассчитывая на нас как на хороших, хотя и неизвестных союзников, они сбросили цепь, преграждавшую вход в гавань, и одна за другой огромные величественные триремы двинулись на александрийский рой, вспенивая воду могучими веслами и с каждым ударом набирая ход. Это было доблестное зрелище — хищные корабли, летящие к своей жертве; их палубы блестели и сверкали шлемами, доспехами и оружием суровых римских солдат. Глядя на

них, мои люди плясали и кричали от восторга, и смотрели на меня яростно-нетерпеливыми глазами, пока я не решил, что настал подходящий момент. Тогда я произнес слово, которое снова выпустило на свободу их яростную храбрость.

Глава 14. Аве, Цезарь!

Когда мы навалились на фланг александрийцев, навстречу нам вышло около двух десятков их галер. Снова разразился ураган стрел и град дротиков, пока с грохотом бревен и треском весел мы не ворвались в самую гущу и не принялись за работу топором и мечом. Шаг за шагом мы пробивались сквозь них, пока не вступили в главное сражение, и тогда я впервые увидел мрачное, организованное великолепие римской фаланги.

Большая трирема возле «Илмы» только что пробилась между двумя двухпалубными галерами александрийцев. Палубы триремы были заполнены людьми, но каждый был на своем месте, и их ряды были такими же безупречными и безмолвными, как если бы они были выстроены на плацу. Большие абордажные платформы, прикрепленные к бортам, были подвешены на веревках к мачте, и как только на носу и корме александрийцев были закреплены захваты, я услышал короткую, резкую команду, большие платформы с грохотом упали на палубу, и по ним быстрыми, ровными шагами промаршировали две тройные шеренги воинов с плюмажами, стена из меди и стали, оцетинившаяся остриями копий.

Александрийцы бросились на них один раз. На мгновение они запутались между остриями копий, движущаяся стена остановилась на мгновение, а затем снова двинулась вперед, топча ногами убитых и раненых. Затем строй разломился посередине, две половинки двинулись от центра наружу и очистили галеры от середины до носа и кормы, не оставив на борту ни одного живого существа, кроме рабов внизу, прикованных цепями к весельным скамьям.

Я никогда не видел подобного боя. Это была мрачная, безмолвная, ужасная работа, и, глядя на нее в изумлении, я понял, что раскрыл тайну господства Рима: он сочетал порядок с силой и храбростью, и это делало его неодолимым.

Но вскоре мое оцепенение было прервано атакой александрийской галеры, которая, прорывшись сквозь воду, вонзила клюв в корму триремы. Человек в доспехах, покрытый плащом из алой ткани, который стоял на высокой корме триремы, руководя сражением,

потерял равновесие, когда ударила галера, и упал в воду вниз головой. Крик «Цезарь!» вырвался из сотен римских глоток, а сирийский лучник на александрийской галере издал восторженный вопль, приставил стрелу к луку и застыл, ожидая, когда появится алый плащ.

Плащ всплыл, и лучник вонзил в него стрелу, но человек, который был в плаще, всплыл в трех метрах от него, и к этому времени клюв «Илмы» уже был в боку александрийца.

Седая, коротко стриженная голова показалась над водой во второй раз, как раз за лопастями наших весел, и я заметил, как египтянин на палубе александрийца вытащил меч и зажал его в зубах, собираясь прыгнуть на пловца.

Рядом со мной на палубе лежал топор, владельцу которого он больше был не нужен. Я поднял его и швырнул в египтянина с такой силой и уверенной точностью, что лезвие его же меча вошло ему в череп, и когда он упал замертво, я крикнул Хато, чтобы он взял веревку, а сам снял шлем, побежал на корму и спрыгнул в воду рядом с Цезарем, который истекал кровью из раны в голове от брошенного в него камня и, наполовину оглушенный, едва держался на воде.

Я схватил его за руку, а рядом Хато громко плюхнулся в воду. В зубах у него была веревка, которой он крепко обвязал Цезаря под руками, и нас троих потащили назад, пока мы не смогли взобраться на весла, а оттуда на палубу «Илмы» под радостные крики римлян, которые быстро очищали палубы александрийцев. Мы отвели Цезаря в каюту, перевязали его рану и дали глоток вина, которое быстро привело его в чувство.

Когда он поднялся с кушетки, на которую мы его усадили, у меня появилась свободная минутка, чтобы рассмотреть его. Это был невысокий, почти тщедушный человек худощавого телосложения. Действительно, когда я поднимал его на борт корабля, он показался не тяжелее большого ребенка, но даже когда он стоял весь мокрый и грязный, в нем было что-то большее, чем царское достоинство — сдержанное ощущение власти, что заставляло меня, хотя я возвышался над ним на добрую голову и плечи, инстинктивно чувствовать, как будто я стою перед хозяином.

— Нет нужды спрашивать имя того, кому я обязан жизнью, — сказал он, протягивая руку. — Ты — Терай из Армена, удивительный пришелец в наш мир, о котором мне рассказала Клеопатра. Я не стану

спрашивать, почему ты спас человека, к которому она бежала, когда бросила тебя. Достаточно будет сказать, что ты подружился с Цезарем и, следовательно, с его любовницей Римом.

— Ну, не ради любовницы Цезаря Клеопатры, — рассмеялся я, отвечая на его рукопожатие, — потому что, по правде говоря, благородный Цезарь, у меня было желание дать тебе утонуть из-за нее, но потом пришла другая, лучшая мысль — мысль о позоре, который постигнет меня, если я позволю изменить судьбу мира ради распутной женщины, и поэтому с помощью Хато я вытащил тебя.

Он посмотрел на меня, улыбнулся (улыбка у него была нежная, как у женщины) и сказал:

— Тем не менее, за эту вторую мысль я благодарю тебя от имени Рима, и когда битва закончится, Клеопатра тоже поблагодарит тебя. А теперь пойдем посмотрим, как идет сражение.

Когда мы вышли на палубу, сражение уже закончилось, и только десяток разбитых обломков плавал в гавани, и несколько галер, оставшихся от александрийского флота, удирали в сторону моря, преследуемые по горячим следам моими морскими волками. Цезарь тотчас же сошел на берег, и я вскоре последовал за ним, приведя себя в порядок после боя.

На пристани меня ждала преторианская стража, чтобы провести меня во дворец, и когда я присоединился к ним, мой военный костюм был таким же нарядным, а шлем, меч и кольчуга такими же яркими и безупречными, как у рыцаря в день его первой битвы. Но боевой огонь уже погас в моей крови, и я молча следовал за охраной, объятый холодным и горьким гневом, думая только о позоре, который навлекло на меня и на Египет предательство прекрасной распутницы, к чьему продажному трону я шел.

Когда бронзовые двери зала для аудиенций распахнулись, и я вошел в сопровождении почетного караула, я не увидел ни великолепия покоев, ни сверкающей толпы, которая стояла по обе стороны и смотрела на меня во все глаза.

Я видел только Клеопатру в короне, восседающую на троне в притворно-царственном виде, и седого морщинистого Цезаря, ее любовника и повелителя (о, боги! лучше бы он был ее отцом), сидящего в кресле рядом с вассальным тронном, который она купила ценой своей чести.

Когда я приблизился, не сводя глаз с ее прекрасного лживого лица, оно вспыхнуло от подбородка до лба алым оттенком стыда, а затем стало бледным и серым, как пепел сгоревшего костра. Но она овладела собой, а ее гордый дух снова поднялся под натиском всех этих глаз, которые смотрели на нее, и, протянув руку для поцелуя, сказала, как царица могла бы говорить с отличившимся слугой:

— Мы благодарим тебя от имени Египта, мой господин Терай, за большую услугу, которую ты оказал сегодня нам и нашему благородному союзнику.

Я лишь на мгновение коснулся ее руки, но успел почувствовать, что она холодна, как рука мертвеца, и не поднес ее к губам, потому что раньше, чем поцеловать, я раздавил бы ее в своей хватке. В ответ я сказал, глядя прямо в сжавшиеся, остановившиеся глаза, которые я держал в плену все это время:

— Милость царицы Египта слишком велика. Я всего лишь бедный бездомный бродяга, и мы с моими морскими псами вступили в бой только из любви к сражению и потому, что александрийцы напали на нас первыми. Что же касается благородного Цезаря, то царице Египта не нужно говорить, что служение ему не может иметь более высокой награды, чем честь самого служения, хотя сама по себе эта служба не имеет большой чести.

Она быстро уловила скрытый смысл моих гладко произнесенных слов, потому что снова побледнела и опустила глаза. Немного помолчав, она заговорила снова:

— Тогда, если это так, а это действительно так, не можем ли мы надеяться, что мой господин Терай и его доблестные последователи присоединятся к нам в битве, которую наши неверные подданные заставляют нас вести за наши права и наш трон? Такие храбрые сердца и сильные руки были бы нам сейчас очень кстати, не так ли, мой Юлий?

Боги! Я мог бы убить ее на месте за эти два ласково сказанных слова, но, когда я перевел взгляд на Цезаря и увидел, как его суровые глаза смягчились и засияли, словно свет ее любви вспыхнул в них, я вспомнил, что если она продала себя, то завоевала больше, чем египетский трон, так как этот мужчина, владыка Рима и повелитель мира, полюбил ее и положил свое сердце к ее ногам, в то время как

весь мир лежал у его ног, и поэтому на мгновение я забыл гнев и сказал на этот раз на магическом языке:

— Нет, царица Египта, это и невозможно, и не нужно. У меня нет ни доли, ни удела в стране Хем, ибо клятва, которую я дал, расторгнута, а та, чьим союзником является Цезарь, не нуждается в другом защитнике. Я останусь только до тех пор, пока мои корабли не будут приведены в порядок, и тогда я больше не смогу держать на привязи моих морских псов.

— Что это за язык? — спросил Цезарь, резко подняв голову. — Такого я еще никогда не слышал.

— Тогда, — ответил я с коротким смешком, — тебя ждет великое удовольствие, благородный Цезарь, так как ты узнаешь его позже в часы досуга из самых прекрасных уст, когда-либо превращавших человеческую речь в музыку.

— Изысканная речь, — улыбнулся Цезарь, — и так красиво завернутая, не хуже, чем на греческом или персидском языке. Но теперь, может быть, ты переведешь для меня, потому что я был бы рад узнать твой ответ на вопрос царицы, и если вы останетесь с нами, то не найдете ни недостатка в чести, ни неблагодарности Рима.

Я перевел ему то, что сказал Клеопатре, и, хотя он настаивал, чтобы я передумал, я остался тверд в своем отказе, потому что предпочел бы быть разрубленным на куски перед ней, чем вынести позор служения прекрасной изменнице, которая так бесстыдно восседала на троне, купленном ценой собственной чести и надежды Египта.

В ту ночь меня поселили во дворце, и не успел я заснуть, как меня разбудила чья-то легкая рука на плече. Я открыл глаза и увидел Ирас.

— От царицы, — сказала она и положила маленький свиток мне на грудь. — Я буду ждать господина у двери.

Я развернул свиток и прочел при свете лампы:

«Приди ко мне, потому что я должна сказать то, чего не могу сказать в присутствии Цезаря или праздных ушей двора. Ирас проведет тебя. Цезарь спит.

Клеопатра».

Если бы я повиновался этому посланию, как это было моим первым побуждением, и поддался бы снова роковым чарам той, что послала его, вся история Рима и Востока с того дня могла бы быть написана иначе, чем она есть. Но следующей моей мыслью был глубокий и горький гнев, и холодное презрение за бесстыдство этого письма, присланного в такое время. Поэтому, отправив рабыню, спавшую за дверью, за тростниковым пером и чернилами, я написал на том же свитке под ее письмом следующие слова:

«Терай из Армена и Клеопатра из Египта не встретятся снова, пока Исида не потребует наказания за клятву, принесенную в храме Птаха».

Я с таким суровым видом отдал свиток Ирас с приказом отнести его госпоже, что она испуганно отпрянула от меня, и когда она исчезла во мраке длинного коридора с колоннами, я оделся, вооружился и вышел на причал, где стояли мои галеры, так как к этому времени я уже достаточно хорошо знал египетские обычаи, чтобы быть уверенным, что после такого сообщения я больше не смогу спокойно спать в Лохии.

Цезарь уже дал мне гарантию неприкосновенности, назвав меня и моих товарищей друзьями Цезаря и союзниками Рима, и это открыло для нас гавань без всяких вопросов. Я оставил ему письмо, в котором попрощался и дал объяснение истинной причины моего внезапного отъезда. А мы на хорошо оснащенных и нагруженных припасами галерах отправились искать счастья на море. А теперь я должен поспешить рассказать вам, как исполнилась то, что я написал в моем ответе Клеопатре, и как мы встретились с ней еще один и последний раз.

Глава 15. От Акциума до Голгофы

Прошло почти семнадцать долгих лет. Для меня это были годы скитаний по морю и суше, годы сражений и пиршеств, грабежей и набегов, побед и поражений; для нее это были годы великолепного позора и золотого зла, а для мира — годы борьбы, преступлений и заговоров, результаты которых все еще живут и действуют для вас. Великий Юлий пал под кинжалами убийц. Октавиан быстро поднялся, чтобы занять его место, и они с Антонием собирались начать короткую и смертельную борьбу за Римскую империю и господство над миром. Нет нужды говорить вам, на чью сторону я встал с тридцатью крепкими галерами и тремя тысячами морских бродяг, которые теперь сражались под моим предводительством, потому что на одной стороне был суровый Октавиан, приемный сын и законный наследник Цезаря, а на другой — прелюбодей Антоний и дважды продавшаяся блудница Клеопатра; и благодаря этому выбору я, Терай, скиталец сквозь века, выпустил, как вы увидите, стрелу, изменившую историю мира.

По вашему исчислению, это было утро 2 сентября 31 года до пришествия Христа. На берегу Эпира у Амвракийского залива Октавиан стоял лагерем с восьмьюдесятью тысячами пехотинцев и двенадцатью тысячами всадников, прикрываемых флотом из пятисот галер, больших и малых, для которых я и мои морские псы были глазами и ушами. На акарнанийском берегу к югу расположился Антоний с войском в сто тысяч пехотинцев и двенадцать тысяч всадников, под защитой флотилии больших галер, контролирующих узкий пролив между заливом и морем.

Накануне и утром был мертвый штиль, но ближе к полудню с востока подул бриз, и тогда мы увидели зрелище, которое не обрадовало ни одно сердце во всей нашей огромной армии так, как обрадовало мое, потому что огромные паруса больших галер начали движение из узких вод в знаменитый залив Акциум.

Октавиан поднялся на борт утром. Наш флот стоял на севере, поделенный на две части — одной командовал Император, а другой Агриппа, в то время как я со своими морскими волками, скулящими от жажды боя и добычи, стоял на правом фланге, выжидая удобного

случая. Если бы вы увидели оба флота в тот момент, когда выходили могучие галеры Антония, то вы вряд ли подумали бы, что мы можем победить; но простая сила не всегда гарантирует господство, как мы доказали еще до того, как закончился этот смертоносный день.

На нашей стороне был рой легких либурнийских галер, которые были тогда самыми быстрыми из всего, что плавает, и когда началась битва, они набросились на большие медленно движущиеся деревянные замки, как волки на стадо скота. Затем наши две половины флота двинулись вперед, а либурнийцы сновали между большими галерами, ломая их весла и осыпая стрелами солдат, толпившихся на палубах Антония.

Когда два флота сошлись и боевые машины на их палубах начали градом швырять друг в друга камни, свинцовые пули и дротики, я повел своих морских волков на юг, где развевалось царское знамя Египта.

Ветер дует с севера, — сказал старый Хато, который все еще был моим любимым заместителем. Мы подошли ближе, и я разглядел среди александрийцев величественную галеру, фальшборт которой был покрыт золотом, а на палубе у мачты стояла великолепно одетая, увенчанная диадемой Исиды женщина, которая вернула меня к жизни, чтобы заново научить меня горечи, которая хуже смерти.

— А что, если царица испугается и эти галеры — добрых шесть десятков, не так ли? — выйдут с этим северным ветром из боя? Что тогда, мой Хато? — спросил я.

— Мы быстрее выиграем день, но потеряем славную добычу, — ответил старый морской пес с усмешкой, наполовину обнажившей клыки.

Ничего не говоря, я прошел в свою каюту, взял полоску пергамента и написал на ней магическим письмом:

«От Терая из Армена Клеопатре, царице-блуднице, приветствую.

Глаза Исиды устремлены на тебя. Какова вера твоя, такой будет и милость ее или суд ее, согласно клятве твоей. Хаторы ждут в чертогах Осириса, и слова судьбы записаны в Книге мертвых».

Я крепко обвязал пергамент вокруг стрелы, поднялся на бак и приложил стрелу к луку. Великолепная фигура все еще стояла у мачты. Теперь мы были гораздо ближе, и я видел Клеопатру так же ясно, как она меня. Когда я поднял лук, трое мужчин бросились к ней, чтобы

прикрыть щитами. Я натянул тетиву и послал стрелу. Она ударилась в мачту в фюте над щитами и застряла там, раскачиваясь. Я увидел, как они вытащили ее, а потом распорядился вернуться в главное сражение.

Не успели мы пройти и двухсот метров, как огромные пурпурные паруса галеры Клеопатры были подняты и развернуты к северному ветру. Галера неслась все дальше и дальше на юг, а затем поднялись все остальные египетские паруса, и весь флот из шести десятков могучих галер с грузом трусливых сердец вышел из боя и направился из бухты вслед своей убегающей царице.

С флота Антония донесся такой вопль ярости и отчаяния, что заглушил даже рев сражения. Мгновение спустя в ответ раздался громкий триумфальный возглас римского флота, а я отдал долгожданный приказ морским волкам и выпустил их на добычу. Когда мы приблизились, одна легкая быстроходная галера отделилась от толпы и устремилась за флотом Клеопатры. Клянусь богами, я отдал бы половину своей эскадры, чтобы узнать тогда, что на ее борту находился тот самый одурманенный негодяй, который бежал с поля боя, на котором он еще мог бы завоевать мировую империю, но предпочел объятия своей распутницы, в которых нашел только больший позор.

Но я ничего не знал об этом, пока мы работали мечом и топором в течение почти часа, и только тогда по флотам прокатился крик, что Антоний бежал. После этого наша работа стала легкой, потому что мы сражались с противником, у которого не было командующего.

И все же оставшиеся ветераны Антония бились храбро и упорно, защищая большие галеры; ни одна из наших не была достаточно тяжелой, чтобы потопить их. Тогда Октавиан и Агриппа нагрузили десяток плотов горючим, подожгли их и отправили по ветру в середину флота Антония. Их положение было незавидным: огонь к северу от них, мы с юга брали один за другим на абордаж их большие замки, заливая их палубы кровью, слишком хорошей, чтобы тратить ее по такому низкому поводу, но они продолжали сражаться. Наконец, наступила ночь и пламя распространилось от корабля к кораблю вдоль широкого изгиба их северного фронта. Только тогда они побросали оружие и запросили пощады.

Мы сохранили триста галер, принадлежавших Антонию в то утро, но больше половины нашего флота было уничтожено в бою, так что

можете сами представить, что случилось бы, если бы те шестьдесят галер, самые большие и сильные из всех, не дезертировали в самом начале битвы.

Всю ночь Акциум ярко сиял в огне горящих галер, и когда наступило утро, Октавиан стал властелином мира.

Не буду подробно рассказывать о том, что последовало за этой вечно памятной битвой и как достойный наследник Цезаря принял присягу солдат и матросов Антония и вернул их на службу Риму. Это был политический ход, равно как и акт милосердия, так как он сделал его обладателем всей мощи Рима. Вы также знаете, что Антоний со стыдом и отчаянием пришел в Александрию и еще год Октавиан позволил ему жить в пьяном сне с той, ради которой он потерял весь мир.

Достаточно сказать, что известие об Акциуме пришло всего за одиннадцать месяцев до того, как я, стоя на баке «Илмы», провел авангард римского флота, как я вел флот Клеопатры, между фортами Пелусия и мы с моими скитальцами высадились, чтобы вместе с римскими легионами двинуться на Александрию и разыграть там последний акт той позорной драмы, которую начала Клеопатра, когда ее лживое сердце подсказало ей выбрать позор измены и смехотворное великолепие вассального трона вместо славы, которая могла бы принадлежать ей — да и мне тоже, — если бы только героическая душа Илмы оживила эту прекрасную подделку, и она сдержала клятву, в свидетели которой призвала Исиду в ту ночь в храме Птаха.

Пелусий пал перед нами почти без боя. Это было еще легче, чем семнадцать лет назад, когда я захватил город для Клеопатры. Когда весть о падении Пелусия дошла до Александрии, последние угольки героизма, оставшиеся в груди Антония, разгорелись, превратившись в подобие пламени. Он набрался смелости от отчаяния и послал Октавиану вызов, который, несомненно, был порожден безумием какого-то пьяного сна. Он предложил разрешить спор, который судьба уже решила, единоборством под стенами Александрии.

Но Октавиан не стал бы заниматься такими глупостями, ведь он был человеком, познавшим бесценный секрет никогда не упускать преимущества, и поэтому он отослал гонца назад, чтобы заявить Антонию, что тот должен победить не Октавиана, а Рим. Через час Октавиан отправился с авангардом, к сожалению, оставив меня и моих

готов сзади против нашей воли, чтобы мы выдвигались с основной армией. Можете представить, как горько я сожалел об этом, когда во время марша мы узнали, что Антоний совершил вылазку с цветом оставшейся у него кавалерии и нанес поражение коннице Октавиана.

Но это был лишь отблеск догорающей свечи, последняя из побед Антония, так как на следующий день сражение под стенами города закончилось уничтожением его наемников и дезертирством последних из оставшихся у него легионеров к Октавиану. К моему огорчению, Антония в той схватке не было. На морском побережье Александрии он готовил флот, тот самый, на котором Клеопатра бежала из Аксиума, чтобы уплыть с ней вдвоем в какую-нибудь далекую страну, где, согласно его последней тщетной мечте, он мог бы жить с ней вне власти Рима.

Затем последовало последнее и самое гнусное предательство Клеопатры. С Антонием ей больше не на что было надеяться, но Октавиан был мужчиной, и она грезилась покорить его, как покорила великого Юлия и несчастного Антония, и когда на следующий день после сухопутной битвы наш флот был выведен из Пелусия, чтобы взять штурмом гавань Александрии, она уже подкупила капитанов галер, и каждая была без боя сдана победителю.

После такого мерзкого поступка, еще один шаг привел ее к ногам Октавиана, но она была отвергнута, как когда-то давно была отвергнута мною в расцвете ее юной красоты. Ей было сказано, что ценой ее жизни будет сдача ее сокровищ в Египте и присутствие в Риме в качестве украшения триумфа того, кто теперь был дважды ее победителем. Тогда, наконец, ее гордость взбунтовалась, и, более достойная в смерти, чем в жизни, она решила принять наказание за нарушенную клятву и умереть от собственной руки в самый страшный час своего отчаяния.

Вы знаете печальную историю того, что потом произошло. Как она с фрейлинами Ирас и Хармион отправилась в великую гробницу, которую построила для себя, в ту верхнюю комнату, которая располагалась над склепом, где хранились сокровища, которые она собиралась сжечь вместе со своим телом; и как Антоний, доведенный до отчаяния ее последним предательством, бросился на меч в своем дворце и был унесен, истекающий кровью, чтобы умереть рядом с ней.

Я должен рассказать о том, что видел сам, этими же глазами, которые смотрят сейчас, затуманенные и полные слез, на эту исписанную страницу. Когда Антоний бросился на меч, я как раз входил во дворец во главе сотни моих готов, чтобы доставить его живым или мертвым к Октавиану в Себастию^[17]. Мы только что пробились в маленький портик на Царской улице, где скрылся Антоний, как оттуда выбежал плачущий раб:

— Великий Антоний умер! Пусти меня, я должен доложить царице.

Я схватил его за горло и, повернув к себе, спросил:

— Где он? Отведи меня к нему, или я сломаю тебе шею и пошлю вслед за ним.

В этот момент из зала, выходящего во дворик, где мы находились, донесся тяжелый стон. Я вбежал в зал и увидел Антония, который лежал на мраморном полу с мечом в груди, истекая кровью и корчась от боли:

— Клеопатра! Отведи меня к ней, чтобы мы могли умереть вместе.

— Хорошо! — ответил я. — Одурманенный трус! Я отведу тебя к ней, потому что я могу нести тебя, как бы ты ни был велик, и ты умрешь в подходящей компании.

С этими словами я поднял его, взвалил на спину и, приказав рабу показывать дорогу, понес его в сопровождении моих готов, которые отгоняли толпу, кишевшую на улицах, к мавзолею, который по приказу Клеопатры поднялся из земли, словно какое-то волшебное сооружение перед храмом Исиды.

Сильные руки моих готов распахнули огромные бронзовые двери нижней палаты, и я взбежал вверх по лестнице, ведущей в комнату смерти.

От удара рукой дверь распахнулась, я вошел внутрь и снова увидел Клеопатру, в последний раз. Она полулежала на кушетке, в гордости своего последнего богохульства одетая как Исида, и увенчанная змеиной короной Урея. Ирас и Хармион стояли рядом, возле кушетки лежала корзина с инжиром. Когда я вошел, она с диким пронзительным криком вскочила на ноги, а я, не говоря ни слова, положил Антония на шелковые простыни, которые все еще хранили отпечаток ее фигуры. Затем я повернулся к ней:

— Вот твой любовник, царица Египта. Взгляни на него, ибо ему нужна самая нежная твоя забота.

Какое-то время она молча безумно смотрела на меня, а потом с криком, который до сих пор звенит у меня в ушах, бросилась на тело Антония и, вытащив меч из раны, прижалась к ней губами, словно хотела остановить ими кровь. Глаза Антония медленно открылись, и, собрав последние силы, оставшиеся в его некогда могучем теле, он поднял руку и положил ей на голову, и, раздвинув распухшие губы в ужасную улыбку, умер.

Когда он испустил последний вздох, Клеопатра подняла обезображенное горем и страданием лицо; ее когда-то сладкие уста были выпачканы кровью ее любовника. Она пробормотала что-то, что едва можно было принять за человеческую речь, сунула правую руку в корзину с инжиром, а левой сорвала с груди тонкое шелковое платье. В следующее мгновение она вынула руку из корзины, и в ней что-то шевелилось.

В следующее мгновение она прижала ее к груди, и тогда плоская голова змея Урея приподнялась и упала на прекрасную белую плоть. Без рыданий и крика она отшатнулась и замертво упала на тело человека, которого сначала заманила к гибели, а потом предала его победителю. Так умерла прекраснейшая и гнуснейшая из дочерей женских.

Что касается меня, то мне стало смертельно дурно от этой сцены, которая была для меня в десять раз ужаснее, чем для любого другого, кто мог ее видеть. Шатаясь, как пьяный, я вышел из комнаты, когда Ирас и Хармион, верные госпоже до последнего, закололи себя отравленными кинжалами и упали замертво там, где их нашли римляне — рядом с ложем, на котором лежали их господин и госпожа, соединенные единственным известным им браком, освященном святостью и тайной смерти.

Когда я снова вышел на улицу, из толпы вышел молодой священник и обратился ко мне со словами:

— Ты тот, кого не было и кто есть?

— Я Терай, когда-то из Армена, а теперь из Египта, — ответил я, глядя вниз в глаза, которые испуганно смотрели на меня. — С таким приветствием, ты, должно быть, пришел от Амефиса. Можешь

сообщить ему, что Клеопатра заплатила земную кару за нарушенную клятву и сейчас стоит в Зале судей.

— Это учитель уже прочел по звездам. Из его руки вышел змей Урей, который, как сказал мой господин, уже сделал свое дело. Это тебе от Амефиса.

С этими словами, он сунул мне в руки маленький свиток папируса и, прежде чем последнее слово слетело с его уст, исчез в толпе, теснившейся у входа в мавзолей. Я быстро пробился сквозь зевак, развернул свиток и прочел удивительные слова, написанные магическим языком:

«Амефис, недостойный служитель Амона-Ра, Тераю, чужестранцу, приветствую! В слепоте и самонадеянности своего полужнания я предал тебя ложной надежде, которая пошла путем всех подобных. То, что ожидается, еще не наступило, однако записано, что ни ты, ни я не увидим сумрак Аменти, пока вместе не узрим откровение Невидимого. Когда ты устанешь от скитаний и сражений, возвращайся в храм Птаха, и там ты найдешь меня в ожидании тебя, и в это время исполнятся мои последние слова, сказанные тебе. А до тех пор, прощай!»

Много долгих лет прошло, прежде чем снега зимы моей первой жизни на земле выбелили и проредили мои некогда густые золотые локоны, и так сбылись слова, сказанные Амефисом на палубе галеры, которая унесла его обратно в одиночество.

Для меня это были годы сражений и пиршеств, удивлений и странствий среди чужих стран и морей и еще более чужих народов. Я пировал, увенчанный венком, среди великолепия императорского Рима, когда Октавиан вернулся, чтобы получить титул Августа и корону мира. Я сражался за жизнь или за добычу, в зависимости от обстоятельств, на скалистых берегах северной страны, которая когда-нибудь должна была стать моей родиной и моим домом. Я скитался по бескрайним пустошам океана и путешествовал в неведомые страны, один раз к заходящему солнцу и трижды к вечному лету юга, а через него в Индию и на далекие острова южного Востока, которые глазам Запада не суждено было увидеть еще почти две тысячи лет.

Какие красочные страницы я мог бы написать, если бы это было моей целью, о тех моих странствиях, благодаря которым я с моими морскими волками увидел чудеса Запада за добрые шестнадцать

столетий до того, как Кабот или Колумб, Кортес или Писарро даже появились на свет; как легко я мог бы прояснить тайны, которые смущали их, если бы текущий песок в песочных часах не заставлял меня спешить рассказать о более важных вещах!

Поэтому я скажу только о том, как исподволь росла во мне усталость от жизни, как после почти тридцати лет скитаний я вернулся, наконец, к хорошо знакомому побережью Египта один в потрепанной волнами, изъеденной червями посудине, которая когда-то была величественной галерой, на которой мы с давно умершей Клеопатрой отплыли из Газы, и как я посадил галеру на берег, поймав последний вздох летнего бриза ее изодранными парусами, и как я с трудом добрался до Мемфиса, как после всех моих долгих и трудных лет у меня не осталось ничего, кроме кольчуги, которая теперь свободно висела на моем сморщившемся теле, и священной стали на моем боку, все еще блестящей и безупречной, как тогда, когда Илма благословила ее священным поцелуем в далеком Армене.

Амемфис ждал меня перед огромным темным пилоном храма, словно с тех пор, как мы расстались, прошла всего неделя, а не шесть десятков лет. Я был стар, сед и сморщен, но он, как одна из мумий некрополя, почти не изменился с тех пор, как мои глаза впервые после пробуждения увидели его с Клеопатрой в той тайной комнате храма. Он приветствовал меня несколькими многозначительными словами.

— Ты не спешил, — сказал он, пожимая протянутую руку, — и все же ты пришел вовремя, чтобы увидеть то, чего ожидали. Отдохни сегодня в храме, а завтра я должен отправиться в свое последнее путешествие, а ты — завершить твой нынешний земной путь.

В ту ночь мы долго говорили о многих вещах, о которых нельзя здесь рассказать, и на рассвете следующего дня отправились на парусной лодке вниз по Нилу в Пелусий. Там Амемфис взял для нас места на галере, которая направлялась в Яффу, а из Яффы мы по суше поехали в тот город, который я видел в последний раз более тысячи лет назад, когда он был освещен славой великого Соломона. Он изменился настолько, насколько может измениться любой восточный город, и все же я знал его так же хорошо, как знал дорогу, по которой в последний раз ехал веселый и радостный с моей давно умершей, но не забытой Циллой. Когда мы добрались до города, то нашли его таким же, каким я увидел его во времена Соломона — переполненным людьми всех

народов Востока; но нужно ли говорить, чем отличалась эта сцена, ведь вы уже догадались о торжественной цели нашего путешествия в Салем?

Ведомый Амефисом, я прошел по извилистой холмистой дороге, которая шла вдоль западной стены города, и поднялся на голую, унылую возвышенность, которая располагается между долинами Кедрона и Хиннома. На вершине стояли три креста, которые охраняли римские солдаты. Около них небольшая группа мужчин и женщин с бледными, осунувшимися лицами и заплаканными глазами смотрела на белую фигуру, неподвижно висевшую на центральном кресте. По тропинке, которая вела через гребень холма к городу, туда-сюда сновали путники, некоторые из них останавливались, чтобы взглянуть на кресты, что не были редким зрелищем в те дни, а некоторые произносили горькие слова, которые с тех пор глубоко врезались в историю мира.

— Он спасал других, а себя не может спасти! — ухмыльнулся один из прохожих, одетый в жреческое одеяние, которое я видел в Салеме тысячу лет назад.

— Глупец! — сказал Амефис тихо, так что только я его услышал, — и это жрец Салема! Горе городу, который когда-то был священным, и народу, который когда-то был избранным! Но смотри, Терай, смотри и слушай.

Я поднял глаза и увидел, как фигура на центральном кресте подняла голову, и услышал голос, который, казалось, спустился с темнеющего неба и произнес на языке, на котором говорил Соломон:

— Все кончено!

Голова опустилась, а женщина подбежала к подножию креста и обхватила его белыми руками. Когда она подняла лицо вверх, солнечный луч пробился сквозь быстро сгущающиеся облака и омыл ее своим сиянием, и я снова увидел ту, чье присутствие преследовало меня на протяжении веков. Я рванулся вперед с ее первым именем на устах, но Амефис остановил меня:

— Не сейчас и не здесь, Терай, потому что она выше твоей и любой другой земной любви! Да, — продолжал он, как бы размышляя, — все кончено! В этот час старый порядок уходит, и мечта уступает место делу. Старые боги умирают, и восходит Белый Христос, чтобы царствовать вместо них на троне, который он воздвиг

сегодня. Смотри, наступает ночь! Мы видели то, чего ждал мир, хотя и не знал об этом. Ты увидишь больше, но я...

Не успел он вымолвить и слова, как над Голгофой сомкнулись тучи, и черная пелена скорби опустилась, как занавес, на величайшую трагедию мира.

В следующее мгновение я остался один посреди пустыни тьмы. Земля закачалась подо мной, и даже небеса, казалось, обрушились на нее, как будто хотели раздавить ее и ее вину, а я, с грохотом грома и диким многоголосым криком ужаса, звенящим в моих ушах, слепо споткнулся и упал замертво рядом с женщиной, которая лежала в обмороке у подножия креста.

Глава 16. «Меч аллаха»

Мальчик, пасущий стада овец и коз на скудных пастбищах в долинах среди диких холмов к северу от священного города Мекка; двенадцатилетний подросток, длинноногий и удивительно светловолосый для сына пустыни и ребенка племени Курайшитов — таким был я, тот, кто когда-то был Тераем из Армена, другом Тигра-Владыки Ашшура, Соломона, Цезаря и Августа, когда я впервые начал смутно и с удивлением всматриваться в туман забвения, который висел за мной, отделяя меня от моей прошлой жизни. Шли годы, сны становились длиннее, а видения яснее, и вскоре появилась та, что помогла мне их прочесть. Это была Зорайда, девочка из благородного дома Хашима, сестра моего сводного брата Дерара. В этой моей новой жизни я был Халидом^[18], сыном Османа, и однажды меня назовут «Мечом божьим». Но это время еще не пришло, если не считать сновидений, которыми мы с Зорайдой грезили по-детски, лежа на продуваемых ветрами склонах холмов в тени какой-нибудь громадной скалы, мрачно выступавшей из серо-коричневого песка.

Зорайда была светловолосой, как и я, за исключением того, что ее волосы были рыжевато-бронзовыми, а мои золотисто-желтыми, и глаза ее были лазоревыми, как сапфиры, а мои — серо-голубыми, как хорошо закаленная сталь. Это отличие от остального нашего народа считалось таким удивительным, что Абу Суфьян, принц Мекки и верховный жрец Каабы, предсказал, что из этого чуда произойдут великие дела в добрые времена богов; однако гораздо более близкое падение этих богов не было открыто ему.

Ибо то были дни, когда тот, чьему имени суждено было вознестись к небесам в боевых кличах на десяти тысячах полей сражений и в молитвах многих миллионов верующих, путешествовал с верблюдами своей госпожи Хадиджи между Мединой и Меккой, Бозрой и Дамаском и видел, между прочим, еще более удивительные сны, чем наши — сны, которым вскоре предстояло потрясти мир и сокрушить могучие империи Персии, Византии и Рима, что были в зените славы в то время, когда я был капитаном флота Клеопатры и союзником великого Августа.

Но обо всем этом и о грядущих чудесах мы, двое детей, ничего не знали и мирно грезили, пока наши видения не обрели такую определенность, что мы начали рассказывать друг другу удивительные истории о далеких временах и дальних землях, о величественных городах, могучих царях и прекрасных царицах и, как вы можете себе представить, у всех цариц были золотисто-рыжие волосы, глубокие синие глаза и смеющиеся губы той, которую я уже называл своей царицей пустыни. Мы также рассказывали друг другу о суровых героях старого мира, командующих армиями и предводителях орд морских бродяг, в которых Зорайда узнавала своего возлюбленного пастушка.

Мальчики и девочки мечтают о таких вещах во все времена и во всех странах, и было вполне естественно, что мы, для кого воздух пустыни был полон легенд и преданий, и кто постоянно слышал рассказы, которые путешественники приносили с караванами из дальних стран, так забавлялись своими фантазиями. Но мне снились сны и более удивительные. Когда я бывал один далеко со своими бродячими стадами в пустынных долинах, где мы искали скудные пастбища, я засыпал в тени и видел себя в шлеме с перьями и стальной кольчуге, верхом на огромном черном боевом коне, мчащимся во главе ревущей армии: быстрые удары копыт отбрасывают трепещущую землю далеко назад, а я прорубаю себе путь огромным прямым обоюдоострым мечом сквозь ряды врагов, которые ломаются при моем приближении и бегут прочь, вопя от страха.

В других снах я видел себя стоящим в сверкающей кольчуге на высоком баке большой галеры и посылающим стрелы с такой силой и скоростью, на какую не был способен ни один смертный, и мои стрелы пробивали щиты и доспехи воинов на других галерах. Я видел, как медный клюв моего славного корабля разрывал и раскалывал борта этих галер, как я запрыгивал на их палубы, выкрикивая свой боевой клич и размахивая мечом над головами своих абордажников.

И во всех снах я слышал знакомые голоса, говорящие на языках, которые не были мне родными, но все же я ясно понимал все, что говорилось. Я резко просыпался и вскакивал на ноги, размахивая пастушьим посохом над головой и выкрикивая боевые кличи на этих незнакомых языках, пока скалы и долины не начинали снова звенеть от них. Также во всех моих снах, как я называл их, не зная лучшего слова,

огромный прямой меч был у меня в руке или на боку, и та же прекрасная женщина со мной рядом.

Так грезил я, арабский пастушок, день за днем и ночь за ночью, пока, наконец, не понял с абсолютной уверенностью, что я, Халид, сын Османа, уже жил на земле в другие века, и делал и видел те вещи, о которых уже знаете вы, что следуете за мной по моему удивительному пути.

По прошествии лет я оставил овец и коз, чтобы отправиться с соплеменниками на войну и заново обучиться тому мрачному ремеслу, которым я уже занимался в другие времена и века. Теперь мы с Дераром из сводных братьев и друзей по играм превратились в товарищей по оружию, и во многих жестоких набегах и стычках с враждебными племенами доказали свое юношеское мастерство и отвагу. И не так много прошло времени, как во всех племенах курайшитов — нет, во всей земле, лежащей между пустыней и морем, — не осталось никого, кто мог бы противостоять нам, копьё против копья или меч против меча.

И вот появились первые толчки той пробуждающейся бури, которая вскоре должна была охватить весь мир от рек Индии до берегов западного океана. Погонщик верблюдов Хадиджи стал ее мужем, мечтательный торговец отвернулся от богов Каабы и призвал жителей Мекки и Медины поклониться странному богу, о котором мы никогда не слышали, и призвал приветствовать себя как его пророка. Вы читали, как мы восприняли это послание — сначала с презрением и насмешкой, а затем с гневом, и как люди занимали ту или иную сторону, пока, наконец, Мекка и Медина не встали друг против друга, обнажив мечи.

Я принадлежал к курайшитам, так же, как Дерар и Зорайда, и поэтому, когда Мекка вступила в войну, мы, к тому времени уже лучшие из ее воинов, отправились сражаться за нее и за древних богов, и вскоре прозвучал первый призыв к оружию.

Неверующие, как мы их называли, перехватили богатый караван, принадлежавший Абу Суфьяну, а мы решили освободить его. Мы двинулись на юг от Мекки и в плодородной долине Бедер, в трех привалах пути от Медины, вышли на первую битву и потерпели первое поражение. Мы отомстили за него — ах, как странно! — потом на

холме Ухуд, и там моя нечестивая рука ранила самого пророка ударом дротика.

Увидев кровь, я замахал копьем и крикнул:

— Я убил его! Я убил его! Вперед, мужи Мекки, давайте покончим с неверующими!

Услышав меня, товарищи вскричали от радости, и мы поскакали вниз, размахивая копьями, к маленькому отряду, который стеной сомкнулся вокруг упавшего пророка. Они отбивались буквально до последнего, пока не были перебиты все, и тогда, к нашему удивлению, из груды лежащих тел поднялась высокая фигура пророка, и голосом мрачным и спокойным, как будто он проповедовал в Каабе, пророк сказал:

— О люди Мекки и сыновья Исмаила! Почему вы обращаете копья против братьев своих и ищете проклятия, убивая пророка божьего? Смотрите, я один и безоружен! Если на то воля аллаха, чтобы я умер, пусть тот, кто убьет меня, ударит!

В одно мгновение все копья поднялись и все мечи опустились. Мы смотрели друг на друга и на раненого, одиноко стоявшего перед нами, и не нашлось среди нас никого, который мог бы нанести удар, который изменил бы судьбу половины мира.

Что же касается меня, то, может быть, увидев то, чего не видели другие, я соскочил с седла и, бросив копье на землю, оторвал полосу от своего полотняного яшмака, подошел к Мухаммеду, повязал его голову и остановил кровотечение из раны, в то время как он стоял неподвижно, как одно из бесчувственных изображений Каабы. Затем, вытащив ятаган, я положил его себе на грудь, как это делали в старину воины в Арме́не, и крикнул своим товарищам:

— О, братья! Мне кажется, что сегодня нас остановило что-то большее, чем сила смертного. Это не Мухаммед, сын Абдаллы, сына Хашима, бросил вызов нашим копьям и отвел наши мечи. Могли ли ал-Лат или ал-Узза^[19] таким образом защитить безоружного адепта от оружия таких врагов, как мы? Разве не должны были мы сразить его, как прежде многих других? Думайте об этом, что хотите, но что касается меня, то с этого момента я признаю аллаха своим богом и Мухаммеда его пророком, и тот из вас, кто против, пусть встретится со мной сейчас в открытом поле, один на один, копье на копье и меч на меч, и воистину я докажу ему свою веру, либо он докажет мне мое

заблуждение. Вы знаете меня, ибо я Халид, сын Османа, хорошо известен вам всем. Так говорите же теперь или навсегда замолчите.

На некоторое время воцарилась тишина. Смуглые воины, сидевшие на взнузданных конях, уставились на нас — на пророка, все еще стоявшего неподвижно и безмолвно среди них, и на меня с мечом на груди, как бы воздвигшим стальную преграду между пророком и ими. Затем в едином порыве все копья и клинки взметнулись высоко над головами, и один громовой вопль разом вырвался из всех глоток:

— Ла И'лаба илла Аллах, Мухаммед ресул Аллах!^[20]

Когда крик затих, пророк поднял руки над головой и сказал все тем же глубоким, спокойным голосом, которым призывал нас убить его:

— Бог — победоносец, и во имя его вы пойдете к победе! И ты, Халид, сын Османа, который простер передо мной свой меч, отныне будешь известен во всех странах и на всех языках как «Меч божий», и в первом сражении с неверными ты найдешь ту священную сталь, которую в другие века и в других странах сжимала твоя рука, и с ее помощью ты проложишь путь к империи для ислама и для бога!

Мгновение я стоял перед ним ошеломленный. Это был первый раз, когда я разговаривал с ним, и все же в его словах был ключ к моим снам и к тайне моего бытия! Я упал перед ним на колени и, протянув ладони к нему, сказал голосом, срывавшимся от силы удивительного волнения, кипевшего в моей груди:

— Вот! Теперь я знаю, что ты больше, чем человек, что ты одарен знанием, превосходящим человеческое, потому что ты сказал о том, что неизвестно ни одному живому человеку, кроме тебя и меня. Того, кто отныне отвергнет тебя, я рассеку до подбородка и вырву лживый язык из его горла, да, хотя бы это был мой отец или мой брат, ибо воистину нет бога, кроме твоего бога, а ты — пророк божий. Бисмиллях!

Он снова простер надо мной руки:

— Во имя всемилостивейшего бога нарекаю тебя, Халид, отныне вождем воинства ислама, и эти твои спутники, если они последуют за тобой, пойдут с тобой к победе или в рай!

— И клянусь аллахом! — вскричал я, вскочив на ноги и обернувшись к ним. — Я поведу их, как ты сказал, о пророк всевышнего! И если здесь есть кто-то, кто не смеет или не хочет

следовать за мной, пусть его лицо будет покрыто позором, и могилы его предков будут осквернены! Говорите же, есть ли среди вас такой?

Снова на некоторое время воцарилась тишина, а потом Дерар соскочил с коня, подошел ко мне, встал рядом, обнажил меч и крикнул:

— Я, Халид, буду первым из твоих последователей! С тобой я принимаю аллаха своим богом, а Мухаммеда — его пророком. Итак, кто с нами и кто против нас?

— Мы с тобой, мы с тобой! Алла иль Алла! Победа и рай! — раздался еще один громовой крик из темного кольца воинов вокруг нас. — Веди, а мы пойдем следом. На Мекку! На Мекку!

— Нет, сначала в Медину, — возразил Мухаммед, — так как там нас ждут правоверные, и мы принесем им весть о поражении и победе — нет, о победе побед, ибо с этого часа звезда ислама не закатится, пока не исполнится воля аллаха.

Пока все это происходило, те слабые души маленькой армии пророка, которые бежали перед нашим последним наступлением, вернулись, сильно удивляясь свершившемуся чуду и горько стыдясь своей трусости. Но столь же милостивый в победе, как стойкий в опасности, Мухаммед принял их мягкими, прощающими словами, а затем позволил положить себя в паланкин, потому что его раненое тело было слабее, чем его дух. И остатки побежденной армии с теми, кто победил их и все же сам был побежден, образовали триумфальную процессию, и вот так мы принесли пророка обратно с холма Ухуд в прекрасную долину пальмовых рощ и зеленых пастбищ, в которой стоял город, который когда-то назывался Ясриб, но который теперь, на все века, известен как Мадинат ан-Наби — город пророка.

В Медине нас приняли как царей, победителей и братьев, потому что в те первые дни ислама, как и всегда впоследствии, тот, кто принял веру, каким бы яростным врагом он ни был прежде, в тот же миг становился братом всех истинных мусульман, и там мы с Дераром возобновили нашу дружбу и еще раз пожали руки Али, сына Абу Талиба, почтенного вождя племени Хашима и дяде пророка.

Али тогда шел двадцатый год, как и нам с Дераром. Именно он, когда ему было четырнадцать, лежал на ложе Мухаммеда, завернувшись в зеленую мантию, и ждал убийц-курайшитов в ту памятную ночь, когда пророк бежал с Абу Бакром из Мекки в Медину,

ночь, от которой теперь отсчитывают свои годы двести миллионов человек.

В Медине мы также нашли Амру^[21], который всего несколько месяцев назад был одним из самых храбрых моих товарищей по оружию. Это был сухопарый, смуглый человек лет двадцати пяти, лучший копейщик в Аравии. И вот мы четверо, стоя в тот вечер перед пророком, поклялись друг другу никогда не поворачиваться спиной к врагу, будь то араб или чужак, и никогда не отказываться от битвы, пока не завоюем весь мир для бога и его пророка, или пока милость аллаха не призовет нас в рай.

Если бы эту клятву услышали в Персии, Византии или Риме, надменные властители этих обширных земель от души посмеялись бы над нами, четырьмя арабскими парнями (ведь больше сказать о нас было нечего), которые объявили войну им и всем их прославленным армиям. И все же, прежде чем мы выполнили свою долю работы, Али, Дерар и я завоевали Сирию и Персию, разбили Византию при Айзнадине^[22] и Ярмуке, а Амру завоевал для пророка всю землю Египта и водрузил знамя веры на дворцах, где Клеопатра правила и предавалась разврату с Антонием.

И теперь месяцы для новой веры летели быстро и благополучно. Каждую неделю случались сражения, осады и победы, и вот, наконец, во главе величайшей армии, которую до сих пор приветствовало знамя пророка, мы двинулись из Медины в Мекку, чтобы зажечь те десять тысяч сторожевых костров на холмах вокруг священного города, которые показали идолопоклонникам, что настал последний час поклонения их богам. Мекка, как вы знаете, пала без единого удара, и надменный Абу Суфьян сам положил ключи к ногам Мухаммеда и под моим вознесенным ятаганом принял веру единого бога и апостольство его пророка.

Мы спустились в город и сбросили идолов с их мест в Каабе, разбили их на куски и разбросали по улицам, и когда я расколол черепа полутора десятков бесстыжих насмешников и тупоголовых неверующих, то их кровь — это было всё, что было пролито в триумфах, принесших нам нашу первую империю. Мы очистили Каабу, и пророк, взойдя на кафедру, возблагодарил аллаха и призвал его благословение на наши руки в почтенном храме, к которому с тех

пор лица бесчисленных миллионов людей обращены в часы хвалы и молитвы.

Вскоре во всей Аравии был только один бог, и Мухаммед правил ею от севера до юга и от моря до моря, и вскоре стали приходить послы от Ираклия из Византии и Хосрова из Персии, из Египта и Эфиопии, чтобы искать дружбы пророка в Медине. Он принимал их на рыночной площади города, прислонившись спиной к пальме, точно так же, как он стоял, когда проповедовал нам, и отсылал их обратно с дарами и увещеваниями к их правителям, чтобы они обратили свой народ к истинной вере и исповедали единство бога и миссию его пророка — увещеваниями, которые вскоре нам пришлось проповедовать более сурово словами наших боевых кличей.

Именно один из этих посланников, изящный, надушенный, в шелках и золоте рыцарь из Византии высек первую искру того свирепого пламени, которое вскоре распространилось от наших северных границ через Сирию к горам Тавра и от Внутреннего^[23] моря к берегам Каспия.

Однажды группа его людей, встретив нас с Зорайдой на улице, остановилась и уставилась на нее во все глаза, пораженная необычностью ее красоты. Должен сказать, что к этому времени моя маленькая пастушка выросла такой же высокой, статной и прекрасной, как сама Илма, такой же ее живой образ, какими были Цилла, Балкис и Клеопатра.

В их взглядах не было ничего особенно оскорбительного, грубого и всего такого, однако один из них позволил своему развязному языку опередить то небольшое разумение, которое у него было, и прокричал по-сирийски, который мы понимали так же хорошо, как и наш собственный язык:

— О святые, если райские гурии хотя бы вполовину так же прекрасны, как вон та прелестная варварка, то не так уж много нужно, чтобы сделать из меня хорошего мусульманина!

Кровь резко прилила к щекам Зорайды, и в ее глазах вспыхнул гнев. Она взглянула на меня и попросила:

— Халид, ты сломаешь для меня шею этому неверному?

— Конечно! — ответил я. — Даже с удовольствием.

С этими словами я шагнул в группу ухмыляющихся византийцев и, быстро схватив обидчика за горло, встряхнул его так, что у него во

рту застучали зубы:

— Ах ты, неверующий пес! Кто научил тебя визжать на улицах священного города? Ты — добрый мусульманин?! Ты — спутник для райской гурии?! Клянусь аллахом, во всей Аравии нет девушки, которая не плюнула бы на тебя. Ты назвал дочь ислама варваркой. А теперь ляг в пыли у ее ног и проси у нее прощения, или, по милости аллаха, я сорву твою пустую голову с плеч и брошу ее собакам!

С каждым словом я все сильнее тряс его, но не успел я договорить, как остальные столпились вокруг меня, некоторые уже достали оружие, и Зорайда вдруг вскрикнула:

— Меч, Халид, скорей, а то они убьют тебя!

Я отпустил горло парня и, схватив его за пояс и за густые волосы, поднял с земли и взмахнул им, расчистив вокруг себя пространство. Видя, как двое из них приближаются ко мне с обнаженными мечами, я поднял его высоко над головой, как сделал это с коварным Зиркалом в тронном зале Тигра-Владыки, и швырнул его на них, так что оба их меча прошли сквозь его тело, и все трое вместе рухнули в пыль.

— Жизнь! Жизнь! — закричали остальные, увидев это. — Он убил слугу римского посланника! Убить неверующего варвара!

И они тоже бросились на меня, четверо против одного, двое с мечами и двое с короткими пиками; но мой ятаган к этому времени уже был вынут, и Зорайда тоже обнажила свой клинок, так как вы должны знать, что в те дни благороднейшие из наших арабских девушек были обучены владению оружием, как и мы, и, как вы увидите, шли на войну с лучшими из нас. Она подбежала ко мне с криком:

— А теперь, неверующие псы, вы увидите, как встретит вас ваша прелестная варварка!

И с этими словами она так быстро и ловко ударила под защитным щитком византийца, стоявшего против нее, что рассекла ему лицо от лба до подбородка самым ровным разрезом, какой когда-либо делал меч. Слепленный, он с воем рухнул перед ней, а я тем временем нанес такой же удар по другой голове, и когда мой противник вскинул меч, чтобы встретить удар, и его клинок, и мой разлетелись на куски, так что, за неимением лучшего оружия, я воткнул рукоять ему в лицо и разбил его так, что он лишился всякого сходства с человеком.

Так что он тоже упал рядом с товарищем, и двое с пиками, которым не хватило духу для такого жестокого боя, бросились наутек с криками вниз по улице как раз в тот момент, когда сотни людей бежали со всех концов города, чтобы посмотреть, из-за чего идет бой.

Не прошло и часа, как нас с Зорайдой вызвали к пророку дать ответ за драку, и там мы нашли Семпрония, посланника Ираклия, который обвинил нас в убийстве и нарушении закона народов, так как мы убили пятерых слуг его господина, когда между нами не было войны. Но когда мы изложили свою историю, а те из свидетелей, которые видели бой, рассказали свою, Мухаммед повернулся к нему:

— Похоже, твои люди заслужили свою смерть, Семпроний, потому что оскорбить девушку ислама и не умереть не может ни один мужчина. То, в чем поклялись мусульмане, не может не быть правдой, поэтому ты должен быть удовлетворен.

— Нет, клянусь всеми святыми, я не успокоюсь! — воскликнул византиец, топнув ногой в изящной сандалиии. — И мой господин Ираклий тоже не будет удовлетворен, и от его имени я требую, чтобы этот мужчина и эта девушка были доставлены ко мне, а я сделаю то, что считаю правосудием по отношению к ним!

— Во славу аллаха, ты забыл, где ты и в чьем присутствии стоишь? — спросил Мухаммед низким, мелодичным голосом, повернувшись к нему с гневом. — Ты, идолопоклонник, раб неверующего! Ты осмеливаешься говорить такие слова в присутствии пророка божьего? Разве ты не знаешь, что жизнь истинно верующего стоит больше, чем вся империя твоего господина? Отправляйся в свой дом и смотри, чтобы завтра ты был в пути, иначе я забуду, что ты посланник, и твоя жизнь заплатит за твою дерзость. Убирайся, и пусть мои глаза больше не будут осквернены видом тебя!

— Я ухожу! — воскликнул Семпроний, бледный и трясущийся от обиды. — Но я вернусь с сотней когорт за спиной и проучу тебя, лжепророк...

Прежде чем с его богохульных уст слетело еще одно слово, я бросился вперед и схватил его за горло. Я просунул пальцы левой руки в горловину его медно-стального панциря, а правой схватил его за волосы и откинул его голову назад, так что его шея сломалась, и бросив его тело к ногам Мухаммеда, крикнул, чтобы все услышали меня:

— Вот так, о пророк божий, я сломаю шеи неверующим и заставлю замолчать уста, которые смеют называть тебя ложным!

— Так было предначертано, Халид, и ты это сделал, — ответил он, мрачно глядя на мертвого византийца. — Но этот человек был посланником, и твой поступок означает войну с тем, кто всего месяц назад с триумфом возвратился из Персии.

— Тогда пусть будет война! — воскликнул я. — О пророк, возгласи священную войну, и пятьдесят тысяч мечей воссияют от твоих слов! Пошли нас в Сирию, чтобы мы научили этих неверующих псов, что нет бога, кроме аллаха, и нет пророка, кроме тебя!

Глава 17. Сватовство Зорайды

Слово «Сирия» звучало теперь везде, не только в Мекке и Медине, но и повсюду вокруг них. Успех всегда сопутствует успеху, и как только была объявлена священная война против неверных, племена начали стекаться с севера, юга, востока и запада.

Бедуины привели из пустыни верблюдов и лошадей и просили защиты для своих жен и детей, пока сами шли на войну под знаменем пророка. Купцы больших и малых городов, отложив богатства, начищали мечи и кольчуги, готовили луки и связки стрел. Когда Мухаммед совершил последнее паломничество из Медины в Мекку, чтобы проповедовать священную войну с кафедры Каабы, 144 тысячи паломников с бесчисленными лошадьми, верблюдами и мулами шли за ним, воспевая хвалу аллаху и заслуги его пророка.

В Мекке было сделано воззвание и завершены последние приготовления. Сначала пять тысяч всадников должны были двинуться к берегам Иордана, чтобы проверить силу нашего нового врага и принести известия главной армии. Предводителем этой экспедиции был Зейд^[24], бывший когда-то рабом Мухаммеда. Вы можете удивиться, почему мы, уже завоевавшие славу во внутренних войнах, в чьих жилах текла самая гордая кровь Аравии, согласились следовать за таким низкорожденным вождем. Но мы не роптали, узнав выбор пророка, ведь в нас жила новая вера. Мы не только исповедовали ее, но и верили в нее, и поэтому для нас слово пророка было словно приказ бога, и, если бы он велел нам идти за самым жалким нищим, который скулит о милостыне у ворот Каабы, мы последовали бы за ним с равным послушанием.

В ночь перед отъездом мы разбили лагерь на ровной площадке между холмами к северу от города, и вскоре после захода солнца я пошел в шатер к Дерару, чтобы поговорить с ним о деле, которое было очень близко моему сердцу; но когда я подошел к шатру, я увидел перед ним ту, кого это дело касалось больше всего, поэтому я принял это за хороший знак и приветствовал ее словами:

— Мир тебе, Зорайда, прекраснейшая из дочерей пустыни! Дерар в шатре?

— Да пребудет мир и с тобой, о Халид! — ответила она, и на ее хорошеньких щечках вспыхнул такой яркий румянец, что я мог бы поклясться, что она догадалась, зачем я пришел. — Нет, Дерар в городе, а я, как видишь, охраняю его шатер. Ваше с ним дело только для его ушей, или его сестра и товарищ по оружию может послушать?

— По правде говоря, может, — ответил я, набравшись храбрости, которая была нужна мне в тот момент больше, чем когда-либо перед лицом врага, — потому что дело больше касается его сестры, чем его самого. Если ты оставишь свой пост на некоторое время, а это можно сделать без особой опасности, так как вокруг нет никого, кроме истинно верующих, и прогуляешься со мной за пределами лагеря, я быстро объясню дело тебе.

— А если Дерар вернется и обнаружит, что я покинула пост, ты возьмешь вину на свои широкие плечи и встанешь между мной и его гневом?

Меня ободрили эти лукаво произнесенные слова, и я рассмеялся:

— Конечно, и без особого страха, потому что ради этого я почти осмелился бы даже выдержать гнев пророка. Так что пойдём, ибо вон там над холмами восходит новая луна и зажигает для влюбленных подходящий светильник, чтобы направлять их шаги.

При этих дерзких словах она отступила на полшага, и на мгновение я испугался, что поступил скорее поспешно, чем мудро. Но она снова подошла ко мне, бросила на меня быстрый, застенчивый взгляд и, отвернувшись, сказала:

— Теперь я знаю, что ты хочешь сказать, но я пойду и выслушаю тебя, чтобы ты услышал ответ, который уже записан в моем сердце.

Если когда-либо пылкий любовник ходил по воздуху, то это был я, пока мы в молчании пробирались между шатрами и шли по тропинке, которая вела вверх к подножию гор. Никто из нас не произнес ни слова, ни звука, пока мы не оказались далеко за пределами лагеря и не остались вдвоем в торжественной лунной тишине восточной ночи. Тогда я взял ее за руку и сказал ей самые странные слова, какие когда-либо слетали с уст влюбленного:

— Зорайда, я рассказывал тебе, что открылось мне в тех дневных снах и ночных видениях, некоторые из которых приходили и к тебе. Я рассказал тебе, как когда-то, много веков назад, я был могучим воином в забытой земле Армен, и как ты, или та, чьим совершенным подобием

ты теперь являешься, вышла со мной на битву против армии Нимрода к стенам древнейшей Ниневии под сенью башни Бэла.

Ты знаешь, как мы оба умерли в песках пустыни после того, как землетрясение превратило могучую Ниневию в руины; как много веков спустя я проснулся и обнаружил рядом с собой лишь остатки твоих костей, рассыпающихся в прах; и как я пошел в новую Ниневию и снова нашел тебя, рабыню, сидящую у ног Тигра-Владыки, и купил тебя за стальной меч и за кольчугу, которую забрал из твоей могилы.

Ты знаешь, как мы с тобой в те дни, когда ты была Циллой, царицей-близнецом Сабее в Йемене, вместе путешествовали в Салем и видели Соломона во всей его славе с твоей сестрой-близнецом, сидящей рядом с его тронном, царицей Савской, которая пыталась уничтожить тебя. Моими глазами, которые я одолжил тебе, ты могла увидеть себя стоящей перед Балкис без покрывала, а затем преклоняющей перед ней колени в том милом акте прощения, который, по словам самого Соломона, был самым удивительным и священным из того, что он когда-либо видел. Ты знаешь, как мы добрались из Салема в Сану в Сабее, и как Балкис убила тебя и заняла место, которое должно было быть твоим.

Ты также помнишь, как другой твой образ — ибо, клянусь аллахом, ею никогда не могла бы быть ты — вызвал меня к жизни тысячу лет спустя в Египте, только для того чтобы научить меня ненавидеть имя женщины, потому что имя этой женщины было Клеопатра. И, наконец, ты помнишь, или, может быть, я помню за тебя, как полуденная тьма опустилась на Голгофу, и я нашел тебя лежащей у подножия креста Исы, последнего из пророков, и, ощупью пробираясь к тебе, я лег там подле тебя и умер.

Теперь, по мудрости и милости аллаха, случилось так, что мы снова вместе идем путем жизни. Завтра мы отправляемся на священную войну, и ты со своими сестрами-воительницами пойдешь с нами, чтобы укреплять наши руки и сердца своим присутствием и своим прекрасным примером. Вон в небе над холмами, охраняющими священный город, парит полумесяц — поистине добрый знак, посланный аллахом. Он прислал нам символ нашей веры, чтобы осветить нам путь к победе.

А теперь, дорогая моя, может быть, мы с тобой отправимся на войну не только как соратники по оружию в деле ислама, но и в том

более сладостном и священном союзе, который, если ты позволишь, я попрошу пророка благословить завтра, и который, как только он будет создан, клянусь аллахом и всеми святыми ангелами, будет единственным союзом такого рода, которого я буду искать, пока мы не окажемся вместе перед воротами рая.

Век за веком мы встречались и были разделены. Но может быть теперь, когда мы едины в более высокой и святой вере, чем мы знали прежде, мы соединим руки и сердца здесь навсегда, пока милость аллаха не завершит наш земной путь в раю?

Она молча выслушала меня до конца, опустив глаза и ступая рядом медленными, уверенными шагами. Затем на некоторое время между нами воцарилась тишина, в которой я слышал биение своего колотящегося сердца и частое мягкое дыхание, с которым ее грудь поднималась и опускалась под гибким кольчужным корсетом, слегка прикрытым шелковым бурнусом.

Наконец, она остановилась. Когда она подняла голову и посмотрела на меня, передо мной снова стояла сама Илма, прекрасная своей красотой и чистая, как небесный свет. Она заговорила тем же мягким тоном, который я слышал из уст Илмы, когда мы лежали в нашей свадебной могиле в песках за Ниневией:

— И откуда ты знаешь, о Халид, что это последний этап путешествия, которое, по воле аллаха, мы совершим вместе? Нет, не хмурься — ты, конечно, не станешь сердиться на меня, твою подругу, которую ты так часто обретал и так же часто терял, если таковой, по истине аллаха, являюсь я, — но выслушай меня так же, как я слушала тебя.

Ты говоришь, что любил меня в прошедшие века и любишь до сих пор в этой своей новой жизни. О других твоих жизнях я ничего не знаю, кроме того, что ты мне рассказал и что я, кажется, видела в смутных видениях, мелькавших во сне. Но в этой моей жизни аллаху угодно было вложить в мое сердце любовь к тебе, и, поскольку это так, нет ничего постыдного в том, чтобы сказать об этом. Но я не могу тебе дать все, о чем ты просишь, так как что-то подсказывает мне, что это не по воле аллаха.

Ты не из тех, кто забирает плоды победы до того, как битва выиграна. Нам с тобой предстоит еще много сражений за веру, прежде чем придет время любви и покоя, но вот что я обещаю тебе клятвой

девы ислама — я буду твоей боевой невестой, и мы будем вместе в браке войны.

Я пойду с тобой против неверных, и мы будем сражаться бок о бок во имя священного дела аллаха и его пророка, и если будет написано, что вместе мы завоюем весь мир для ислама и вернемся в священный город, то наименьшей из твоих наград будет то, о чем ты просишь меня. Но ислам должен быть на первом месте, потому что я посвятила ему душу и тело, и ты должен победить в борьбе за веру, прежде чем я смогу отдать себя тебе, не нарушая клятвы, которую дала.

— Тогда, да поможет мне аллах, я одержу победу для ислама и для тебя! — я вытащил ятаган из ножен и вытянул его вверх, так что он засиял белым в лунном свете. — Ты сдержишь свою клятву аллаху и обещание мне, а я сдержу свою клятву тебе, и вместе мы завоюем мир для ислама и для бога, или вместе падем, сражаясь за веру, и рука об руку отправимся в рай!

Затем я сунул клинок обратно в ножны и обнял ее. Она не сопротивлялась, и я скрепил нашу взаимную клятву на ее устах.

Когда мы вернулись к шатру Дерара, он уже поджидал нас и обрушил на Зорайду град шуточных упреков за то, что она покинула пост накануне военного похода. Мы объяснили ему причину дезертирства, а затем я оставил их и ушел в свой шатер, чтобы уснуть и видеть приятные сны о прошлом и настоящем, так как я искренне верил, что сама Илма вернулась со звезд, чтобы снова выйти со мной на битву, как это было в старые добрые времена, которые спустя века я все еще так нежно вспоминал.

В первый час утренней молитвы пророк вышел из города, а следом все горожане и паломники собрались огромной толпой вокруг лагеря. Когда молитва была произнесена и многоголосый хор вознесся к небу, признавая единство бога и миссию его пророка, Мухаммед поднялся на небольшую возвышенность и там в окружении Аббаса и Умара, Абу Бакра, с которым вместе бежал из Мекки, и Абу Суфьяна, некогда принца Мекки, и других известных деятелей веры благословил наши знамена и вверил наше предприятие милости аллаха.

Он передал священное зеленое знамя в руки Зейда и сказал, что если Зейд падет, то Джафар понесет знамя, а если он тоже погибнет, тогда Абдалла, а если и тот будет призван в рай, то армия должна будет

избрать нового командующего. Дав еще одно благословение, он отпустил нас, и с молитвами и напутствиями огромного множества людей мы отправились в первый военный поход мусульман за пределы Аравии.

Много дней мы двигались через пустыни и горы, а иногда и через приятные области, пока наконец наши разведчики на быстрых верблюдах-дромедарах не сообщили, что большое войско римлян и сирийцев собралось в Муте у южного Иордана, чуть больше чем в дне пути от нас. Наступил час вечерней молитвы, и, проделав то, чего требовала вера, мы созвали военный совет, на котором решили без промедления выдвинуться вперед всеми боевыми силами, оставив вьючных животных и их погонщиков догонять нас не спеша, чтобы мы могли напасть на неверных в прохладе утренней зари.

Ночь только-только переходила в раннее утро, когда их часовые заметили нас. Наш боевой клич пробудил их от утреннего сна. Легкая сирийская кавалерия первой появилась на поле боя и сдерживала нас, пока не подоспели тяжелые войска. Поэтому к тому времени, когда мы разбили сирийцев яростными атаками и отбросили их назад в лагерь, мы обнаружили, что между нами и лагерем встал сплошной ряд римской фаланги, похожий на ошетилившуюся копьями стену стали и меди. Зейд сидел верхом на огромном свирепом боевом верблюде. Не обращая ни малейшего внимания на суровый и грозный строй, с которым мы столкнулись впервые, он взмахнул священным знаменем в одной руке и копьем в другой и крикнул:

— Бог дарует победу! Рай! Рай! — и направил своего зверя в центр римской линии.

Мы бросились за ним диким, неистовым, ликующим вихрем, а ветераны Ираклия смеялись над нами, излучая презрение к орде полуобученных варваров, какими мы несомненно казались им. И все же наш натиск был так яростен, и так велико было наше презрение к смерти, что тройная стена пошатнулась и чуть не разлетелась на куски.

При первом же натиске Зейд упал, истекая кровью от множества ран. Джафар, справа от него, схватил знамя. Тогда огромный римлянин, который мог бы быть братом-близнецом Марка Антония, в роскошном алом одеянии, весь в золоте и стали, верхом на огромном черном жеребце, при виде которого имя моего старого скакуна сдавленно выскочило из моих уст, пробился сквозь толпу и нанес

Джафару размашистый удар длинным прямым обоюдоострым мечом с золотой рукоятью. Стоило мне только увидеть, как он сверкнул на солнце, как я сразу узнал в нем мой добрый меч, священную сталь Армена.

Удар обрушился, и правая рука Джафара упала. Он поймал падающее знамя левой рукой, но лишь за мгновение до того, как и эта рука была отрублена врагом, нависшим над ним. Джафар прижимал знамя к груди двумя кровоточащими обрубками, все еще выкрикивая боевой клич, когда огромный клинок опустился снова и рассек его почти до седла. Когда Джафар свалился, Абдалла бросился вперед и, свесившись с седла, поднял знамя и принялся размахивать им:

— Вперед, правоверные, за ислам! Перед нами победа или рай!

Он тоже упал, пронзенный и изрубленный полусотней ударов копьем и мечом, и наконец настала моя очередь. Я забыл обо всем при виде своего несравненного меча в руках врага. Давно забытый боевой клич Армена звенящим криком сорвался с моих уст. Я пришпорил коня, перескакивая через друзей и врагов, которые на мгновение застыли, замороженные моим странным диким криком. Кто-то сунул мне знамя в левую руку, когда я проскакал мимо тела Абдаллы, и в следующее мгновение я оказался лицом к лицу с римлянином, который убил его.

Когда я шел на него с опущенным копьем и поднятым щитом, сзади прозвучал возглас ликования и торжества, потом долгий, пронзительный вопль, и вот — быстрый рывок и грохот копыт. Огромный черный конь вытянул великолепную голову, его пасть была оскалена, как у рычащего тигра. Крепкими белыми зубами он схватил моего коня за шею, встряхнул, и мой конь замер и задрожал.

Я отбросил копье и щит, схватил коня римлянина за гриву и перепрыгнул через его голову как раз в тот момент, когда мое животное пало. Огромный меч просвистел в воздухе за моей спиной, а я обхватил всадника руками за пояс, могучим рывком сбросил его с седла, и мы с громким лязгом доспехов и оружия упали в кровавую, истоптанную грязь.

В следующие одну-две минуты я был слишком занят, чтобы обращать внимание на общее сражение. Я знал только, что вокруг нас каким-то образом освободилось место и что огромный черный конь

исчез, иначе он наверняка схватил бы меня за шею и одним ударом зубов вышиб бы из меня дух.

У меня было преимущество, потому что римлянин упал на спину, а я на него сверху, но, когда я попытался схватить его за горло, моя рука соскользнула по его полированному нагруднику, и я свалился в сторону. В следующий миг он вывернулся из-под меня, и какое-то мгновение мы лежали на боку, лицом к лицу, цепляясь и хватаясь друг за друга.

В потасовке кинжал выпал у меня из пояса и воткнулся в землю между нами рукоятью вверх. Я потянулся к нему, но враг оказался проворнее и быстрым рывком выхватил кинжал из ножен. Лезвие взметнулось в солнечном свете, и тогда я сыграл с врагом шутку, которая решила исход дела.

Я отпустил его и перекатился на спину, полузакрыв глаза. Решив, что я потерял сознание, он с торжеством что-то коротко прошипел и ткнул кинжал мне в шею. Но прежде чем лезвие коснулось меня, я выкинул правую руку и схватил врага за запястье с такой силой, что косточки в его руке затрещали. Затем медленным, выворачивающим движением я заломил его руку так, что кости сломались, а суставы выскочили из гнезд. Кинжал безвредно скользнул по моей кольчуге, его лицо посерело от боли, левая рука, которой он пытался схватить меня за горло, ослабла, и я нанес ему такой удар под челюсть, что в ней что-то хрустнуло, и он упал без чувств.

Я встал, встряхнулся, смахнул пот и грязь с лица и огляделся. Первое, что я увидел, был лежащий рядом огромный меч. Я поднял его, и когда мои пальцы снова сомкнулись на знакомой золотой рукояти, я взмахнул им высоко над головой и снова выкрикнул тот удивительный боевой клич, чей незнакомый звук принес мне одно мгновение паузы, которое решило исход поединка.

Тогда я поцеловал рукоять с пылом человека, впервые целующего губы возлюбленной, и в этот момент рысью подъехала Зорайда.

— Мир тебе, Халид! Вижу, ты снова нашел свою вторую любовь! Это была доблестная битва! Мы освободили поле для тебя, чтобы ты с честью выиграл ее.

Я огляделся и увидел сотню наших воинов-дев, окруживших меня широким кругом, отгоняя и друзей, и врагов мечами и копьями, а снаружи со всех сторон все еще гремел бой.

— Мир и тебе, Зорайда! — ответил я. — Да, мой боевой друг вернулся ко мне через много лет. А теперь благослови его еще раз, как ты сделала это давным-давно в Арме, и тогда ты увидишь, что он может сделать во имя ислама и во имя тебя.

С этими словами я взял меч за клинок и протянул ей золотую рукоять, а она, приняв ее правой рукой, поцеловала ее, как это сделала Илма много веков назад, и вернула со словами:

— Держи свою мечту! А теперь садись снова на коня и давай посмотрим, как рассеются неверные.

Она подала знак двум девушкам из своего отряда, и они подъехали, ведя черного римского коня между ними. Как я узнал впоследствии, именно Зорайда и ее девушки промчались мимо меня, расчищая дорогу, когда я атаковал римлянина, и поймали его коня, когда я сбросил с него всадника.

— Воистину, ты сделала меня своим слугой и должником навеки! — воскликнул я, бросив взгляд любви и благодарности на ее пылающие щеки и сияющие глаза. Я схватил великолепное животное за гриву и подхвостник и вскочил в седло. Когда мои ноги нашли стремяна, уздечку отпустили, и конь встал на дыбы подо мной в один короткий миг возмущения; но с таким же успехом он мог бы попытаться вылезти из седельных подпруг, чтобы сбросить меня. На его широкой спине я чувствовал себя настолько привычно, что, когда я послал его гарцевать и скакать по кругу под восхищенными взглядами сотен пар ярких глаз, конь понял, что нашел своего хозяина.

Зорайда подъехала ко мне. Наши всадники, что стояли между нами и врагом, открыли нам путь, и под дикие крики и торжествующие возгласы мы двинулись к отряду римских всадников, который как раз в это время атаковал отряд наших пехотинцев. Им было достаточно одного взгляда на меня, чтобы понять, что их предводитель либо мертв, либо захвачен в плен, потому что я сидел верхом на его огромном черном коне, все еще украшенном его яркой сбруей, и в моей руке был меч, с которым он вышел на битву.

Они бы повернулись и сбежали, если бы у них было время, но мы слишком быстро их догнали. Мы напали на них с фланга, прежде чем они успели развернуться, а в следующее мгновение я уже был среди них, призывая аллаха и победу и посылая людей и лошадей в кровавую

топть с каждым шагом коня и с каждым ударом моего дорогого давно потерянного клинка.

Позади меня двигались Зорайда и ее девы, которые яростно рубили и крошили, кололи и резали, как лучшие конные воины всех веков, и с пронзительным смехом призывали разбегающихся трусов остановиться и сразиться с женщинами, если они боятся мужчин, хотя, клянусь богами, что касается меня, то я предпочел бы иметь дело с вдвое большим числом мужчин, чем с теми фуриями, которые следовали за знаменем пророка в наших самых ранних войнах.

Как только мы рассеяли римскую конницу, что заняло немногим больше времени, чем мой рассказ о нашей первой атаке, мы поскакали назад к главному сражению, и там обнаружили Али, Амру и Дерара, которые быстро оттесняли идолопоклонников, разбив их строй на беспорядочно сопротивлявшиеся группки, которые, надо отдать им должное, сражались с большей храбростью, чем надеждой. Сверкающая гордость римской фаланги была сломлена и исчезла. Осталась только одна когорта, собравшаяся вокруг имперского штандарта, перекрывая друг друга щитами, как делали во времена великого Юлия.

Перед ними лежала темная, неровная полоса трупов мусульман, показывающая, как сурово и аккуратно римляне делают свою последнюю работу, а перед этими телами товарищей две сотни наших лучших лучников осыпали римлян стрелами так же густо, как снежинки падают на Ливан.

Когда мы подъехали, Али, который теперь был рядом со мной, метнул дротик с такой меткостью и силой, что дротик расколол шлем человека в первой шеренге и вонзился острием в горло человека за ним. Оба пошатнулись, упали вперед, и на мгновение ряд оказался разорван.

Прежде чем шеренга успела сомкнуться, я собрал коня под собой для прыжка, и вместе мы с грохотом прорвались в эту брешь, отшвырнув людей на землю по обе стороны от нас, и я оказался внутри, прорубая себе путь туда, где стоял штандарт.

Али и Дерар проскочили за мной, а следом колонна наших пустынных всадников, словно смуглый поток, ворвалась через все расширяющуюся брешь. Остатки фаланги растаяли под нашим яростным и теперь торжествующим натиском, и когда я протянул руку,

чтобы схватить знамя, Тигрол, как я уже называл своего черного скакуна в честь моего давно умершего боевого коня в Армене, схватил за плечо солдата, державшего знамя, и поднял его в воздух, а когда его бледное агонизирующее лицо оказалось на уровне моей руки, я вонзил в него свой клинок так, что сталь выступила на четыре ладони сзади из его шлема. Он упал, а я вырвал знамя и, размахивая им высоко над головой, понесся галопом сквозь убегающих римлян. Наконец, я остановил коня, смеясь и тяжело дыша, посреди того, что когда-то было их лагерем.

Так закончилась первая битва, в которой воины ислама померялись мечами с неверными.

Той ночью меня избрали вождем вместо тех, кто так доблестно пал в первых рядах битвы, и так как мы потеряли добрую четверть наших людей и хорошо знали, что дальнейший путь нам преграждает много укрепленных городов, я собрал военный совет с Дераром, Али и Амру, и мы решили вернуться в Мекку, чтобы объединить наши силы с армией, которую пророк собирал для войны, и задача которой состояла в том, чтобы решить господство на Востоке между Исламом и Римом. Поэтому той же ночью мы отправились в путь, груженные добычей и пленниками.

Среди пленников был тот рослый римлянин, у которого я отвоевал свой любимый меч. Его ранами были только сломанная рука и раздробленная челюсть, и я проследил, чтобы за ним тщательно ухаживали в походе, чтобы он мог рассказать, если сможет, историю моего потерянного меча или, по крайней мере, как он попал к нему, потому что я горел желанием узнать, что случилось с мечом и кольчугой, которую еще предстояло найти и отвоевать, с той ужасной минуты, когда я упал и умер на Голгофе.

Но этой надежде не суждено было сбыться, потому что на вторую ночь нашего похода один из его людей, которому я по доброте душевной позволил быть рядом с ним, заколол его по его же приказу, а затем признался, что его господин — римский рыцарь, который предпочел смерть от руки римлянина позору жить во власти варваров.

Я был страшно зол и готов был убить его на месте, но этот парень был храбр, и он был пленник, а его хозяин был суровым и достойным противником. Поэтому вместо убийства я наполнил его шлем золотом из своей доли добычи и велел вернуться в Сирию, сказав, что он зря

потратил жизнь своего хозяина, потому что, если бы тот честно рассказал то, что я хотел узнать, я бы отпустил и его тоже, чтобы он смог уехать и вылечить свою руку, так что, возможно, у нас была бы еще одна схватка в грядущих войнах.

Он уставился на меня в немалом изумлении, когда я высказал все это, и ответил с большим уважением, чем говорил вначале:

— Мой господин столь же милостив, сколь доблестен и силен, и я хотел бы, чтобы Дарус был жив, чтобы познать твою щедрость. Однако в обмен на твое золото и мою свободу, если захочешь услышать историю о мече, висящем у тебя на боку, ты можешь узнать ее. Согласно тому, что рассказал нам Дарус, по словам патриарха Иерусалимского Софрония, меч был найден в святом городе, и там же, как говорят, в храме Гроба Господня висит чудеснейшая кольчуга, которая, как я слышал, была найдена вместе с мечом на теле умершего старика на Голгофе в тот день, когда был распят господь.

Можете представить, какой холодок пробрал меня, когда я слушал его простодушные, откровенные слова. На мгновение я закрыл глаза и снова увидел, как тьма опустилась на этот ужасный холм шестьсот лет назад. Я увидел белую фигуру мертвого Христа, висящую высоко на большом центральном кресте, который униженные поклонники его сделали одним из многих символов своего идолопоклонства, и вспомнил, как сам Мухаммед говорил мне, что Иса, последний из пророков, воистину был сыном божьим, хотя эти идолопоклонники унизили его имя и издевались над ним, рисуя его изображения. Я подошел к солдату, положил руку ему на плечо и сказал на старогреческом языке, который выучил в Александрии:

— Отправляйся в Иерусалим со всей возможной скоростью и скажи Софронию, что тот, кто отвоевал свой меч, идет за своей кольчугой. Расскажи ему также о том, что видел и слышал в Муте, и передай ему, чтобы он остерегался за себя и свой город, если моих успехов не будет, когда я приду. А теперь ступай, и мир тебе!

Он бросил на меня испуганный взгляд, а затем, сделав знак своей веры, пробормотал что-то, что могло быть то ли проклятием, то ли молитвой, и, прижав к груди шлем с золотом, ускакал в темноту, охваченный таким ужасом, как будто увидел призрак из преисподней — кем я, по правде говоря, показался ему, когда он понял весь смысл моих слов.

Глава 18. Последний из пророков

Когда мы вернулись в священный город, то обнаружили, что вся страна между Меккой и Мединой гудит от военных приготовлений и что она переполнена новыми отрядами, которые стекались со всех сторон, чтобы принять участие в священной войне. Известие о нашей победе при Муте, ничтожной по сравнению с теми суровыми битвами, в которых нам суждено было нести знамя ислама, пробудила неистовый энтузиазм как у кочевников пустыни, так и у жителей городов, а вид нашей добычи и пленников заставил всех жаждать разграбления городов Сирии и Персии.

Мы четверо, удостоенные теперь званий защитников веры, были назначены командирами пятитысячных отрядов собираемой армии, а Мухаммед, услышав историю моего поединка с римлянином Дарусом, еще раз публично назвал меня в Каабе «Мечом божьим», тем самым дав мне титул, который более тысячи лет с тех пор ни разу не отделяли от моего имени.

Я хорошо помню, как он велел вечером того же дня прийти к нему домой, чтобы из первых уст услышать историю великого меча, который стал предметом восхищения всего воинства ислама. Когда я вошел в скромную комнату, он сидел в обществе Айши, самой любимой из своих жен, если не считать умершей Хадиджы, и плакал, закрыв лицо левой рукой. Я в изумлении остановился на пороге:

— Мир тебе, о Мухаммед! Что это я вижу? Неужели апостол божий плачет от слабости человеческой?

— Нет, Халид, — ответил он, поднимая залитое слезами лицо к свету лампы. — Не апостола божия ты видишь плачущим, но человека, который горюет о потере друзей, которых больше нет. Зейд, Абдалла и Джафар, герои ислама, уже в раю и им не нужны мои слезы. Тем не менее, они были моими друзьями, и поэтому как друг я оплакиваю их. А теперь сядь и расскажи правду о том, что я слышал о твоём вновь обретенном мече.

Он сделал знак Айше, она тотчас же встала и вышла из комнаты, а я сел перед ним на пол и рассказал ему всю историю меча, как уже рассказывал вам, начиная с того момента, когда я вытащил его из

алтарного камня Армена, и до того момента, когда я отвоевал его в битве при Муте.

— Воистину, пути аллаха так же таинственны и непостижимы, как и его милости, — сказал он, выслушав меня до конца. — У тебя была удивительная судьба, о Халид, единственное можно сказать, что она будет еще более удивительной. Но теперь слушай, и я расскажу тебе то, что, может быть, покажется тебе еще более чудесным и о чем ты никогда не расскажешь даже самым дорогим из своих смертных братьев, пока безошибочный голос внутри тебя не прикажет тебе говорить.

Я знаю, что твоя история правдива, хотя, может быть, никто на свете не поверит ей, потому что я был тем, кто устами жреца Ардо показал тебе часть твоей судьбы и смутно предвещал то, что должно было случиться с тобой. Я говорил с тобой в Салеме голосом мудреца Соломона и в образе Амемфиса, последнего из жрецов Исиды и посвященных в древние мистерии, я стоял рядом с тобой на Голгофе, когда Иса висел на кресте, и сказал тебе, что с его последними словами старый порядок мира закончился и троны всех богов опрокинуты.

С тех пор люди, слишком привязанные к старому идолопоклонству, кощунствовали, поклоняясь его изображениям, и осмеливались делать себе идолов из дерева и камня и раскрашивать побрякушки, которые они называли образами невидимого и неназываемого, и поэтому я вернулся на землю в последний раз, последнее из воплощений божественного послания к человеку, чтобы провозгласить миру, что аллах един и что нет бога, кроме бога, и этой истине и ты, Халид, и твои товарищи по вере будете учить этих тупых идолопоклонников мечом, раз они не слышат голоса истины и мудрости.

За это ваши имена никогда не будут забыты, пока правоверные исповедуют аллаха как своего бога и Мухаммеда как его пророка, и пока существует мир, они будут это делать. Может быть, после этой жизни ты проживешь и другие, как жил раньше, и в них ты, возможно, узришь триумф или крах ислама, это будет зависеть от того, будут ли поколения, которые придут после нас, придерживаться веры в чистоте сердца и бескорыстии цели или осквернят ее блудом и пустыми фантазиями.

Если они будут хранить ее в чистоте, тогда истина будет процветать, и у всего мира будет бог Авраама и Мусы, Исы и Мухаммеда, ибо этот бог един, а мы всего лишь его посланники.

Но если из собственных прихотей люди воздвигнут себе других богов и назовут их его именем, тогда много долгих, утомительных веков они будут бороться, слепо двигаясь сквозь борьбу и страдания, через войны, убийства и преследования, пока наконец в нужное для самого аллаха время истина не воссияет над ними, и тогда люди признают, что нет и никогда не было во все века других богов, кроме одного бога, который открыл себя людям согласно их разуму; и когда придет это время, о Халид, будешь ли ты жить новой жизнью на земле или стоять у врат рая в ожидании конца своего пути, вспомни, что сказал тебе Мухаммед, сын Абдаллы, этой ночью.

Он замолчал, а я, слишком пораженный его словами, чтобы сказать или сделать что-нибудь еще, поклонился ему почти до земли и произнес:

— Не мне говорить, когда вещает посланник аллаха. Да благословит аллах тебя, о пророк, и меня, самого малого из его рабов! Я слышал и повинуюсь. Не зря люди будут называть меня «Мечом божьим», ибо, клянусь святым именем аллаха, я буду использовать этот возвращенный мне меч против неверных, пока сама смерть не вырвет его из моих рук!

С этими словами я вскочил на ноги и встал перед ним, чтобы он благословил меня, а затем завернулся в накидку и вышел на равнину за городом, чтобы подумать обо всех удивительных и ужасных вещах, которые услышал, оставив его все так же сидеть молча и неподвижно на полу комнаты.

На следующий день пророк провел смотр своей армии за пределами города. Десять тысяч всадников и двадцать тысяч пехотинцев подняли к небу громогласные крики, когда над его головой развернулось зеленое знамя, и он объявил о намерении лично вести нас в Сирию.

Но и тогда среди нас были предатели и малодушные люди, ибо едва был определен порядок марша, как Абу Суфьян, который, по моему мнению, всегда был предателем веры и тайным врагом пророка, явился во главе пятидесяти лощеных, холеных торговцев города и

попросил отложить поход до более подходящего, по их мнению, времени.

Когда они подъехали, я был на коне во главе телохранителей пророка и помню так хорошо, как будто это случилось только вчера, а не более двенадцати веков назад, как Абу Суфьян подошел к пророку, сложив руки, и заговорил фальшивым, льстивым голосом:

— О пророк, как ни велика твоя мудрость, но нам кажется, что твое рвение еще больше, и было бы лучше, если бы твой поход был отложен до прохладного времени года, ибо близка жатва, а поля не убраны, и путь сейчас окажется утомительным, а пески пустыни безводными и жаркими.

— В аду тебе будет еще жарче! — воскликнул пророк, прервав его так гневно, что тот отшатнулся, словно его ударили. — Кто приглашал вас? Возвращайтесь в свои дома, неверные, и ждите нашего возвращения с триумфом! Вы недостойны сражаться за веру. Уйдите, уйдите и больше не оскверняйте мои глаза!

И тогда под насмешки всего войска малодушные ускользнули, чтобы скрыть свой позор дома, а мы, выкрикивая слова об аллахе и его пророке, о победе и рае, построились и двинулись в поход на Сирию.

Много дней мы шли, то довольные и веселые, то испытывая голод и жажду, потому что путь был долгим, солнце жарким, а пески трудными и безводными. Иногда мы и наши животные были так утомлены, что семь человек ехали по очереди на одном верблюде; но на всем нашем пути мы не встретили ни одного врага и не получили никаких враждебных вестей, так как ужас перед арабами уже далеко разошелся от Муты по всей земле Сирии.

Я с тремя тысячами наших лучших всадников прочесывал местность перед основной армией, но нигде не находил следов легионов Ираклия. Наконец, в десяти днях пути от Дамаска Мухаммед разбил лагерь в плодородной долине Тарбук, и там он, который всего восемь лет назад был беглецом в пустыне с единственным последователем и не более чем полудюжиной друзей в своей стране, получил уверения в покорности от всех племен и городов от берегов Евфрата до берегов Красного моря. Там же пророк в последний раз в жизни провозгласил священную войну против идолопоклонников, но всем последователям Исы в том краю, который входил в круг его власти, сохранившим древнюю чистоту своего поклонения, он даровал

мир и безопасность, и никогда, пока ислам оставался чистым, его приказы не нарушил ни один воин веры.

Когда мы закончили с приемом в подчинение областей южной Сирии и отправили сообщение Ираклию, в котором предлагали ему подготовиться к тому, что мы придем и отнимем у него его империю, мы вернулись в Мекку так же спокойно, как вышли, и после этого в течение целых двух лет в наших границах царил мир; и это время передышки мы использовали с благой целью, приводя в порядок новые владения правоверных и готовясь к той суровой борьбе, которая вскоре должна была потрясти мир Востока.

Поэтому последние дни пророка были полны мира и процветания. Он уже почти достиг предела в шестьдесят с лишним лет, дольше которого в те дни редко продолжалась жизнь человека. Я стоял среди опечаленной, безмолвной толпы, заполнившей Каабу, когда он взошел на кафедру, чтобы произнести правоверным свою последнюю речь, и хорошо помню те слова, которым мы внимали напряженно и внимательно.

— Если есть человек, — сказал он, — которого я несправедливо наказал, пусть моя спина понесет наказание за мою несправедливость. Если я разрушил репутацию истинно правоверного, пусть теперь он возгласит мои ошибки перед лицом этого собрания. Если я украл что-нибудь из его имущества, то тем, чем я владею, должно уплатить долг и проценты.

— Да, — сказал один человек, делая шаг вперед и поднимая руку, — ты должен мне три драхмы серебром, о апостол божий.

Моя рука уже поднялась, чтобы сбить несчастного с ног, когда Мухаммед приказал Осману, который был его секретарем, немедленно заплатить долг, а затем, повернувшись к человеку, вымолвил с дрожью в голосе и слезами на глазах:

— Благодарю тебя, друг, что ты обвинил меня здесь, а не на суде божьем!

Так в конце своей жизни и в зените своего могущества и славы говорил человек, которого лжецы следующих веков называли самозванцем и шарлатаном. Я расколол много черепов получше, чем у них, за меньшие оскорбления, и я хотел бы только, чтобы они жили в те суровые времена, когда для лживого языка у нас было одно

применение — это расколоть голову, которая содержала его, или вырвать его с корнем из рта, который он обесчестил.

Через несколько дней после этой последней проповеди он отправился из Мекки в Медину, потому что, как сам говорил, чувствовал, что смерть его близка, и он решил умереть в городе, который в темные дни открыл ему ворота, когда он был беглецом из города, в котором родился.

В паланкине в окружении всей своей семьи и друзей и сопровождаемый пятью тысячами всадников победоносной армии Сирии, пророк ислама совершил последнее земное путешествие.

Когда он добрался до дома, его первой заботой было привести в порядок хозяйство, освободить рабов и уладить последние земные дела. Затем в простой комнате в доме, который был не лучше, чем мог бы иметь любой другой горожанин, создатель новой веры и бесспорный повелитель миллионов лег умирать на сирийском ковре, расстеленном на полу, положив голову на колени Айши, своей главной возлюбленной.

Мы с Дераром стояли на страже у открытой двери комнаты, изо всех сил стараясь не нарушить тишину рыданиями, сотрясавшими грудь. Внутри его родственник Али и спутник бегства Абу Бакр наблюдали за угасающей искрой его жизни и прислушивались к последним словам, а снаружи улицы и площади были заполнены молчаливыми толпами, пораженными грядущим бедствием, которое люди, поклонявшиеся ему, считали невозможным.

Мы слышали его тяжелое дыхание, прерванное несколькими короткими спазмами боли, а затем Али, мягко ступая, подошел к двери и показал нам войти. Когда мы приблизились и встали у ног пророка, скрестив руки и опустив голову, он открыл глаза, посмотрел на нас и сделал слабый жест правой рукой, как будто прощаясь. Его губы шевельнулись, а мы напрягли слух, чтобы уловить то, что, как мы все понимали, должно было быть его последними словами на земле. Словно эхо из мира, в который уже взмыл его могучий дух, пришли слова:

— Аллах, прости мои грехи! Прощайте! Я иду навстречу соотечественникам на небесах. Будьте верны вере — рай — рай!

Последнее слово, лозунг тысячи побед с тех пор, отчетливо и громко слетело с его уст, и его голова упала на колени Айши. Так умер

величайший человек, когда-либо рожденный женщиной.

Глава 19. Халид в Сирии

Мы похоронили пророка на том самом месте, где он умер, и сегодня вы найдете его могилу там, где когда-то стоял его дом. Он не назвал своего преемника, а наш выбор пал, как вы знаете, на Абу Бакра, почтенного спутника бегства, и едва его провозгласили халифом, он выполнил предписания пророка, и священная война началась со смертельной серьезностью.

Сначала во главе 5 тысяч всадников и 10 тысяч пехотинцев меня послали в Ирак, за огромные курганы руин, где когда-то гордо и высокомерно стоял славный Вавилон, город-близнец древней Ниневии, и который теперь униженно покоится под песками пустыни, и где, как вы можете прочесть в ваших книгах, мы провели много сражений и одержали много побед за веру против магов^[25] и других идолопоклонников, и, по милости аллаха, вернулись с большой славой и прибылью.

Добравшись до Медины, мы узнали, что Ираклий наконец пробудился от лени и готовится смести нас с лица земли. Халиф уже разослал послания во все страны ислама, и в ответ на его призыв более 50 тысяч воинов, конных и пеших, одним славным весенним утром отправились из Медины на Дамаск.

Здесь нет места, чтобы описать мелкие битвы, которые мы вели по дороге, или о том, как пал сильный город Бозра, проданный в наши руки предателем Романом, — да будет имя его вечно позорным! — ведь под стенами Дамаска и на полях Айзнадина и Ярмука вскоре должны были свершиться дела более достойные рассказа.

На двадцатый день пути из Медины мы разбили лагерь среди зеленых полей, виноградников и пальмовых рощ, окружавших Дамаск, этот древний «город сладких вод», и когда ранним утром я выехал из нашего лагеря с Зорайдой, которая прибыла со своими девами-воительницами, чтобы разделить нашу славу, и увидел прекрасный город, окруженный рядами деревьев и тройными стенами, я обнаружил, что он так мало изменился, что повернулся и со смехом сказал ей:

— Не в первый раз наши с тобой глаза смотрят на этот прекрасный город, Зорайда. Как ты находишь, он сильно изменился с тех пор, как Терай из Армена и Цилла, царица-близнец Сабей, путешествовали через него вместе — да, через те самые ворота и по той самой дороге между кипарисами на пути от двора Тигра-Владыки к трону Соломона в Салеме?

— Кажется, я видела похожий город во сне, Халид, — грустно улыбнулась она в ответ. — Но для меня это всего лишь сон. Но для тебя, несомненно... Ах, посмотри-ка туда, помнишь ли ты что-нибудь более древнее? Помнишь ли ты свою битву с Нимродом под стенами Ниневии? Разве вон тот римлянин в блестящем убранстве, во главе своего войска под воротной башней не напоминает тебе чем-то Великого царя?

— Да, если присмотреться... Действительно! — рассмеялся я. На таком расстоянии в украшенных золотом доспехах, сверкающем шлеме с развевающимся плюмажем он и вправду был похож. — Оставайся здесь, Зорайда, в пределах досягаемости наших аванпостов, и ты увидишь славную битву, если он выйдет мне навстречу.

— Хорошо сказано, Меч божий, иди и преуспей за веру! — храбро ответила она, но с такой же бледностью на щеках и такой же улыбкой на губах, какую я видел, когда Илма желала мне удачи, когда я ехал навстречу могучему воину древности между войсками Армена и Ашшура. Я махнул ей рукой и поскакал галопом на открытое пространство, вызывая римлян под стеной.

Я был вооружен мечом, копьем и щитом. На ходу я поднял копье над головой и потряс им, и вскоре один из отряда выехал мне навстречу и спросил, не приехал ли я на переговоры.

— Переговоры! — я презрительно рассмеялся ему в лицо. — Неужели ты думаешь, что правоверный вступает в переговоры с идолопоклонниками? Возвращайся и скажи своему господину, вон тому изящному рыцарю в золотых доспехах, что если у него хватит смелости сломать копье за свою веру, то здесь его ждет простой воин ислама.

— Тот рыцарь, — надменно заявил юноша, — это Иоанн Дамасский, рыцарь и военачальник Римской империи, и такие, как он, не опускаются до единоборства с такими, как ты.

— С такими как я, глупец! — вскричал я, моя всегда готовая кровь вскипела от оскорбления. — Тогда иди и скажи ему, что здесь Халид, Меч божий, и он считает себя равным лучшему рыцарю во всей империи Ираклия.

При упоминании моего имени, которое уже наводило ужас на всю Сирию, юноша отпрянул и перекрестился, как будто встретил одного из демонов своей веры, и, не сказав больше ни слова, повернул коня и ускакал обратно к воротам.

Я видел, как он коротко переговорил со своим предводителем, а затем, к его чести, навстречу мне выехал ярко одетый золотой рыцарь с белым плюмажем. На расстоянии пятисот шагов мы отсалютовали копьями, затем длинное древко со стальным наконечником опустилось вниз, голова с плюмажем почти легла на шею лошади, а медный щит засиял, как золотое солнце в утреннем свете, когда он с грохотом полетел на меня.

Я ждал, пока он не окажется в сотне шагов от меня, и тогда рывок поводя и прикосновение каблука отбросили Тигрола одним прыжком на полдюжины шагов с пути рыцаря. Было уже слишком поздно поворачивать тяжелого боевого коня, и он промчался мимо, сотрясая на ходу землю, в то время как я скакал за ним галопом, смеясь над тем, как он, сидя в седле, вытягивал ноги перед собой, пытаясь обуздать своего скакуна, прежде чем тот унесет его, как это почти и случилось, в самую гущу моих людей, вышедших посмотреть на веселье.

Однако у него было мало причин для беспокойства, потому что, видя, что происходит, никто не поднял бы против него ни меча, ни копья, даже если бы он проскакал сквозь толпу. Он развернул коня и поскакал вдоль их фронта, а наши люди стояли молча, глядя на него с тем уважением, которое никакое различие веры или нации не может разрушить в сердце одного хорошего солдата по отношению к другому.

Но прежде чем он успел опомниться и снова пустить коня в атаку, я уже летел на него, и он успел только выставить копье и щит и броситься в мою сторону, как мы столкнулись с грохотом и лязгом. Наши щиты разлетелись на куски, копья треснули и расщепились до рукояти, а обоих скакунов отбросило на задние ноги. Некоторое время мы сидели и глядели друг на друга, смеясь, пока мои люди громко хвалили его, потому что они никогда раньше не видели всадника, который принял бы мой удар и удержался в седле.

— Хороший заезд, римлянин! — воскликнул я. — А много ли еще таких, как ты, в Дамаске, потому что, если так, то мы хорошо повеселимся!

Пока я говорил, я уже обнажил свой длинный меч, и когда Тигрол пришел в себя, я обрушил на римлянина размашистый удар, который снес бы ему голову с плеч, если бы он достиг цели.

Рыцарь видел, что меч приближается, и опустил голову как раз вовремя, чтобы спасти ее, так что стремительное лезвие срезало гребень и плюмаж его шлема, но не причинило другого вреда. В то же мгновение он ударил меня острием, а я, отклонившись в седле, принял удар между рукой и боком, задержав его меч там всего одно мгновение, а когда он выдернул его, мой клинок уже шел обратно. Он выставил защиту, чтобы спасти голову, стали Армена и Дамаска встретились со звоном, и в следующее мгновение осколки его клинка рассыпались по земле вокруг нас.

— Колдовство! — воскликнул он, боевой румянец схлынул с его лица. — Твой клинок выкован демонами, потому что честная сталь не смогла бы сделать такое.

— Колдовство или нет, славный рыцарь, — немного мрачно рассмеялся я, — пришло время тебе сдаться или твоя голова будет расколота, так что решай, что это будет.

— Я еще ни разу не сдавался, ни христианам, ни неверным, не сдамся и сейчас, — ответил он, глядя мне прямо в глаза. — Давай, бей!

Моя рука с мечом поднялась вверх, но клинок застыл в воздухе. Я опустил острие и с лязгом отправил меч обратно в ножны, потому что он был слишком храбрым человеком, чтобы убить его безоружным.

Так что, пока он сидел, удивленно глядя на меня, я бросил Тигрола прыжком к боку его коня, и когда он пошатнулся, я обхватил рыцаря за талию (отнюдь не нежным объятием, уверяю вас) и, собрав все силы, сдернул его с коня, перекинул через луку седла и повез его, брыкающегося, извивающегося и изрыгающего проклятия, в наш лагерь под смех моих людей.

Там я оставил его, самого несчастного человека в Сирии в то утро, под надежной охраной и, взяв новое копье и щит у Дарара, приготовился снова выехать на открытое место, чтобы поискать другого врага.

— Но ты же устал, сражаясь с этой собакой, Халид! — закричал он. — Останься здесь и отдышись, дай мне выйти сразиться со следующим.

— Нет, Дерар! — ответил я, забирая у него оружие. — Это была всего лишь легкая забава, и все мы отдохнем в будущем мире. Позволь мне встретиться еще с одним, а ты займешься следующим.

И с этими словами я поскакал навстречу второму рыцарю, который уже выехал из-за стен — мощный, дородный воин, великолепно одетый и вооруженный по той красивой византийской моде, которая давала нам такие изысканные трофеи в подобных поединках. Он был если не храбрее, чем предыдущий, то осторожнее, и добрые полчаса, если судить по солнцу, мы нарезали круги, уворачиваясь и отскакивая друг от друга на открытом пространстве между теперь уже переполненными стенами города и нашим лагерем, из которого тысячи людей пришли посмотреть на эту забаву.

Наконец мой конь споткнулся о камень и сбился с шага, и тогда, как молния, рыцарь пошел в атаку. Я скинул копье и спрыгнул с седла как раз в тот момент, когда Тигрол с диким ржанием развернулся на задних ногах и впился огромными зубами в морду римского скакуна. Всадник и две лошади рухнули на землю, и все, что можно было видеть в этот момент, — это облако пыли, блеск доспехов, корчащиеся тела, руки, ноги и лежающиеся копыта.

Как дурак, я стоял, опершись на меч, и смеялся, глядя на это зрелище, не желая убивать человека в таком жалком положении. А он сыграл со мной такой ловкий трюк, какого еще не видывали в веселой военной игре. Тигрол первым вскочил на ноги и, клянусь, едва успел выдохнуть пыль из ноздрей, как этот неверный вскочил ему на спину и умчался прочь, торжествующе размахивая мечом над головой.

Можете представить, как глупо я выглядел, стоя там и глядя вслед своему коню с врагом на спине, под громкий смех и глумливые вопли на городских стенах, звоном отдававшиеся в ушах. Но у меня было мало времени отругать себя за глупость, потому что неверный быстро развернул Тигрола, принял копье, с которым один из его людей галопом выехал ему навстречу, и поскакал на меня, вооруженного одним мечом.

Он знал, что мне не захочется убивать своего коня, как я должен был бы поступить, чтобы свалить всадника, и поэтому, несомненно,

рассчитывал на легкую победу. Но он не учел ту нежную дружбу, которая всегда была между арабским всадником и его скакуном. Когда он с грохотом поскакал на меня, я застыл как вкопанный, и в напряжении момента на стенах и в наших рядах воцарилась мертвая тишина.

Когда он оказался в пятидесяти шагах от меня, я отпрыгнул в сторону и знакомо свистнул Тигролу. Послушный, как собака, тот остановился и рысью направился ко мне, неся на спине богохульствующего неверного, воплощение беспомощной ярости и недоумения, над которым смеялись боги и люди. Напрасно он вонзал жестокие шпоры в бока храброго животного, напрасно дергал уздечку и пилил его удилами. Конь ни на шаг не свернул ни вправо, ни влево, и ни на шаг не прибавил ходу.

Я бросил меч в ножны и, не упуская случая, схватил Тигрола за хвост, а затем, крикнув ему, чтобы стоял спокойно, вскочил ему на задние ноги, и в следующее мгновение обеими руками схватил неверного за горло и стал душить его. Он тщетно пытался повернуться и пронзить меня мечом, потому что тот был слишком длинным для ближнего боя. Он пинал меня каблуками, задыхаясь, царапал мои ноги шпорами, и яростно пытался броситься на землю и утащить меня с собой.

Я держал его за горло до тех пор, пока его лицо не почернело, голова не свалилась вперед, и он не перестал сопротивляться. Тогда я снова свистнул Тигролу, и он поскакал в лагерь под такую бурю смеха, криков ярости и торжества, каких никогда не слышали серые стены Дамаска. Когда мы подъехали, я сбросил второго пленника на землю и, спрыгнув, обратился к толпившимся вокруг меня с поздравлениями:

— Нет, клянусь аллахом, это победа Тигрола и награда Тигрола, ведь если бы он был таким же глупцом, как его хозяин, то уже был бы слугой неверного, а моя голова уже заплатила бы за мою глупость!

— Тем не менее, если мне повезет так, как тебе, я буду вполне доволен, — заметил Дерар, проезжая мимо меня на открытое место в поисках добычи для своего меча и копья.

Но в тот день поединков больше не было, хотя он шесть раз проскакал перед воротами, размахивая копьем и выкрикивая оскорбления. Во всем Дамаске не нашлось рыцаря достаточно храброго, чтобы выйти и сразиться с ним после того, что произошло. И

вот, наконец, он прискакал обратно, самый злой во всем нашем лагере, извергая все проклятия, какие только мог дать наш арабский язык, а их, могу вас заверить, немало.

Целую неделю после этого мы продолжали работу по окружению города, все теснее стягивая наши линии вокруг стен, и все это время держали наши мечи блестящими, а руки наготове, совершая набеги на окрестные земли или вылазки на городские ворота, пока нас не остановили большие боевые машины на башнях.

Наконец, однажды ночью нас разбудил громкий звон колоколов и крики ликования в городе, и, пока мы гадали, в чем дело, один из наших людей, взятый в плен во время вылазки, спрыгнул со стены, рискуя сломать себе шею, и, добравшись до лагеря, сообщил, что в городе получено известие о том, что Ираклий посылает большое войско из Эмесы на помощь Дамаску. Остаться перед стенами означало бы оказаться меж двух огней, поэтому Абу Убайда немедленно созвал совет, и к утру мы сняли лагерь, а наши главные силы уже двигались на восток, потому что мы постановили решить судьбу Сирии в единственном сражении.

Тогда ворота города распахнулись, и длинные потоки конницы и пехоты хлынули наружу под развевающимися знаменами, под звон колоколов и ликующие крики, полагая, что Дамаск уже освобожден и что мы вот-вот будем раздавлены между ними и армией Ираклия. Тогда мы встали лицом к лицу, и в тот день произошла самая жестокая битва, в которой когда-либо проливалась кровь, потому что мы сражались за все, что приобрели, и за все, что надеялись получить, и когда битва закончилась, не больше десятка неверных из каждой сотни смогли приползти обратно в город, чтобы рассказать о том, что с ними случилось.

Но, несмотря на победу, мы были сильно ослаблены, и многие правоверные отправились в тот день в рай. Поэтому зная, что следующая битва должна решить нашу судьбу и судьбу Сирии, я отправил срочное послание Амру, который находился на границе Палестины, приказывая ему как можно скорее прибыть со всеми своими людьми и встретить нас в Айзнадине, и оставив сзади плачущий и дрожащий Дамаск, мы двинулись к тому знаменитому полю, где, как пишут, римляне и мусульмане должны были встретиться в самой суровой схватке, испытывавшей их силу и доблесть.

Глава 20. Смерть Зорайды

13 июля 633 года по вашему летоисчислению солнце поднялось над широкой голой равниной Айзнадина и осветило две величайшие армии, которым предстояло сразиться друг против друга за господство креста или полумесяца. Под нашими знаменами было почти шестьдесят тысяч мусульман — конных, пеших и на верблюдах, пехотинцы выстроились длинными рядами, а кавалерия была похожа на постоянно движущийся рой. Против нас стояла великая армия Ираклия, без малого сто тысяч человек, храбро сияющая золотом, медью и сталью, и веселая от кивающих плюмажей и развевающихся знамен.

Мы решили не атаковать до вечерней прохлады, если только римляне не нападут первыми, но это ожидание было слишком долгим для необузданного духа Дерара, который все еще горел желанием превзойти то, что я сделал под стенами Дамаска, и (во славу аллаха, я пишу это с большей гордостью и радостью, чем писал о своих несчастных деяниях) он сделал то, что хотел, и совершил в тот день величайший подвиг за все наши войны.

На глазах могучего византийского войска он выехал один, вооруженный единственным копьем, и неспешно скакал галопом взад-вперед, пересчитывая когорты и полки, как будто был их генералом. Вскоре выдвинулся отряд из тридцати римских всадников, чтобы окружить его и, не сомневаюсь, захватить живым или мертвым. Как только он увидел их, его длинное копье опустилось, щит поднялся, и, как стрела из хорошо натянутого лука, он бросился прямо на них.

Поднялось облако пыли, и в нем мы увидели массу борющихся тел, потом с другой стороны появился совершенно невредимый Дерар, а двое римлян остались лежать на земле рядом со своими брыкающимися животными. Остальные бросились за ним в погоню, и начался новый раунд этой мрачной военной игры.

Одного за другим он вылавливал и валил их, а остальные старательно, но тщетно гонялись за ним на своих неуклюжих лошадях, пока из тридцати, вышедших за ним, семнадцать не оказались неподвижно лежащими на земле. Тогда кровь оставшихся

превратилась в воду, и под улюлюканье и смех нашей армии они со всей возможной скоростью ускакали обратно, под защиту своих рядов.

Когда Дерар вошел, смеясь и тяжело дыша после своей славной работы, Абу Убайда мягко пожурил его за то, что он так опрометчиво рисковал столь ценной для ислама жизнью, на что Дерар ответил смиренно, потому что он был самым скромным воином, который когда-либо жаждал крови врага:

— Нет, спутник пророка, это не моя вина. Я выехал всего лишь посмотреть, какова их сила, а эти собаки напали на меня первыми, так что мне ничего не оставалось, как нанести ответный удар, потому что ты, конечно, не захотел бы, чтобы правоверный повернулся спиной к неверным?

На это старый Абу погладил бороду и рассмеялся, впрочем, как и все, кто слышал Дерара. Абу отослал его в тыл перевязать раны, а так как это своими руками сделала Зорайда, то я вскоре поймал себя на том, что завидую его ранам даже больше, чем славе, которую он обрел.

Но затем мне пришлось думать о другом, ибо то, что сделал Дерар, вселило такой ужас в сердца неверных, что они послали к нам посольство во главе со старым греком. Абу, Амру и я встретились с ними посредине между армиями. Они предложили тюрбан, халат и золотую монету каждому солдату, десять халатов и сто монет каждому из наших вождей и сто халатов и тысячу монет халифу, если мы покинем поле боя и вернемся с миром в свои дома.

Старый Абу продолжал поглаживать бороду, пока грек читал условия, а когда тот закончил, то посмотрел на меня и сделал знак, чтобы я ответил. Я презрительно рассмеялся в лицо таким жалким трусам:

— О вы, неверующие псы и в придачу трусы! Разве ваша армия меньше нашей, что вы пришли с такими предложениями? Разве вы не знаете, что у вас есть только три выбора — коран, дань или меч? Разве вы не знаете, что мы — народ, которому больше нравится война, чем мир? Возвращайся к своему господину и скажи ему, что мы презираем вашу жалкую милостыню, потому что еще до утра мы станем хозяевами вашего богатства и всего, что у вас есть.

Они побрели обратно молчаливые и удрученные, а я собрал всех наших военачальников и вождей и объяснил им, что перед нами — войско Ираклия, а сзади — стены Дамаска, и что у нас, следовательно,

нет иного выбора, кроме победы или поражения. Затем я отпустил их до вечера, потому что пророк всегда торжествовал в конце дня, и когда пришел и ушел последний час молитвы, мы двинулись в бой.

Сначала мы бросили направо и налево рои копейщиков и конных лучников, которые осыпали врага непрерывным дождем стрел. Потом наши пехотинцы атаковали их по фронту, который все еще сохранял название и форму римской фаланги. Наши пехотинцы без раздумий бросались на копья, и, когда передние ряды падали, те, кто шел сзади, взбирались на них и отрывали щиты руками, а затем мечом, топором, дротиком и коротким арабским копьем, которого наши враги давно научились бояться, прорубали и прорезали себе путь шаг за шагом сквозь ломающиеся ряды. А за ними следом двигались новые рои разъяренных, бросающих вызов смерти соплеменников. Вскоре добрая половина нашей пехоты сражалась среди огромной неповоротливой массы людей, которая еще на закате была римской армией.

Все это время наши стремительные тучи конницы бросались в атаку за атакой на разбитый фронт, фланги и тыл. И так мы сражались, пока не взошла заря над красным полем Айзнадина, чтобы осветить бегущие остатки могучей армии Рима, преследуемые и уничтожаемые нашими всадниками, в то время как пехотинцы собирали такую добычу, которую никогда прежде не приносили наши мечи.

Мы гнали последних беглецов до самых стен Дамаска. В те дни у нас не было военных машин, а против этих злодейских изобретений честная доблесть бесполезна. Поэтому они ускользнули от нас, но только на время, потому что теперь никто не мог прийти на помощь Дамаску.

Семьдесят долгих и утомительных дней мы держали их в осаде, стоя лагерем у ворот города и перед его стенами, пока, наконец, голод не вступил в бой на нашей стороне. Тогда упрямые ворота открылись. И все же аллах пожелал, чтобы неверные заплатили кровью за упрямство, потому что случилось так, что в тот самый час, когда посольство вышло из южных ворот, чтобы договориться с Абу Убайда, мы с Дераром и пятью тысячами наших самых опытных бойцов взобрались по северной стене и с мечами в руках ворвались на улицы.

Мы пробивались по прямой через центр города и только мы решили, что Дамаск наконец-то стал добычей наших мечей, как у ворот Авраама мы наткнулись на Абу Убайда в толпе священников и

монахов, умолявших его остановить наше оружие. Город был наш, но, увы, только наполовину он был выигран мечом. Никогда еще я не был так близок к тому, чтобы послушаться приказа вышестоящего, так как сердце мое пылало жаждой битвы, и свирепая жажда крови бушевала во мне.

Но напрасно я злился и умолял раз за разом, пока, наконец, почтенный спутник пророка не заставил меня замолчать и покориться, подняв руки над головой и воскликнув:

— О Халид, разве ты не знаешь, что слово мусульманина свято? Вот, аллах отдал город в мои руки, его правители сдались, и я обещал его безопасность. Если ты нарушишь это обещание, то вся слава, которую ты завоевал, будет покрыта еще большим позором, ибо только через мой труп ты сможешь продолжить путь крови!

От этих слов мое горячее сердце остыло, я пристыженно склонил голову, так что мы заключили соглашение, которое разделило город между нами, и в силу этого соглашения христианская колония в мусульманском городе Дамаске жила в мире под знаменем пророка с того дня и по сей день.

Целый месяц мы отдыхали в Городе сладких вод и узнали, что аллах взял Абу Бакра в рай, и что Умар теперь царствует как халиф вместо него. После этого пришло волнующее известие о том, что император Византии собирается дать последний бой за провинцию, которую мы почти вырвали из его рук, и вводит войска в Сирию по суше и по морю из Европы и стран к югу от Эвксинского ^[26] моря.

Мы выдвинулись со всеми людьми, бывшими под нашим командованием, и в нашем старом лагере в Эмесе к нам присоединился свежий отряд из десяти тысяч мусульман, которых Умар послал укрепить наши силы. Оттуда мы двинулись к Ярмуку, рассеяв по пути отряд из шести тысяч арабов-идолопоклонников из племени Гассана. Недалеко от Бозры, где ручьи с горы Хермон спускаются стремительными потоками к равнине десяти городов, на берегах Ярмука нас ждала последняя армия римлян, недалеко от того места, где река впадает в Тивериадское озеро.

Накануне битвы Абу вызвал меня в свой шатер и передал верховное командование в мои руки, так как был стар и болен и больше не мог выходить на поле боя, и поэтому благочестиво решил посвятить себя молитве за наше оружие и уходу за ранеными.

Римляне расположились вдоль берега реки. Их левый фланг был защищен бурной водой, а правый — хребтом, на котором они разместили множество отрядов лучников и пращников. К югу поднимался длинный ровный склон, на котором я расставил свои пятьдесят тысяч мусульман — самое большее, что мы, ослабленные нашими долгими походами, могли противопоставить более чем ста тысячам римлян и их союзников в последнем сражении, которое предприняла Византия, чтобы отстоять Сирию.

Я со своим отрядом встал в авангарде, Дерар справа от меня, Амру слева. В центре располагалась основная часть нашей пехоты; за ними свое место заняла Зорайда с девами-воительницами, так что те, кто вздумал отступить, должны были бы сделать это под огнем их глаз и презрительными ударами их языков; а в самом тылу стоял почтенный спутник пророка, развевая желтое знамя, которое несли перед пророком в битве при Чиабане, а вокруг него были жены и дети многих сотен правоверных. Линия, которую они образовали, была барьером, который не мог перешагнуть ни один человек с сердцем солдата.

Времени на разговоры было мало, поэтому, когда я в последний раз объезжал наши ряды, я показал мечом вперед и назад и крикнул:

— Победа и рай впереди, позор и адское пламя сзади. Помните об этом и не забывайте, что вы сражаетесь на глазах у аллаха!

Едва замер громовой крик, приветствовавший мои слова, как зазвучали римские трубы и началась мрачная кровавая работа. Пять когорт тяжелой римской кавалерии двинулись вперед широкой рысью, которая вскоре перешла в галоп, и, подобно лавине из стали и конского мяса, они обрушились на наш правый фланг, сбивая коней и людей одним своим весом и загоня оставшихся в основной корпус.

Трижды повторялась эта ужасная атака, и трижды тяжестью коней, людей и доспехов они оттесняли нас назад, разбитых и истекающих кровью, несмотря на всю нашу отвагу. Но трижды яростные упреки и горькое презрение Зорайды и ее дев посылали нас обратно, когда римляне отходили, в свою очередь отброшенные яростью нашего отчаяния.

В третий раз Зорайда с горящими от гнева и стыда глазами взмахнула мечом и прокричала: — За мной, девы ислама, покажем этим мужчинам, как умеют сражаться женщины!

Она пробилась сквозь редкие ряды и во главе своего отряда атаковала римский центр.

Крик ярости и боли вырвался из моей груди, когда я увидел, что моя любимая идет на верную смерть, и в тот же миг та же ярость вспыхнула в сердце каждого мусульманина, видевшего этот славный пример роковой смелости. Я поднялся в стремях, взмахнул огромным клинком над головой и закричал, сам не знаю что, потому что этот крик потонул в таком реве ярости и стыда, вырвавшемся из сорока тысяч глоток, что воздух содрогнулся, как будто разразилась буря.

Не думая ни о чем, не видя ничего, кроме этого храброго маленького отряда героинь, несущегося вниз по склону во главе с Зорайдой, я прикрикнул на Тигрола и помчался галопом, сопровождаемый могучим потоком ярости и отваги, бурлящим позади меня, и мы, сорок тысяч человек, одним диким клином ударили в прочную шеренгу римлян.

Я не знаю, что было дальше, кроме одного. Я видел, как белое перо на стальном шлеме Зорайды плавало туда-сюда по темному ревущему морю битвы. Пришел удар и грохот нашего непреодолимого натиска, и я чувствовал, как давление толпы воинов сзади несет меня к ее перу.

Я добрался до него, и какое-то мгновение мы с моей любимой сражались бок о бок, медленно прорубая себе путь сквозь смертоносную толпу вокруг. Внезапно толпа открылась, люди и кони перед нами ушли вправо и влево, пронзительный рев труб заглушил шум сражения, и по проделанной дорожке на нас с грохотом вылетел свежий отряд римской конницы с выставленными пиками, глубиной в три ряда.

— Зорайда, зайди мне за спину! — крикнул я, отчаянно бросив Тигрола вперед и напрягаясь в седле, чтобы принять удар. Я отбил одно из первых трех копий щитом, и отбросил его в сторону. Второе я разрубил отчаянным ударом своего большого меча, но третье прошло мимо. Лучше бы аллах сделал так, чтобы оно пронзило меня в самое сердце, потому что в следующее мгновение я услышал сзади резкий вскрик, который поразил меня, как ледяной кинжал в сердце. Я не осмеливался оглянуться, слишком хорошо зная, что увижу, но с

криком, больше похожим на крик дикого зверя, чем человека, я прорычал:

— Проклятие аллаха тебе, собака! Убирайся к своим товарищам в ад! — и мой мстительный меч обрушился на голову того, кто держал это роковое копьё с такой силой, как никогда раньше. Шлем и череп разошлись надвое, как разрубленный апельсин, и пока всадник падал, я подхватил его копьё и, не обращая внимания на пронесшуюся мимо меня атаку, оглянулся назад вдоль древка.

Увы, другой его конец руками обхватила Зорайда. Она сидела, покачиваясь в седле, бледная, как смерть, — нет, уже полумертвая, потому что острие вошло в ее грудь.

Последний взгляд любви блеснул в ее стекленеющих глазах сквозь пыль сражения, губы ее шевельнулись в последней улыбке, одновременно приветствуя и прощаясь, а потом ее милая голова склонилась вперед, и, когда она уже падала с седла, я выхватил проклятое копьё из раны, обхватил ее левой рукой и поднял на седло перед собой. Напрасно мои слезы и поцелуи падали густо на холодную красоту ее обращенного ко мне лица, лежавшего на моей измученной груди. Она была мертва, как тогда, когда моя рука вонзила кинжал ей в сердце в нашей могиле в пустыне за Ниневией, и снова она отправилась к звездам раньше меня.

Глава 21. Назад в тень

Прижимая к себе ее мертвое тело левой рукой, яростно и быстро размахивая огромным мечом правой и направляя Тигрола коленями, я пробивался сквозь массу сражающихся, в холодной ярости отчаяния не думая о том, выйду ли я живым или одно из тысяч копий и мечей, которые летали и сталкивались вокруг, сбросит меня с седла и швырнет нас обоих вниз, где мы были бы растоптаны до потери человеческого облика копытами и ногами, которые вспенивали кровавую грязь поля битвы.

Отчаявшийся долго не умрет, как говорили мы в те мрачные дни веры и фатализма, и поэтому я вышел живым, хотя и не без ранений, из кричащей, вопящей, сражающейся толпы и, наконец, отдал все, что осталось на земле от их милого и отважного предводителя, на попечение ее отряда из немногим более двух десятков воительниц, которые вернулись живыми из той отчаянной атаки, благодаря которой мы выиграли эту дорогой ценой купленную битву.

Потом я поскакал обратно в бой с единственной мыслью в своем тяжелом сердце. Я нашел Дерара и Амру, собиравших вместе цвет наших оставшихся всадников, чтобы дорого и смертельно отомстить за потерю, которая постигла нас. Римляне отступили в угол между рекой и холмами, а на нашей стороне прозвучал час вечерней молитвы, и Абу со знаменем пророка в руке читал молитвы и призывал нас отомстить за кровь павших правоверных.

Наши молитвы возносились в тихое вечернее небо, смешиваясь с песнями неверных; но прежде чем они закончились, из тридцати тысяч глоток мусульман вырвался протяжный, пронзительный боевой клич:

— Ла Илаба илла Аллах — илла Аллах — Аллах-ху! — и мы понеслись вниз по склону, шеренга за шеренгой, волна за волной, одним яростным, огненным потоком страстной отваги и жгучей мести. Люди кричали и вопили, лошади ржали и визжали, огромные неуклюжие верблюды вытягивали шеи и ревели, и подобно лавине, прорвавшейся сквозь деревья на горном склоне, мы с грохотом обрушились на остатки римского войска.

Никогда еще славная сталь Армена не делала такой жестокой и кровавой работы, как в этот короткий бурный час печального триумфа и горько-сладкой мести. Я сражался в безумном, слепом отчаянии рядом с доблестным Дераром, чье сердце пылало, как мое, а рука страдала от той же дикой скорби, как и моя, и с теми же мыслями, горящими в мозгу — убивать, убивать, убивать, пока последний оставшийся в живых римлянин не заплатит за дорогую жизнь, потеря которой лишила ислам его самого яркого земного света.

Ночь была далеко позади, когда Ярмук завершился победой. Каждый неверный, кто не бежал, был убит, потому что мы знали, что сломили элиту легионов Ираклия, и понимали, что он никогда больше не выйдет на поле боя (как, по правде говоря, и случилось) и когда снежные вершины Хермона начали краснеть в свете зари, Сирия была нашей, вся, кроме Антиохии, Алеппо и священного города Салема.

После Мекки и Медины мы почитали Иерусалим как самый священный город в мире, в память о Моисее, Соломоне и Исе, поэтому нам не потребовалось много времени, чтобы решить, что именно он должен стать следующей и величайшей наградой нашего оружия. Мы вернулись в Дамаск на месяц отдохнуть и подлечиться, а также дожидаться подкреплений из Аравии и Ирака, а затем двинулись на Салем.

Я снова увидел город с того же холма близ Вифании, откуда я вместе с Циллой глядел на священный город, сияющий славой, которую пролил на него Соломон. Город поседел за семнадцать столетий и лишился почти всего древнего великолепия; серый, мрачный и суровый, восседающий на крутых холмах и осажденный со всех сторон могучим войском, которое мы привели против него.

На северо-западе я узнал тот ужасный холм, некогда увенчанный крестом, на котором я упал, чтобы умереть, и увидел знамена новой веры, развевающиеся на его вершине, и когда я подумал обо всем, что пережил, и обо всем, что любил и потерял с тех пор, как начался мой удивительный путь, мой мозг затуманился, а сердце отяжелело от тайны и печали всего этого, и я мрачно задумался, когда же наступит следующий час моего отдыха.

Четыре долгих и напряженных месяца мы стояли лагерем на холмах вокруг Иерусалима. Это были месяцы непрерывного наблюдения, беспрестанных вылазок, атак и отражений, но ни разу мы

не пробили брешь в этих крепких, седых стенах, и ни один отряд не пришел из Византии на помощь городу, в котором находилась гробница Исы.

Наконец, когда голод и мор начали сражаться за нас на улицах и в домах города, ворота в конце улицы, которая когда-то называлась Красивой, открылись, и во главе двойной шеренги священников и монахов вышел патриарх Софроний, чтобы договориться с Абу Убайда о сдаче. Абу поставил неизбежные условия — коран, меч или дань, и патриарх, как вы знаете, выбрал последнее, но сам добавил к ним четвертое, что самый священный город в мире должен быть отдан лично предводителю правоверных, никому иному.

Это условие было принято, ибо, по правде говоря, оно было достойным, и тотчас же в Медину были отправлены гонцы, сообщившие Умару о случившемся. Через десять дней мы узнали, что он едет, и тысячей всадников выехали ему навстречу, разодетые в лучшие наряды, которые отвоевали у наших врагов. И вот, к нашему удивлению и стыду мы обнаружили, что преемник пророка и правитель Аравии, Сирии и Персии приехал один, если не считать свиты из полудюжины всадников, на старом рыжем верблюде с мешком зерна, еще мешком фиников, деревянным блюдом и кожаной бутылкой воды, перекинутой через седло.

Он посмотрел на нас, на наши золотые и шелковые роскошества с таким холодным и молчаливым презрением, что мы в едином порыве сорвали их с себя и бросили в пыль под копыта его верблюда, чтобы он проехал по ним и втоптал их в грязь — акт раскаяния, который внушил некоторым из ваших историков глупую фантазию, будто Умар собственными руками стащил некоторых из нас с коней и ткнул носом в пыль.

Увидев город, он воздел руки к небу и вскричал:

— Бог побеждающий! О аллах, даруй нам легкую победу! — и поскакал вниз, поставил перед воротами свой шатер из верблюжьей шерсти и сел на землю, ожидая, когда выйдет патриарх. То, что оставалось уладить, вскоре было сделано. Софроний вышел и положил ключи к его ногам, а Умар, вежливо поздоровавшись, сел на верблюда и поехал с ним в город, тихо беседуя о великих деяниях, происходивших здесь, как будто он был почетным посетителем и гостем, а не покорителем.

Ни одна жизнь не была отнята, ни одна золотая монета не была украдена, когда Салем перешел от власти креста к власти полумесяца, и Умар так строго соблюдал условия, которые он заключил, что, когда мы стояли в тот вечер с Софронием на ступенях храма Гроба Господня в час вечерней молитвы, он повернулся и сказал мне:

— Выйдем, Халид, помолимся там, на улице.

— Почему бы моему господину не помолиться здесь? — спросил патриарх, склонившись перед ним. — Разве улица более святое место, чем это?

— Нет, гораздо менее святое, Софроний, — с улыбкой ответил Умар. — Но если мы сейчас помолимся здесь, не используют ли мусульмане будущих веков наш пример как предлог, чтобы нарушить договор?

С этими словами он вышел на улицу, и я за ним.

Когда мы проделали то, что требовала вера, я вернулся и спросил:

— Тот римский солдат из отряда Даруса принес тебе мое послание, о Софроний, и моя кольчуга все еще висит на стенах твоей церкви?

— Да, так и есть, о Странник сквозь века, — ответил он медленно и уверенно, но все же словно во сне. — Ты тот, кто умер там, на Голгофе, в тот же час, когда господь умер на кресте. Сейчас ты хвалишься тем, что ты победоносный защитник иной веры, но твой урок еще не усвоен. Следуй за мной, и ты узнаешь больше.

Я вошел с ним в полутемное помещение церкви, и там он показал мою давно потерянную кольчугу, которую я так часто вспоминал и мечтал вернуть, висящую на стене перед распятием. Он снял ее и отдал мне со словами:

— Вот, у тебя снова есть то, что принадлежит тебе. А теперь послушай меня, Халид, так называемый «Меч божий» и воин ислама. Ты был бичом на земле для тех, кто называет себя именем того, чье смирение они высмеивали пышностью и тщеславием. В грядущие дни ты снова наденешь кольчугу, а поверх нее на груди ты будешь носить тот священный символ, который теперь ты высмеиваешь и богохульствуешь, хотя и в силу честного незнания. Да, сейчас ты слушаешь меня с удивлением, но когда ты в следующий раз увидишь стены Иерусалима, вспомни, что я сказал, и сохрани мои слова в своем сердце!

Взяв у него кольчугу, я взглянул в его спокойные старые глаза и, хотя для моих мусульманских ушей его слова были сущим богохульством, я вспомнил о религиях, что я видел, о том, как они восходили и угасали, и те яростные слова, которые я высказал бы другому, исчезли прежде, чем достигли моих уст. Я медленно усваивал свой долгий урок. Я видел вечную истину во многих обличьях, откуда мне было знать, что я не увижу ее во многих других, прежде чем мое путешествие закончится? Поэтому, резко дернув головой в порыве слишком быстром, чтобы его проконтролировать, я произнес тихо и почти смиренно:

— Воля невидимого непостижима, но то, что написано, исполнится, и да сбудутся слова твои. Не бойся, я запомню!

Я повернулся и молча вышел из церкви, а на следующий день, снова прикрыв грудь любимой кольчугой, отправился во главе сирийской армии на север в Антиохию. И по милости аллаха мы покорили не только Антиохию, Кесарию и Алеппо, но и Триполи, и сам древний Тир были отданы в наши руки, а затем покорились все прибрежные города, и не было ни одного города во всей Сирии и Палестине, который не был бы в нашей власти.

Но быстро сменявшие друг друга триумфы приносили мне мало радости, потому что самый яркий драгоценный камень в диадеме победы был уже недостижим. В четвертый раз жестокая рука горькой судьбы выбила полную чашу любви из моих рук и разлила ее сладкое вино на иссохшую землю под моими ногами.

Для такой печали, как моя, было только одно болеутоляющее средство — яростное опьянение непрерывной войной, поэтому, когда была покорена Сирия, я присоединился к армии Персии и после разграбления Ктесифона пировал с Дераром, Саидом и Али в Белом дворце Хосрова.

Позже я сражался полуголым и искал смерти от тысяч долгожданных опасностей в великой битве при Нехавенде, этой «победе побед», которая дала нам все земли Персии от Тигра до Оксуса, а затем с незаживающей раной в сердце и неутоленной жаждой души, я последовал за Амру в Египет и там, как тень на стене, я, который был Халидом-мечом божьим, победителем Дамаска, Айзнадина и Ярмука, завоевателем Сирии и самой блестящей фигурой в ярком великолепии той славной войны, я, герой ислама, исчез так

бесследно из поля зрения моих товарищей, что, не зная, где я умер, они построили мою гробницу в Эмесе рядом с могилой Зорайды.

После семимесячной осады мы взяли штурмом крепкий город Вавилон и римский лагерь, защищавший восточную оконечность лодочного моста через Нил в Мемфис; захватили остров Рода в центре реки за один день яростных боев и сбросили греков с египтянами в воду.

В ту ночь, движимый, как мне казалось, лишь любопытством, желанием еще раз увидеть тот древний город, который я лицезрел во времена Соломона и который был моим домом, когда Клеопатра была царицей Египта, я перешел на западный берег и побрел среди могучего лабиринта вековых развалин храмов и дворцов, которые я видел во всем блеске, пока не оказался перед большим темным пилоном, в котором в одно мгновение узнал вход в храм Птаха.

Я вошел, и там в серой, похожей на утес стене передо мной стояла низкая квадратная дверь, закрытая гранитной плитой, такая же красивая, как семьсот лет назад. Я вспомнил, что делал Аменемхет III, чтобы открыть ее, и мне захотелось попробовать сделать то же самое. Я поставил ногу туда, где была его нога, а правой рукой нащупал цветок лотоса, тайна которого уже была, быть может, навсегда утрачена.

Я нажал, и могучий камень опустился, скрытый механизм сработал так же идеально и бесшумно, как и в далекие века, когда он был впервые установлен. Я шагнул в прохладное темное пространство. Нога моя коснулась камня, он двинулся подо мной, и прежде чем я успел обернуться, дверь сзади поднялась.

В одно мгновение я был совершенно потерян для внешнего мира, как если бы я был похоронен глубоко под вечными скалами Эльбурса, но меня не заботила судьба, приближавшаяся к концу, который мог бы показаться ужасным для другого. Я искал смерти слишком часто и слишком нетерпеливо, чтобы беспокоиться о форме, в которой она пришла, поэтому ровными, уверенными шагами я пошел туда, где, как мне помнилось, находился внутренний зал.

Может быть, это было лишь плодом моего воображения, а может быть, одним из тех явлений, которые человеку не дано объяснить, — я увидел тусклый, белый, туманный свет, парящий передо мной посреди темноты. Я шел к нему, и по мере того как я приближался, он

разрастался, пока я не увидел алтарь Исиды и трон, на котором Клеопатра сидела почти семьсот лет назад, перед тем как дать клятву, нарушение которой покрыло ее позором и принесло гибель Египту.

— Почему бы мусульманину Халиду не сесть на трон фараонов?

Слова сами собой слетели с моих уст, и их эхо странным образом разнеслось во мраке и тишине. Я повиновался произнесенному порыву и сел, поставив ноги на сфинкса. Я устал от тяжелой борьбы, а трон был удобным, как кушетка, так что моя голова откинулась на пыльные выцветшие подушки, веки опустились, и я заснул.

И пока я спал, мне виделся сон о тех прекрасных женщинах, которые коснулись моей руки во время моего земного пути и ушли в тень раньше меня. Сначала давно умершая Илма, нежная и величественная, одетая в кольчугу, увенчанная сталью и золотом. Потом Цилла, испуганными глазами смотревшая на меня с подножия трона Тиглата. Затем Балкис, свирепая и раскрасневшаяся от нечестивой страсти. Далее Клеопатра с кровью на губах и аспидом на груди. Потом бледная, плачущая женщина с растрепанными волосами, которую я видел в тот краткий миг у креста. И, наконец, Зорайда с наконечником римского копья в груди.

И вот в четвертый раз занавес забвения опустился на врата моих чувств, и во сне я поплыл вниз по реке времени, которая течет из вечернего зарева прошлого в предрассветную зарю будущего.

Глава 22. Гость морских волков

Яркий и теплый поток света, медленно ползущий по лицу, разбудил меня. Я открыл отвыкшие глаза и смутно разглядел длинный тонкий луч солнечного света, который веером падал из щели высоко в крыше храма на трон, где я расположился полусидя-полулежа.

Я поднял руку, протер затуманенные глаза и пошевелил застывшими от долгого сна конечностями, и моя льняная и шерстяная одежда на глазах рассыпалась в клочья и пыль. На мне остались только стальной шлем, кольчуга, оружие и пояс с мечом. Одного этого было достаточно, чтобы понять, что еще один цикл моей удивительной судьбы завершился и вот-вот начнется новый.

Я вытянул затекшие руки и ноги, стряхнул с них пыль от рассыпавшейся одежды, поднялся, окоченевший и спотыкающийся, и тихо застонал, скорее от горя, чем от удивления, потому что на сердце у меня была печаль, когда долгожданный сон пришел ко мне, и сердцу было все еще тяжело от все еще живых воспоминаний обо всем, что я потерял. Я был подавлен немым, смутным предчувствием того, что, быть может, мне снова суждено найти и потерять. На меня давила тайна моей судьбы, которая крепко держала меня в своих невидимых планах.

В каком новом веке мира я проснулся? Как давно умерли, похоронены и, может быть, забыты те дорогие храбрые товарищи по оружию, с которыми я сражался за ислам? Что за новый мир лежал за стенами храма? Среди каких новых народов мне, одинокому чужаку среди чужих, предстояло вновь отправиться в путь? Как долго длился мой глубокий сон, похожий на смерть?

Я взглянул вверх, на луч света, все еще ярко падавший сквозь мрак большой комнаты, и, моргая, вспомнил, как Аемфис говорил (увы, когда это было, сколько лет или столетий назад?), что особое отверстие пронизало огромные камни крыши храма таким образом, что раз в 550 лет луна и солнце попеременно посылали луч света через него на трон Птаха.

После этого я вспомнил белый свет, сиявший передо мной, когда я вошел в храм, и который едва ли мог быть чем-то иным, кроме лунного

луча, который нес свою назначенную вахту и по какому-то таинственному указу сил, определяющих судьбы людей, направил меня к месту моего упокоения. Поэтому появление солнечного луча знаменовало прохождение, по крайней мере, полуцикла длиной в 550 лет.

Итак, я вошел в храм в 18-й год бегства по мусульманскому летоисчислению, который был 640 годом христианской эры, следовательно, по западному летосчислению сейчас должен был быть 1190 год. Если это было так, то прошло почти столько же времени, сколько минуло с того дня, когда я умер на Голгофе, до того, как первое воспоминание застало меня пастухом коз на аравийских холмах.

Я отряхнул пыль с рук и ног, осмотрел себя и обнаружил, что моя новая жизнь вполне могла бы начаться и в худшем положении. Века пролетели надо мной совсем незаметно, отняв у меня лишь то, что можно было легко заменить. Моя кольчуга была цела и, если не считать пыли между звеньями, блестела как всегда. Я вытащил меч из ножен, поводил великолепным лезвием по солнечному лучу и обнаружил, что его блеск не затуманен ни единым пятнышком ржавчины. Тогда я воспрял духом, потому что в моей руке был настоящий друг, оставленный мне жестокой судьбой, — яркий, сильный и верный, как всегда. И когда я крепко сжал рукоять, и мышцы моей руки напряглись и поднялись буграми, я увидел также, что у меня еще есть сила владеть им, а значит, и построить с его помощью новую судьбу.

Я бросил меч обратно в ножны, и меня посетили более серьезные мысли. Я был голоден, я хотел пить, и я был узником в храме, потому что, хотя я и сумел открыть дверь, чтобы войти, я не знал, как открыть ее изнутри, чтобы выйти, и в том конце храма не было источника света, чтобы поискать секрет двери. Неужели я пробудился от смертного сна только затем, чтобы снова умереть от голода и жажды в огромном мрачном подземелье, как волк в яме-ловушке?

Конечно, нет, и все же, как мне выбраться из этой могучей гробницы из вечного камня, из этого огромного мрачного лабиринта бесконечных комнат и галерей, окруженных, насколько я знал, еще более необъятными развалинами? Размышляя об этом и стараясь припомнить, не дал ли мне Аммемфис какой-нибудь ключ к открытию двери, через которую я вошел, я наблюдал, как солнечный луч

медленно поднимался от спинки трона, пока не дошел до резного символа Исида над алтарем, и как раз под рогатым диском я увидел два листа лотоса, вырезанные рельефно на камне, и между ними магическими символами высеченные слова:

«Над алтарем путь к свету и средство к жизни».

У этих слов было два значения, как мог видеть любой, имеющий глаза. Я вскочил на трон и, встав коленями на алтарь, надавил на листья лотоса как раз в тот момент, когда солнечный луч исчез, оставив меня в полной темноте. Нажав сильнее, я почувствовал, что стена передо мной отъехала назад. Я протянул руки в пустоту, но ничего не нащупал ни справа, ни слева. Тогда я опустил руки, и они легли на гладкую наклонную поверхность камня.

Итак, вот путь, но где же свет, ведь передо мной была крошечная тьма, хотя воздух галереи, или что бы это ни было, был прохладным и свежим, и я почувствовал слабый ветерок, дующий в лицо, когда наклонился в пустоту. Я пошарил руками вокруг и обнаружил, что за алтарем находится квадратная полость довольно внушительных размеров. Я заполз внутрь, ощупывая все вокруг себя, и вскоре, к моему удовольствию, моя рука попала на то, что я опознал как старинное египетское огниво.

С его помощью я вскоре добыл огонь и зажег один из двух или трех восковых факелов, лежавших на полу кладовой, так как это и в самом деле оказалась кладовая. В углу стояло несколько зеленых стеклянных бутылок, кувшин и кучка сушеных фиников и орехов. Вскоре я отбил горлышко одной из бутылок и омыл пыль веков в горле глотком настоящего старого выдержанного вина Коса, такого, каким я клялся Клеопатре более тысячи лет назад. После этого мой взгляд упал на большой свиток папируса, на котором я увидел первое имя, которое я носил на земле, написанное магическим письмом.

Немало удивившись, я раскатал свиток и на внутренней стороне на том же языке прочел следующее:

«Приветствую того, кто спал и проснулся!»

Жрецы Амона-Ра, поставленные Амефисом, сыном Сети, ждать твоего возвращения, следили за твоим сном на троне Птаха. Теперь я, Мнестенес, последний оставшийся в живых, будучи старым и больным перед лицом смерти пишу это для твоего сведения в момент твоего пробуждения. Старые боги мертвы, и некогда прекрасная земля

Хем превратилась в груды гробниц и развалин. Храм Птаха был похоронен и забыт на века всеми, кроме нас. Ступени под тобой приведут тебя к свету. Свитки из вощенной ткани содержат все, что осталось от сокровищ Пиопи, который был фараоном в Египте много веков назад. Богам они не нужны, а последний из их слуг умирает, так что эти сокровища вполне могут помочь тебе на части твоего земного пути. Прощай!»

В свитке папируса находились еще три свитка вощенной ткани. Один из них я разрезал кинжалом, желая увидеть, что же послала мне судьба, чтобы облегчить мой путь. Развернув ткань, я увидел ряды огромных алмазов, вдавленных в воск и сверкающих в свете факелов ослепительными искрами. Мои руки задрожали. Я развернул два других свитка, и когда я выложил перед собой все их содержимое, я сидел и, затаив дыхание, смотрел на такой бесценный клад драгоценных камней, какого даже я никогда прежде не видел, а ведь я видел Тиглата и Соломона во всем их великолепии, и перебирал добычу Дамаска и сокровища Белого дворца Хосрова.

Два других свитка были наполнены рубинами, жемчугом и изумрудами, еще более ценными, чем алмазы, настолько они были совершенны по размеру, форме и цвету. Я выбрал по нескольку самых маленьких камней из каждого свитка и сложил их в кожаный мешочек, в котором нашел также несколько потертых золотых монет.

Из маленького тюка льняной ткани, который, по-видимому, был оставлен для меня, я сделал себе грубый тюрбан и плащ, привязал драгоценные свитки Пиопи к телу под кольчугой, взял две оставшиеся бутылки вина, орехи, финики и, приготовившись снова встретиться с миром, нашел и поднял люк в полу, на который наемкнули слова старого жреца, и спустился по длинной лестнице.

Внизу оказался узкий проход, по которому я шел до тех пор, пока не уперся в гладкую каменную стену. Вскоре факел показал мне тайный знак, нажав на который, я заставил каменную плиту сдвинуться, и когда она вернулась на место за моей спиной, я очутился в комнатке, сломанная крыша и обветшалые стены которой говорили о том, что уже давным-давно в ней никто не живет.

Обнаружив, что помещение совершенно заброшено, я рискнул выйти на свежий воздух. Солнце уже почти село, и вокруг меня лежали безмолвные и безжизненные руины, жалкие осколки того

могучего Мемфиса, который я знал. Я подождал, пока день не сменился сумерками, а сумерки сгустились в ночь, а затем крадучись пробрался, как призрак, среди развалин к реке.

Я прошел, должно быть, добрых 10 км, пока не наткнулся на большую лодку, пришвартованную в ручье возле маленькой хижины, выстроенной из тростника и глины. Внезапное желание еще раз ощутить крепкое соленое дыхание моря овладело мною, и, завязав в белую тряпку рубин, стоивший десяти таких суденышек, я воткнул его в щель в швартовом столбе, забрался в лодку, отвязал ее и незамеченный отплыл по реке. Я немного прошел на веслах, потом поднял рваный коричневый парус и, положившись на удачу, улегся на корме и заснул, потому что, как человек, который долго спал, я все еще был сонный.

Я проснулся от толчка и крика. Я вскочил и увидел, что уже совсем рассвело и что позолоченный клюв большой ладьи раскалывает мою хрупкую лодку надвое. Я вскинул руку, поймал что-то и схватил. Это была абордажная веревка, свисавшая с носа ладьи. Я взялся за узел второй рукой и стал карабкаться, помогая себе коленями и ступнями, пока не ухватился сначала одной, а потом другой рукой за фальшборт, а затем перемахнул на борт как раз в тот момент, когда здоровяк, который вполне мог быть новым воплощением моего старого Хато, выбежал, замахнувшись двусторонним топором, явно намереваясь расколоть мой череп за то, что я так бесцеремонно забрался на борт его корабля.

У меня не было времени выхватить оружие или защиту, поэтому, вскочив на ноги, я сбросил льняной тюрбан и стальной шлем и повернулся к нему, а мои длинные золотистые локоны, которые были ярче и светлее, чем у него, заструились вокруг моей непокрытой головы.

Он замер с поднятым топором и уставился на меня, открыв рот, а я рассмеялся и подошел к нему с протянутыми руками и сказал на старом добром готском языке:

— Вас хейл, здравствуй, друг! У тебя резкий, но грубый прием для гостей, но так как я пришел незваным, то едва ли могу роптать. И все же мне кажется, что ты слишком хороший морской волк, чтобы ударить голову, которая обнажена перед тобой.

Он опустил топор и переложил его из правой руки в левую, затем правой рукой пожал мою и ответил на языке, который был достаточно близок к моему, чтобы я мог его понять:

— Ты прав, друг, кто бы ты ни был и откуда бы ни пришел. Я расколол много черепов, но ни одного беззащитного. Но кто ты? Твой язык и твои длинные светлые волосы говорят о том, что ты скандинав, хотя язык несколько странный, а волосы стоило бы постричь и причесать. Как тебя зовут и из какой ты страны?

— Сейчас у меня нет ни имени, ни страны, — ответил я. — Но у меня в сумке есть то, что купит мне землю, а то, что у меня на боку, принесет мне имя. Что же касается того, откуда я пришел... Ну, в конце концов, с реки, потому что я спал в лодке и плыл вниз по течению, когда ваша ладья врезалась в нее и потопила. А вы куда направляетесь и почему так быстро? Вы убегаете от тех двух галер за кормой?

— Как видишь! — ответил он, оглядываясь и улыбаясь дюжине или около того членов экипажа, которые подошли поглядеть на незнакомца. — Мы всю ночь грабили вверх по реке, и у нас под гребными скамьями добыча, которую не хочется отдавать этим чернолицым сыновьям Махаунда^[27], поэтому мы делаем все возможное, чтобы выйти в море, где возле устья реки нас ждет дюжина крепких драккаров^[28], и, клянусь молотом Одина, если эти язычники пойдут за нами достаточно далеко, их путешествие закончится на невольничьем рынке Тира.

— И с каких это пор северные морские волки научились бегать от какого бы то ни было врага и по какой бы то ни было причине? — спросил я, презрительно усмехнувшись и вспомнив, как мы со старым Хато и не раздумывали о том, чтобы броситься с одной галерой в гущу эскадры и весело сражаться, пока не придет помощь или победа не сделает это ненужным. — О боги! Если бы я был капитаном этой ладьи...

— Ну, друг, и что бы ты сделал, если бы был? — спросил крепко сложенный, длинноногий молодой воин, который шагнул вперед как раз, когда я говорил. Я видел, как небольшая толпа расступилась и пропустила его, и языки, которые начали шептаться во время моей речи, затихли, когда он подошел и встал передо мной — поистине великолепная фигура морского вояки, какую только можно было бы

пожелать увидеть, от крылатого шлема, венчавшего развевающиеся желтые локоны, до перевязанных крест-накрест высоких ботинок, обтягивающих крепкие стройные ноги. — Я Ивар Иварссон, и это мой корабль. Что бы ты сделал, будь ты на моем месте, человек, который клянется богами на языке, на котором говорили наши предки?

— На каком бы языке я ни клялся, — сказал я, глядя в его открытое, красивое лицо не без симпатии и уважения, — я видел столько сражений такого рода, что тебе и не снилось, и, если бы я был на твоём месте, я бы приказал гребцам сбавить скорость и грести одной рукой, а другой подготовить оружие, чтобы египтяне подумали, что гребцы устали. Тогда они начнут подходить по одному с каждой стороны, шаг за шагом, пока не смогут бросить крюки, и как только они это сделают и крюки зацепятся крепко, я бы издал боевой клич и бросился на них с топором и мечом и всеми людьми на борту, и, клянусь светлыми глазами Бальдра, ни топор, ни меч не останавливались бы, пока последний из египтян не был бы изрублен в куски и сброшен в реку.

— Египтяне! — рассмеялся он в ответ. — Да из какого века ты пробудился, что говоришь о египтянах? Разве ты не знаешь, что мусульманин Саладин сейчас владыка Египта и что вон те галеры полны лучших моряков и воинов восточного мира?

— А чем полна твоя славная северная ладья? — спросил я, гадая, кто такой Саладин и каковы теперь воины-мусульмане позднего времени. — Сколько у тебя на борту людей, способных владеть топором и мечом?

— Сто двадцать, — опрометчиво ответил он. — Но для чего ты спрашиваешь и по какому праву?

— Давай поговорим о праве, когда бой закончится, друг, — сказал я, сдергивая с плеч льняную накидку и вытаскивая из ножен большой клинок. — Посмотри вон туда, — продолжал я, указывая им за нос корабля. — Вот открытое море. Через час вы будете там. В поле зрения нет других боевых галер, поэтому, мне кажется, что это не устье Александрии, иначе, по правде говоря, ты наткнулся бы на осиное гнездо. Возьми шесть десятков человек и прикажи остальным шестидесяти следовать за мной, а когда те две галеры подойдут к нам, ты возьмешь одну, а я другую, и посмотрим, кто из нас первым очистит свою палубу.

Люди вокруг нас приветствовали мои слова криками, потому что это было именно то предложение, которое соответствовало горячей крови, кипевшей в их жилах, и когда Ивар услышал их крики, он вытянул правую руку и сказал:

— По рукам и, клянусь красотой Лилии Бренды, нашей морской королевы...

— Стой! — воскликнул я, схватив его за руку так крепко, что, несмотря на его суровость и стойкость, он вздрогнул. — Бренда! Кто это? Где и когда я слышал ее имя раньше? Нет, нет, это было в забытые века. Продолжай, добрый Ивар, продолжай! Мне привиделось.

— Привиделось или нет, — его глаза загорелись, он вырвался из моей хватки, подошел ко мне вплотную, положил руки мне на плечи и заглянул в лицо, — носил ли ты когда-нибудь имя Валдар, или видел во сне, что носил? Ибо, клянусь Одним, ты больше всех похож на то, что мы слышали о нем там, в Норвегии, чем любой другой сын женщины. Говори, и если ты — это он, то тебе не нужно будет дважды приказывать мне повернуть корабль и послать его назад, даже если бы за нами гналась не две галеры, а сотня.

Какое-то мгновение я стоял молча, сбитый с толку вопросом, потому что это имя, как и сладко звучащее имя Бренды, хотя и пробудило неясные, удивительные воспоминания, заставило сердце биться сильнее, а кровь течь быстрее, все же ничего не сказало о тех жизнях, которые я прожил на земле. Однако, хотя и неясные, эти воспоминания были не менее реальными и навязчивыми, чем воспоминания об Армене и Ашшуре, о Египте и Аравии. Я не мог уверенно ответить «да», и все же я чувствовал, что сказать «нет» было бы ложью, поэтому, за неимением прямого ответа, я произнес:

— Может быть, в каком-то веке я забыл, что носил такое имя, и в том веке имя твоей госпожи было мне так же знакомо, как и мое собственное. Но скажи, в свою очередь, слышал ли ты когда-нибудь в своей северной стране о таком, как я, пришедшем с юга на кораблях, заполненных такими же храбрыми морскими псами, как твои, о том, кого звали тогда Терай и чьим помощником был некий гот Хато, в те дни, когда Цезарь был владыкой Рима и повелителем мира?

— Да, — ответил он, его глаза опустились, а теплый румянец исчез с щек, — у нас есть такая сага, и я часто слышал, как скальды поют ее на святках.

— Тогда, — сказал я, — поскольку времени для разговоров становится все меньше, ты можешь пока называть меня Валдаром, и я поведу одну половину твоих людей, а ты — другую, и когда бой закончится, у нас будет свободное время, чтобы поговорить еще об этих вещах. А теперь дай мне шлем, который мне подойдет, и самый тяжелый боевой топор на корабле, и прикажи гребцам замедлить весла, потому что берега реки уходят в стороны, а мы близки к морю.

— Да будет так, Валдар, и если ты достоин своего имени, то, по крайней мере, присоединишься к нашей флотилии с победой, хотя я отправлюсь в Валгаллу раньше тебя. Если нет...

— Если нет, — повторил я за ним, — можешь содрать шкуру или то, что от нее останется, с меня живого или мертвого, и сделать из нее ботинки для лучших людей. А теперь приступим к делу, друг, а поговорим потом.

— Ты говоришь, как настоящий мужчина, — сказал он. — Пойдем со мной, выберем тебе шлем и топор, а ты, Ульф, объясни остальным, что происходит.

Я прошел за ним в каюту под высокой кормой. Норвежские драккары тех дней были больше и лучше оборудованы, чем те, чьи останки сохранились до наших дней. Вскоре я выбрал себе такой же стальной шлем с золотыми крыльями, как у Ивара, и самый красивый двусторонний топор, каким я когда-либо размахивал, правда, на мой вкус, он мог бы стать идеальным, если бы был на несколько фунтов тяжелее. Затем я расстегнул пояс, закатал кольчугу, отвязал три свитка драгоценных камней и отдал их Ивару, сказав, чтобы он убрал их в сундук и, если я погибну, а он выживет, чтобы увез их с собой и отдал Бренде на память от Валдара.

После этого мы снова вышли на палубу и обнаружили, что парус спущен, а гребцы двигают весла левой рукой, в то время как правая занята оружием.

Две галеры преследователей приближались, и когда они подошли, я услышал пронзительный бой медных литавр и еще более пронзительный боевой клич, который я в последний раз слышал там, выше по реке, на острове Рода, когда мы с Амру вместе штурмовали его. Но когда они подошли так близко, что я мог их отчетливо разглядеть, я обнаружил, что эти мусульмане более позднего времени — жалкие солдаты веры по сравнению с теми суровыми,

необузданными поборниками ислама, вместе с которыми я сражался в пылающих песках Сирии, — такими они были маленькими и худыми, а доспехи их были украшены шелком и золотом, так что они больше походили на тех персов, которых мы рассеяли в Нехавенде, чем на истинных сынов пустыни.

Чем ближе они подходили, тем громче и пронзительнее кричали, потому что проглотили мою хитрость и считали, что мы устали грести и слишком измучены, чтобы сражаться. Но вскоре их тон изменился, потому что, когда они подошли к борту и забросили свои крюки, все весла разом поднялись, каждый сын северной матери вскочил во всеоружии на весельные скамьи, и — Ивар направо, а я налево — мы прыгнули на их переполненные палубы. Я выкрикивал старый боевой клич Армена, а Ивар распевал боевую песню Одина, которую его люди и мои подхватили таким громовым хором, что крики мусульман звучали над ней, как крики морских птиц во время шторма.

Боги! Как мне было стыдно за тех, кто были когда-то моими братьями по крови и оружию, когда эти жалкие воины падали под ударами наших топоров, взывая к аллаху и раю теми же словами, которые я слышал во весь голос в триумфальных криках, приветствующих победы Айзнадина и Ярмука.

Они встретили нас длинными пиками, а из-за шеренги, которая держала их, лучники раз за разом посылали стрелы и дротики нам в лицо. Но викинги, несомненно, уже видели подобное сражение раньше, потому что они подняли над головами круглые щиты, отбили наконечники копий в стороны размашистыми ударами топоров и прыжком бросились в гущу мусульман, как будто эта работа была для них просто детской забавой.

По правде говоря, так оно и было, потому что я не верю, что среди нас, отважных сынов севера, нашелся бы человек, который не был бы вдвое тяжелее и втрое сильнее лучшего сарацина во всем флоте или армии Саладина. Что касается меня, то, вспомнив Дерара, Амру, Али и всех доблестных поборников первых дней ислама, я с облегчением понял, что эти смуглокожие, одетые в шелковые одеяния пигмеи были людьми другой расы, а не настоящими сыновьями Исмаила. Впрочем, как я вскоре узнал, это действительно были всего лишь потомки голодных орд турок и сельджуков, сирийцев и других дворняг, бывших нашими рабами в былые времена.

В пылу боя ко мне, как вспышка, вернулось воспоминание о том, что говорил мне пророк, и я подумал, что если такие, как они, были хозяевами мусульманского мира, то исполнилось не лучшее, а худшее из его пророчеств, и скипетр ислама перешел из дома Хашима в руки варваров. Эта мысль зажгла во мне такой яростный огонь, что на мгновение я забыл, где я и что я, и, когда целая толпа их отпрянула от широких ударов моего боевого топора, я возвысил голос и прокричал по-арабски:

— Проклятие аллаха и его пророка на вас, выродки и сыновья неверных матерей! Что за несчастье свалилось на ислам, если такие, как вы, трубят текбир^[29] визгливыми женскими голосами? Неужели вы никогда не слышали о «Мече аллаха»? Теперь, клянусь аллахом, вы увидите и почувствуете его.

С этими словами я взмахнул топором над головой и со всей силы швырнул его в толпу. Как камень, брошенный в заросли тростника, он раскидал их назад, вправо и влево, при этом одни сбивали других, как кегли от меткого броска. И тогда сверкнул мой огромный клинок. Я бросился на них, я рубил и колол, я бил и резал, все время выкрикивая старый боевой клич ислама в насмешку над ними, пока они не дрогнули и не разбежались, бросаясь один за другим через фальшборт в реку, крича друг другу, что аллах выпустил на них самого шайтана за их грехи.

Я гнал их от середины, где мы дрались, вверх до самого бака, смеясь и крича то по-арабски, то по-готски нашим морским псам, которые вприпрыжку шли за мной, пели и выли от восторга при виде того, что видели. Когда последний из сарацин был убит или выброшен за борт, мы развернулись и побежали на корму, размахивая мокрым оружием и производя такой грохот и показывая такую кровавую ярость, что те, кто остался на корме, даже не дождались нас, а бросились за борт, как утята в пруд, предпочитая случайность реки неизбежности смерти под нашими мечами и топорами.

К тому времени, как мы закончили с нашим кораблем и стояли, тяжело дыша и смеясь на его окровавленных палубах, Ивар и его товарищи проделали почти то же самое на другом, хотя их работа еще не была полностью закончена. Но как только оставшиеся мусульмане увидели, что случилось с их товарищами, и поняли, что мы готовы, если понадобится, принять участие в веселой игре, которая велась на

их палубах, они пали духом, и вскоре боевые крики стали смешиваться с криками о пощаде.

— Как дела, Ивар? — крикнул я с корабля на корабль. — Если тебе понадобится еще несколько топоров или мечей, можешь получить их, потому что наши уже стоят без дела.

Он махнул топором в знак приветствия и громко захохотал от радости боя, а его топор опустился, расколов при падении череп врага в стальном колпаке. Однако в следующее мгновение Ивар тоже упал, потому что раненый негодяй на палубе, который был не так близок к смерти, как думал Ивар, сделал ему подножку на скользкой, залитой кровью палубе.

Мое шутливое предложение вдруг стало серьезным, и я бросился ему на помощь с десятком моих товарищей. Длинными прыжками мы перескочили через наш фальшборт и весельные скамьи, и как только толпа врагов сомкнулась вокруг Ивара, мы навалились на них. У меня не было ни времени, ни места, чтобы использовать оружие в толпе, поэтому, раскрыв руки, я хватал пигмеев по два, по три за раз и перебрасывал их через голову под ноги тем, кто шел за мной. Так я пробирался сквозь толпу, пока не добрался до того места, где лежал Ивар, тяжело раненный градом ударов, обрушившихся на него, пока он не мог подняться.

Один желтокожий негодяй как раз наклонился над ним, чтобы вонзить кинжал ему в шею, но тут я добрался до него. Я схватил его за ноги и стал крутить им вокруг, как цепом, пока его голова, руки и плечи не разбились вдребезги об оружие и кольчуги его товарищей, а его кровь и мозги не забрызгали их с головы до ног таким ужасным дождем, что они с криком бежали в стороны, полуслепые, только для того, чтобы быть изрубленными топорами и мечами, которые поднимались и падали в кольцо вокруг них, как молоты вокруг наковальни.

Затем, громко выругавшись по-арабски, я швырнул то, что от него осталось, им в головы и, перекинув Ивара через левое плечо, вытащил меч и расчистил путь обратно к нашему кораблю, уложил его в каюте, снял с него доспехи и одежду и принялся промывать и перевязывать раны, которых было много, и они были достаточно глубокими, чтобы лишить жизни любого, кроме человека, сделанного по образцу героя. Здесь меня нашел старый Ульф, когда пришел сказать, что последний

из мусульман либо мертв, либо в плену, и что две большие галеры принадлежат нам.

Увидев, что я делаю, честный старик подошел ко мне, протянул руку и сказал со слезами на глазах и чем-то очень похожим на рыдание в голосе:

— Друг Валдар! Я вижу, что ты настоящий воин — такой же кроткий после битвы, насколько свирепый в ней. Клянусь Тором и Одином, нам повезло, что я не разбил тебе голову, как намеревался, там, на носу. Ты дал нам победу, когда мы бежали от наших врагов — позор нам! — и, если Ивар жив, ты подаришь ему и его жизнь. А я говорю тебе что, если Ивар умрет, то я, например, предпочту найти где-нибудь сражение и умереть в нем, чтобы отправиться с Иваром в Валгаллу, чем вернуться без него к его отцу, который ждет там с флотилией, и к нашей госпоже Бренде, которая ожидает его на Севере.

— Не бойся, он будет жить, — сказал я, — но чем скорее мы вернем его к своим, тем лучше, так что давай как можно скорее отправимся в путь. Ты проследи за этим, а я останусь и присмотрю за Иваром. Если у вас на борту есть хорошее вино, принеси, потому что ему станет еще лучше, когда он придет в себя.

Он принес хорошего красного крепкого вина в большом серебряном кувшине, из которого я сделал хороший глоток в качестве пошрины, потому что после полуденной битвы я высох, как песок в долине Сиддим. Потом он ушел, и вскоре стало слышно, как по палубе из ведер льется и плещется вода. Затем я услышал, как выдвинулись весла, и почувствовал, как корабль рванулся вперед под сильными гребками. Когда я снова вышел на палубу, оставив Ивара спокойно спать в его постели, то обнаружил, что мы уже миновали устье реки и с двумя нашими призами на буксире скользили по гладкому морю к флотилии из полутора дюжин величественных драккаров, веселые полосатые паруса, золотые клювы и головы драконов которых весело сверкали в лучах вечернего солнца.

Мы встали рядом с самым большим из них; это было самое изящное судно, которое когда-либо несло морских волков Севера к победе и грабежу. Управлялось оно самой веселой и храброй сворой морских разбойников, которые когда-либо утверждали право или находили новых хозяев имуществу своих соседей благодаря силе своего оружия.

Меня подняли на его борт, чтобы я пожал руку отцу Ивара, величественному крепкому старику, загорелому и израненному жарким солнцем и ожесточенными боями, но все еще сильному и гибкому, как лучшие из его людей, и самому царственному старому конунгу, когда-либо приплывавшему с севера. Когда ему рассказали, как я сражался и что сделал для Ивара (и можете поверить, не было упущено ни одной детали), я увидел слезы в его жестких старых глазах. Старый морской король сказал голосом, который гудел, как колокол:

— Кровь за кровь и жизнь за жизнь, Валдар Старкарм^[30], как ты достоин называться! Таково наше военное кредо, и пока плывет хотя бы одна из наших ладей или есть хотя бы один человек, который может сражаться рядом с тобой, ты никогда не будешь нуждаться ни в друге, ни в брате по оружию; и сегодня ночью, если захочешь, мы поклянемся кровной клятвой, и ты станешь нашим братом и отправишься с нами домой, на север, где, быть может, тебя ждут лучшие дела.

— Охотно, — ответил я, — потому что мне кажется, сам не знаю почему, что каким-то образом после долгих скитаний я вернулся к своему народу. Отныне или до тех пор, пока я снова не уйду в тень, из которой вышел только вчера, Скандинавия будет моим домом, море — моей страной, а вы и ваши доблестные морские волки — моими братьями и сородичами, потому что других у меня нет во всем мире.

— Удивительная речь, Валдар, — сказал он серьезно и медленно. — Довольно странно, что ты — тот самый Валдар, о котором повествует сага. Тебе уже говорили, что скальды пели о таком, как ты?

— Да, — ответил я, — и мне очень хотелось бы услышать, как поют эту сагу.

— Тогда сегодня ночью ты услышишь ее, потому что у моего младшего сына Харальда, вон того, самая нежная арфа и самый чистый голос во всей флотилии, и сегодня вечером он споеет ее для тебя, когда пойдут по кругу чаши с горячим вином.

Глава 23. Северная лилия

Тем же вечером старый Ивар сдержал обещание. Вся флотилия плыла на северо-запад к Адриатике, направляясь в Венецию, которая в те дни была главным рынком мира, где и купцы, и морские разбойники могли найти покупателей для своих товаров, независимо от того, были ли они получены хитростью торговли или более грубым, но, возможно, более честным военным способом.

Море было спокойным, ветер попутным, а жаркий день сменился спокойной прохладной ночью. Полная луна поднималась на юге, бросая широкий серебряный блеск на едва колышущиеся воды, и все корабли флотилии собрались так близко, как только могли, вокруг золотого гребня «Морского ястреба». Капитаны поднялись на борт по приглашению старого Ивара, и, по обычаю древних времен, каждый из нас уколол себе руку и пролил несколько капель крови в большой кувшин с красным вином, который передавался по кругу, пока не была осушена последняя капля. Итак, мы поклялись кровной клятвой, и отныне я и они стали братьями до самой смерти.

Затем Харальд, светловолосый белолицый юноша, которому еще не исполнилось пятнадцати лет, достал арфу. Мы сидели вокруг него на широкой палубе, а его брат Ивар лежал на ложе из шкур. Харальд настроил арфу, взял первые вступительные аккорды и в тишине залитой лунным светом морской ночи под аккомпанемент собственной музыки, мягкого плеска весел и стука волн вдоль борта судна высоким чистым тенором запел сагу об асе Валдаре, сыне Одина. Он пел о том, как Валдар привез норн из Ётунхейма, чтобы те прочли ему священные руны, которые не имел права читать никто кроме верховных богов, и за этот дерзкий грех был изгнан из обиталища богов Асгарда, чтобы скитаться по странам и векам, пока не будет завершена его судьба. Еще Харальд спел о том, как его возлюбленная Бренда, дочь Хель, поклялась из любви к нему разделить его приговор и доказать богам и людям, что любовь сильнее самой судьбы.

Потом он поведал о том, как Валдар пришел голый и одинокий в крепость народа, который в забытые века жил в стране гор, лесов и стремительных ручьев далеко у врат утра, и как он нашел там

королеву-воительницу несравненной красоты, которая пошла с ним на войну против короля могущественного народа, который сделал себя богом на земле, и как они победили армии великого короля и победоносно прошли к стенам его города.

Струны арфы зазвенели громче, и мне показалось, что я слышу эхо грома, который разразился над башней и старой Ниневией, и того жуткого звука ужаса и отчаяния, который поднялся в войсках Армена и Ашшура, когда земля закачалась под их ногами и башня рухнула. Затем голос певца снова взмыл в тихую ночь, звенящие струны задрожали в минорном ключе, и он рассказал, как те, кто остался в древней стране, долго и тщетно оплакивали свою королеву и героев, которые ушли на битву и не вернулись.

Затем он рассказал, как с течением веков в страну, название которой было забыто, вторгались могучие армии с юга, и как семья за семьей, племя за племенем покидали свои дома и уходили на север по горам, долинам и равнинам, огибая берега огромного внутреннего моря, а затем по бескрайним равнинам, пересеченным большими, медленно текущими реками, двигались все дальше на север, пока, по прошествии многих веков, их потомки не пришли в страну зеленых полей и темных, покрытых лесом холмов, глубоких, окаймленных скалами ручьев и заливов, и длинных, гладких, сверкающих морских просторов, и поселились там, поклоняясь Одину, Тору, Фригге и Фрейе, богам битвы, грома и богиням любви и красоты, пока не пришел Олаф Триггвассон с мечом в одной руке и крестом в другой, чтобы изгнать старых богов и проповедовать веру Белого Христа, который умер за людей на Голгофе.

Потом в последней вспышке торжествующей песни он спел, как будто вдохновленный каким-то даром пророчества, о временах, которые должны наступить, когда Валдар вернется, и о том, как народ, рожденный от семени викингов, выйдет вперед, вооруженный громом и пламенем, чтобы сразиться за мировую империю и править ею от севера до юга и с востока до запада.

На этом песня смолкла, и наступила тишина, нарушаемая только плеском весел, колебанием волн и глубоким дыханием тех, кто слушал с бьющимся сердцем и быстро пульсирующей кровью, крепко сжав рукоять оружия.

Я не видел, но чувствовал, что все глаза этой суровой молчаливой компании были обращены на меня, человека, носившего имя, которое звенело, как боевой клич в каденциях саги, и который в тот день пришел к ним из неизвестности, как привидение из облака в прибежище живых людей.

Странный новый дух шевельнулся в моей груди, и, повинувшись его порыву, я вскочил на ноги. Священная сталь Армена выскочила из ножен и вспыхнула белым в лунном свете над моей головой, и тогда я тоже запел, как я часто пел своим старым морским псам тысячу лет назад причудливыми старыми грубыми готскими строфами, историю Армена и Илмы, Нимрода и падения Ниневи.

Я воспел мощь и величие Тигра-Владыки Ашшура и поведал, что, если бы я знал о цели его похода, Армен остался бы непобежденным, а потом поведал о Соломоне и его славе, о великом Цезаре и владыке мира Рима, о Клеопатре и ее всемирном позоре, о Голгофе и падении занавеса над прошлым древнего мира, о пророке Мекки и ранней славе ислама.

Тут я внезапно смолк, как человек, чья история кончилась, а они вскочили на ноги, одновременно выхватили мечи с резким звоном, и мое имя взлетело в спокойное, яркое от звезд небо громким криком полнозвучной, глубокой мелодии, какой я никогда не слышал с тех пор, как стоял среди их предков в тронном зале крепости Армена четыре тысячи лет назад.

Юный Харальд отбросил арфу и взмахнул мечом вместе с остальными, и даже Ивар, слабый и раненый, взмахнул рукой над головой и крикнул изо всех сил.

На следующее утро старый Ивар рассказал историю Лилии Бренды. О том, как ведьма нашла прелестную улыбающуюся девочку, завернутую в шелк и тонкое полотно, в чудесной колыбели, сделанной в виде ладьи викингов. Колыбель приплыла к берегу фьорда, у которого стоял бург Ивара, и ведьма принесла девочку и положила ему на колени, когда Ивар сидел на высоком троне, пируя с ярлами и берсеркерами, и предсказала, что под его опекой она вырастет самой прекрасной женщиной во всей Скандинавии, и что воин придет из далеких морей и назовет ее своей, и отправится вместе с ней, чтобы свершить свою и ее судьбу под солнцем, сияющим над далекими землями.

— А этот человек, может быть, ты, Валдар! — закончил он свой рассказ. — Но если это так, то предупреждаю, что тебе придется пройти через суровые испытания и совершить доблестные подвиги, прежде чем Лилия Бренда вложит свою руку в твою и пойдет за тобой, куда ты поведешь.

— Если Бренда действительно та, чья судьба до сих пор так удивительно связана с моей, — ответил я, — то не будет ни одного испытания, которое может выдержать человек, и никакого дела, которое он может совершить, за которое я не возьмусь, чтобы завоевать ее сейчас, как я завоевывал ее прежде в прошлые века и дни, которые забыты!

— Хорошо сказано! — ответил он. — И пусть ты найдешь в ней все, чего желает твое сердце! А теперь, Валдар, что скажешь? Лето еще только начинается, и когда мы продадим наш груз в Венеции, наши корабли станут легкими, хотя наши кошели станут довольно тяжелы. Чего ты хочешь, чтобы мы поискали еще добычи на море или направились на север со всей возможной скоростью?

— На север! — воскликнул я. — И со всей быстротой, на какую только способны весла и паруса! И если команды кораблей будут переживать по поводу количества добычи, то, когда мы доберемся до Венеции, я дам им золотых и серебряных монет, таких, какие в ходу в эти дни, трижды от той цены, которую они могли бы добыть за целое лето, сражаясь мечом и топором, и думаю, что это всего лишь небольшая цена за то, чтобы не терять время на дорогу домой и к Бренде.

— Значит, ты так богат? — спросил он с улыбкой. — И ты открыл тайну, как переносить свои сокровища из одного века в другой?

— Нет, — ответил я, — не открыл. Я оставил там, в Сирии, Персии и Египте много тысяч добрых золотых монет, всю хорошую добычу, честно взятую мечом и копьем, и все же я достаточно богат, чтобы сделать то, о чем говорю, как ты увидишь в Венеции.

Вот так, беседуя об этом и многом другом, что происходило в мире, в котором я снова был чужаком, мы плыли с попутным ветром по гладкому морю, пока не достигли этого пышного, гордого, великолепного «города вод», расположенного на тысяче островов. Такого чуда красоты и удивительного величия даже я никогда не видел за все мои скитания.

Там мы продали наши товары, и там же я нашел несколько евреев и лангобардов, которые были финикийцами этих более поздних дней. Не буду утомлять вас рассказами о том, как они пытались обмануть меня в соответствии с обычаями своего племени, и как я ругался с ними на старом добром арамейском и латыни времен Августа, и рассказывал им такие удивительные вещи о старом Тире и Риме, Иерусалиме и Александрии, что в конце концов я запугал их до некоторой степени честности, и за горсть моих драгоценных камней они дали мне такую цену в золотых и серебряных монетах и слитках, что потребовалось шесть крепких парней, чтобы отнести сокровища на наши корабли, и еще пятьсот в качестве стражи, чтобы показать добрым венецианцам, что мы хотели бы забрать свое без всяких налогов или пошлин, кроме тех, что мы можем оплатить топором и мечом.

На следующий день меня посетила другая интересная фантазия. Из рассказов старого Ивара я уже знал, что нынешний мир так же любит воевать, как и прежний, и что войны идут почти повсюду от скалистых берегов его родной Скандинавии до обжигающих песков Сирии, где огромное христианское воинство во главе с могущественными королями и принцами пытается отвоевать у ислама тот священный город, в который я в последний раз въехал верхом бок о бок с рыжим верблюдом Умара.

Тогда я взял еще одну пригоршню сокровищ Пиопи и вернулся в город с пятью сотнями самых крепких наших товарищей, и там, купив и обменяв, я снабдил их лучшими доспехами из миланской стали и лучшим оружием, какое только можно было купить за золото, а затем мы промаршировали обратно на корабли — блестящие и сверкающие сталью, золотом и серебром — самый роскошный отряд морских разбойников, который когда-либо видел мир.

И снова я вернулся к евреям и оружейникам и на этот раз с любовью выбрал самый изящный доспех из колец и пластин, инкрустированных золотом, с посеребренным щитом и позолоченным шлемом с белым плюмажем и латный нагрудник в тон, и самое красивое оружие, которое когда-либо делали искусные мастера Италии и Испании, не для меня, как вы догадались, но для цели, которая, без сомнения, вам ясна.

Когда мы снова вышли в море, я заставил старого Ивара, хотя и против его воли, добавить мое золото и серебро к общему сокровищу, которое, согласно обычаю, должно было быть разделено по рангу и службе после возвращения домой, и это вызвало у всех истовое желание как можно скорее добраться до дома. Поэтому мы плыли дальше по голубой Адриатике и по Внутреннему морю спокойно и благополучно, высаживаясь то тут, то там, когда вздумалось или когда красота земли звала нас, то на пир, то на схватку (просто чтобы держать себя в форме) с теми, кто считал, что у них больше прав на их собственность, чем у нас.

Проходя мимо скалы Тарик, которую вы теперь называете Гибралтаром, мы наткнулись на эскадру мавританских галер, чей адмирал хотел взять с нас дань, и он получил ее таким образом, что, прежде чем мы отдали ему все, что хотели, он был рад уйти с дюжиной изуродованных галер и ополовиненным экипажем, лишь бы оставить окончательный расчет до другого раза, в то время как мы взяли те из другой части его кораблей, которые могли плыть, и увели их с собой на север, хорошо нагруженные рабами и добычей.

Это было наше последнее приключение, а затем мы только наблюдали, как день за днем солнце опускается ниже, а ночь за ночью северные звезды поднимаются выше, и, наконец, однажды утром, когда над гладким и почти безветренным морем поднимался рассвет, я поднялся на бак «Морского ястреба» и увидел перед собой длинную темную береговую линию из черных и сине-серых гор, нагроможденных друг на друга, как будто только что возникших из первобытного хаоса, выбросивших острые пики и вершины скал высоко в спокойный, чистый воздух над белыми снежными пятнами и зелеными сверкающими ледяными полями, которые вспыхивали в лучах только что взошедшего солнца примерно на середине высоты.

Радостный крик «Родина! Родина!» перелетал с корабля на корабль, и после того, как был подан и быстро съеден завтрак, все матросы занялись уборкой кораблей и приведением их в праздничный вид, а потом были вынуты и начищены оружие и кольчуги, а наряды из шелка и золотой ткани были приготовлены для прекрасных плеч, которые они вскоре должны были украсить.

Едва закончили с этим, как открылись длинные низкие скалистые стены, и мы увидели вдали ярко-голубые просторы, зеленые пастбища

и желтые поля с созревающим урожаем, а среди них причудливые, весело раскрашенные крыши и фасады красивых домов, а над всем этим величественный бург, с самой высокой башни которого развевался широкий драконий флаг Ивара.

На мачты были подняты белые мирные сигнальные щиты, и каждый, кто мог сесть на весельную скамью или ухватиться за весло, с радостным усердием принялся за работу, и началась гонка «кто быстрее доберется до берега». Весла стонали и гнулись, огромные ладьи почти наполовину вытягивались из вспенившейся воды фьорда. То один корабль вырывался вперед, то другой. Гребцы вкладывали каждую унцию силы могучих мускулов в веселую работу, а капитаны и рулевые подбадривали их и кричали то радостно, то яростно, когда их корабль шел впереди или отставал от соперников по обе стороны.

Одной длинной беспорядочной цепью мы устремились к гладкому пологому берегу, где нам приветственно махали платками и оружием. Мы подходили все ближе и ближе, и с каждым ярдом славный «Морской ястреб» дюйм за дюймом вырывался вперед. Его шестьдесят весел одновременно били по воде, отбрасывая ее назад длинными струями пены. Наконец, старый Ивар, стоявший на баке рядом со мной вместе с Харальдом и молодым Иваром, который уже почти оправился от ран, издал последний рык гребцам, и могучим броском длинная ладья наполовину выпрыгнула из мелководья, и ее киль глубоко врезался в песчаный берег.

Мы вместе прыгнули на землю, и когда я выпрямился после прыжка, передо мной стояла прекрасная и величественная женская фигура, и без всяких слов стало понятно, что это Лилия Бренда — много раз потерянная, вновь обретенная!

Мгновение мы молча смотрели друг на друга, два странника снова удивительно встретившиеся, я — из прошлого века Земли, а она — со звезд. Для меня в этом прекрасном облике вновь воплотились ласковое величие Илмы, нежная грация Циллы, надменная красота Клеопатры и героическая самоотверженность Зорайды; все это и кое-что, что мне еще предстояло узнать. Но для нее я был всего лишь чужаком, вернувшимся с ее народом из далеких войн, безымянным солдатом удачи, который значил для нее не больше, чем любой другой случайный посетитель берегов Скандинавии.

— Кто это? — спросила она, отворачиваясь, чтобы приветствовать ярла Ивара и его сыновей.

И, покончив с приветствиями, они сообщили ей, при каких обстоятельствах я присоединился к ним, но ничего не сказали о моем чудесном прошлом, потому что Харальд добавил много новых стансов к «Саге о Валдаре» во время путешествия и должен был спеть их в тот вечер в большом зале бурга, когда все мы должны были собраться на праздник возвращения домой, и поэтому отец не хотел портить его выступление. Потом она снова повернулась ко мне и, протянув руку, сказала спокойным, ласковым, бесстрастным голосом, как будто я был (а для нее, без сомнения, так все и выглядело) самым настоящим незнакомцем:

— Добро пожаловать в Иварсхейм, Валдар Сильный, как мне сказали. Ты в первый раз в Скандинавии? Что-то в твоём лице и облике мне как будто знакомо. Где я видела тебя раньше, если вообще видела?

Мне хотелось ответить: «В битве при Ярмуке, когда наконечник римского копья вошел в твою белую грудь!» Но в ее холодных манерах было что-то отстраненное, поэтому, взяв ее протянутую руку, ту самую руку, которую я в последний раз сжимал и целовал, когда она была холодной и ооченевшей в смерти, я низко склонился над ней и ответил:

— Я уже видел эту северную страну и видел лицо, похожее на лицо прекраснейшей из ее дочерей, но сейчас я впервые стою в Иварсхейме и вижу несравненную красоту Лилии Бренды.

— Красивая речь, хотя и несколько необычная для наших грубых северных ушей, — заметила она, убирая руку и отворачивая в сторону свою хорошенькую голову, улыбаясь и хмурясь одновременно. — Может быть, когда-нибудь, когда мы познакомимся ближе, ты мне все объяснишь.

С этими словами она оставила меня, чтобы поговорить с Иваром и Харальдом, а ярл Ивар отвел меня в бург, чтобы подобрать для меня комнату. В тот вечер к закату большой зал был весь освещен факелами из северной сосны и большими восковыми свечами, которые мы привезли с юга. Ярл Ивар сидел в высоком кресле во главе длинного стола, уставленного огромными кусками жареного и вареного мяса,

большими кувшинами, деревянными чашами и серебряными кубками, полными меда и вина, красного, как кровь, или желтого, как золото.

Я сидел на гостевом месте по правую руку от ярла Ивара, Бренд — по левую, а молодой Ивар сидел напротив него на другом конце стола.

Надо сказать, это был настоящий веселый пир, когда мы, наконец, приступили к еде, не такой, какие устраивают в ваших сегодняшних обеденных залах, потому что аппетит и к мясу, и к питью был тогда сильнее, чем теперь, и мы меньше церемонились, удовлетворяя его. Но за этим грубым, обильным столом было, может быть, больше дружеского общения и меньше скрытой ненависти и ревности, чем на любом пиру, на котором вы сидели. В таком обществе в те дни то, что было на уме, то было и на языке, были ли слова желанными или нет, а рука всегда была готова подтвердить то, что было сказано языком, доказательство чему вы вскоре увидите.

Мы ели, пили, смеялись, болтали и хвастались своими великими подвигами, пока огромные блюда не опустели и наши аппетиты не утолились, а затем кубки с элем и кувшины с вином были наполнены снова, и ярл Ивар ударил рукоятью кинжала по столу, призывая к тишине, и велел Харальду достать арфу и спеть «Сагу о Валдаре» с новыми стихами, которые он к ней написал.

В одно мгновение смех, шутки и хвастовство смолкли, так как жители Иварсхейма горячо любили сладкоголосого молодого певца, и во всей этой грубой, дикой компании не было сердца настолько грубого или дикого, которое не было готово растаять слезами или вспыхнуть пламенем по волшебному велению музыки и песни.

Харальд взял арфу и запел, как пел на борту корабля в Адриатике, и когда он закончил древнюю сагу, которую все они хорошо знали, но не могли слышать достаточно часто, они вскочили на ноги, замахали чашами и кувшинами и стали выкрикивать похвалы певцу и его песне, думая, что он закончил.

Тогда ярл Ивар поднялся и глубоким раскатистым голосом заставил их замолчать, и в наступившей изумленной тишине Харальд снова ударил по арфе и извлек из отзывчивых струн такую удивительную и нежную мелодию, что эти грубые воины и дикие морские волки склонили головы и снова уселись, как пристыженные дети, в ожидании новой песни.

Из тишины, последовавшей за вступлением, раздался чистый, мягкий голос, и когда Харальд запел, и звенящие строфы поплыли одна за другой, то громкие и быстрые, то медленные и жалобные, я увидел, что волшебным искусством певца он вплел в свою песню все, что я рассказал им во время путешествия о своих прошлых жизнях.

Пока он пел, я смотрел на лицо Бренды и видел, как каждый поворот сюжета мгновенно отражался на нем, когда ее сердце, не осознавая, билось в ответ на звуки. Я видел, как вспыхивали ее щеки и сверкали ее глаза, когда боевая песня Армена или яростный вопль текбира гремели в изменчивой мелодии, а ее грудь вздымалась и опускалась, то медленно, то быстро, когда певец рассказывал о переменной судьбе моих многочисленных возлюбленных.

Наконец пульсирующие струны затрепетали в тишине, и голос Харальда растаял в слабом эхе большого зала, и снова наступила тишина, и когда я огляделся вокруг, я увидел, как огонь битвы сверкнул на меня из тысяч глаз, и услышал глубокое дыхание людей, которые дрожали от желания совершить такие же дела, о которых пел певец.

Вдруг, словно хриплый каркающий крик ворона в глубокой тишине летней ночи, в тишине раздался резкий издевательский смех, и огромный, широкоплечий волосатый берсеркер, сидевший у середины стола, вскинул руки над головой и проревел:

— Ха-ха-ха! Хорошо спето, юный Харальд, самый славный певец в Норвегии! Это самая прелестная сказка, сотканная из фантазии юноши, одержимого любовью и битвой! И все же, мы вполне могли бы обойтись без этой старой басни, этой ведьминой сказки о Белом Христе на кресте, которую Олаф Триггвассон пытался вбить в головы наших дедов боевым топором, как будто Один и его молот, и валькирии на длинногривых конях не стоили тысячи Христов и вдвое больше его девственной матери. Когда в следующий раз будешь петь, Харальд Иварссон, не пой эту песню, ибо она годится только для детских ушей. Выпьем за Одина и Тора и за светлые локоны дев-воительниц, которые придут после битвы, чтобы показать нам путь в Валгаллу! Вас хейл! Ваше здоровье! За старых добрых богов и героев Валгаллы!

Он вскочил на ноги с огромным кувшином вина в руках, и все пирующие в большом зале, кроме меня, поднялись вместе с ним,

держа в руках чашу с медом или кубок с вином, и, провозгласив тост громовым криком, выпили за имена богов, которых больше не было. Затем чашки снова со стуком опустились на стол, и все, всё еще стоя, оглянулись на меня, сидящего молча и без улыбки, словно призрак на пиру среди их шумного веселья.

Но из всех глаз, обращенных на меня, я видел только два, потому что Бренда тоже поднялась и прикоснулась прелестными губками к краю золотого кубка с вином, и она все еще стояла, глядя на меня, пока я сидел. На мгновение снова воцарилась тишина, а затем сквозь нее донеслась холодная, ясная музыка ее голоса:

— Что, Валдар, ты, в честь которого спели сагу, потерял голос или твой кубок с вином иссяк, что ты не можешь ни крикнуть, ни выпить с нами?

— Ни то, ни другое, северная Лилия, — снова взревел берсеркер Хрольф. — Он наслушался монашеской магии, и она лишила его смелости. Он родом с Востока и, несомненно, верит, как, я слышал, верят некоторые женщины и дети, в эту сказку лжецов с бритыми макушками...

— Сам лжец! — крикнул я, вскакивая на ноги и опрокидывая тяжелый стул, на котором сидел. — Сам лжец, как бы тебя ни звали и откуда бы ты ни был. Неужели ты думаешь, что не бывает ничего, кроме того, что рассказала твоя кормилица или что видят твои затуманенные вином глаза? Я говорю тебе и всем здесь присутствующим, что это не лживая сказка, а величайшая из всех истин, которые когда-либо слышали людские уши!

Они расхохотались:

— Докажи! Докажи! Почему мы должны верить тебе, чужестранец?

— По той причине, что я сам видел то, о чем говорю, так как я стоял перед Голгофским крестом, как сейчас стою перед вами, и этими глазами, которыми смотрю на вас, я видел Белого Христа на кресте. Это правда. Тот, кто в следующий раз назовет это ложью, также назовет и меня лжецом и понесет наказание.

— А что, если я скажу, что это всего лишь пустая сказка, а ты, Валдар, просто гредишь, когда рассказываешь ее нам?

Бренда рассмеялась, произнося эти гладкие слова с насмешливой улыбкой на красивых губах и вспышкой веселья в глазах, которая

показала мне, что эта история вызвала у нее не больше доверия, чем у самого грубого и глупого берсеркера в зале. Они ждали, что я отвечу, и в наступившей тишине я повернулся к ней и сказал:

— Тогда, северная Лилия, я должен сказать тебе, что в стране за звездами, где ты была с тех пор, не хранятся воспоминания, потому что ты сама лежала и плакала у подножия креста, когда тьма упала с небес, а я лег рядом с тобой, чтобы умереть на том же холме Голгофы. Скажи теперь, разве ты не помнишь, как упала эта тьма, когда голос Белого Христа воскликнул: «Все кончено!» Разве ты не помнишь, как молния сверкнула в расколотом небе, и земля содрогнулась, и природа закрыла свое лицо в ужасе этого страшного часа?

Она вздрогнула, как от внезапного паралича, и побелела до самых губ, но, прежде чем она успела вымолвить хоть слово в ответ, злобный крик разнесся по всему залу, и над столом прозвучал яростный, резкий рев Хрольфа со смехом, больше похожим на вой дикого зверя, чем на голос человека:

— Лжец! Лжец! Я назову тебя лжецом и докажу это, хотя ты и прожил тысячу лет, ты, умеющий пугать женщин лживыми сказками! Посмотрим, что ты можешь сделать с женщиной. Клянусь светлыми глазами Бальдра, ты не сможешь просто так украсть румянец со щек нашей госпожи! Что ты на это скажешь?

— Что сегодня вечером ты нашел в своих чашах больше мужества, — ответил я, — чем найдешь утром в своем сердце. И если ты, незаконнорожденный сын язычницы, хочешь услышать больше, я скажу тебе, что сражался и побеждал воинов, которые могли бы свернуть твою бычью шею, пусть она и толста, как свернули бы курице!

Не его насмешливые слова ужалили меня до такой степени, что эти слова вылетели из моего раскаленного докрасна сердца. Это была презрительная улыбка на губах Бренды, и холодный свет, который сверкал в ее глазах, когда она слушала меня, потому что мысль о том, что она могла слушать меня только с этим холодным презрением, изгнала все другие мысли из моего сердца и на мгновение свела меня с ума, и я уже не мог сдерживать себя.

С этими словами я покинул свое место и зашагал туда, где Хрольф стоял посреди группы собратьев-берсеркеров, топая ногами и

размахивая огромными волосатыми руками над головой, и пуская пену изо рта в разгаре неистовой ярости.

Ярл Ивар крикнул мне, чтобы я вернулся, сказав, что он может защитить своего гостя, но было уже слишком поздно. В моей крови горела та же безумная ярость, которая подстегивала меня в последней дикой атаке в Ярмуке. Я шагал среди толпы, расшвыривая суровых викингов направо и налево быстрыми ударами сжатых кулаков, и прежде чем Хрольф успел выхватить оружие или обхватить меня руками, я схватил его за бороду и густые пряди, свисавшие на шею, и одним резким рывком свернул его голову так, что кости шеи треснули, а язык выскочил из задыхающегося горла, и когда я отпустил его, шея была сломана, и его огромное тело упало на пол, как туша убитого быка.

— Один лживый болтун замолк! — сказал я, поворачиваясь к остальным. — Так кто же будет следующим?

Но едва эти слова слетели с моих уст, как дюжина мускулистых рук обхватила меня, прижав руки к бокам и почти выдавив из меня дух. Я боролся изо всех сил, но тщетно. Наконец, я рухнул на тело Хрольфа, а сверху на мне было полдюжины этих рослых язычников.

Следующее, что я узнал или услышал, был низкий голос ярла Ивара, прорвавшийся сквозь шум:

— Отпустите, эй, вы там! Он мой гость, и у него есть право гостя! Отпустите его, говорю. Что, полдюжины на одного? Стыдитесь! Так сражаются хорошие викинги?

— Свяжите ему руки и поднимите! — крикнул кто-то из толпы надо мной.

Мне завели за спину руки и связали запястья. Меня подняли на ноги, и я стоял среди них молча со стиснутыми зубами: мои щеки пылали, а глаза сверкали, потому что первый раз в жизни я страдал от унижения быть связанным.

— Он убил моего кровного брата, и я требую право крови на него! — ревел огромный полуголый берсеркер рядом со мной.

— Он врал нашей госпоже Бренде, — вопил другой. — Давайте бросим его к ее ногам, и пусть она решит его судьбу.

— Это твое право, Бренда, поскольку Хрольф получил свою смерть, говоря за тебя. Что скажешь? — спросил ярл Ивар.

— Стой! — прежде чем она успела ответить, крикнул молодой Ивар, пробираясь сквозь толпу ко мне. — Я требую его жизни, потому что он спас мою, как вы все знаете, когда сарацины сбили меня с ног. Если он умрет, клянусь славой Одина, что последую за ним в Валгаллу, потому что никогда еще не обнажал меча более храбрый человек, чем он, христианин или нет!

— Валькирии еще не пришли за ним, брат Ивар, — ответила Бренда все тем же ласковым, холодным голосом, который раньше довел меня до безумия. — Приведите его, и мы послушаем, что он скажет в свое оправдание.

Тогда они отодвинули стол от ее кресла, подтащили меня к ней и хотели поставить меня перед ней на колени, но она возразила:

— Нет, нет, не надо. Сумасшедший или в здравом уме, но он мужчина, так что пусть стоит как мужчина.

Они позволили мне встать, удерживая меня по бокам, и мы снова оказались лицом к лицу, она — холодная, спокойная и величественная, а я — красный от гнева и стыда. Моя кровь кипела, и каждый мускул в моем теле дрожал от ярости.

— Ну, Валдар, метко названный «Крепкая рука», что скажешь? Пойдешь ли ты к Камню жертвоприношения заплатить за кровную вину, или признаешь себя моим рабом и понесешь другое наказание, которое я наложу на тебя?

Если бы на ее губах была хотя бы слабая улыбка или в ее голосе звучала легкая нотка доброты, я бы преклонил перед ней колени и отдался на ее милость или на ее каприз; но она смотрела на меня, как царица на раба, и голос ее был столь же безжалостен, сколь ласков и чист, и по мере того, как я слушал, яростное пламя в моем сердце разгорелось жарче, чем когда-либо, и я сказал:

— Даже если бы узы твои были из шелка и золота, а служение тебе — самое сладкое рабство, какое может выпасть на долю мужчины, все же они никогда не заставят меня служить тебе. Забери свои узы, ведь тебе понадобятся более крепкие, чем эти, чтобы связать Валдара!

И с этими словами я почувствовал, как вся сила моего тела перетекла в руки, и одним могучим рывком разорвал веревку, которой они связали мои запястья, схватил за волосы тех двоих, что держали

меня, и стукнул их черепами друг об друга так, что они упали на пол оглушенные.

Я швырнул обрывки веревки к ногам Брендды и уже наполовину вытащил меч из ножен, чтобы продать свою жизнь как можно дороже, когда на лице Брендды произошла быстрая чудесная перемена. Я увидел, что душа, которая знала меня раньше, проснулась и смотрит на меня из ее тающих глаз.

За моей спиной раздался хриплый рев ярости и топот множества ног, но не успел я обернуться, как Брендда вскочила на ноги и, раскинув руки, закричала точно таким же голосом, какой звенел из уст Илмы в том старом зале в Армене:

— Нет, нет, отойдите все! Он мой человек, и я требую его. Вы отдали его мне за его странности, и я воспользуюсь своим правом.

— А я убью первого, кто поднимет руку на моего гостя! — крикнул ярл Ивар, выхватывая меч и поворачиваясь ко мне спиной, а я молча смотрел на Брендду, гадая, что за чудо произойдет дальше.

— Убери меч, Валдар, и протяни свои сильные руки, чтобы я могла их видеть, — приказала она с такой милой улыбкой на прелестных губах и таким веселым блеском в глазах, что я повиновался, как ребенок, и протянул к ней руки, сложив ладонями вверх. Движением руки, таким быстрым, что мои изумленные глаза едва могли уследить за ним, она сняла с головы длинный блестящий золотистый волос, тоньше самого тонкого шелка, и трижды обвила ими мои запястья.

— А теперь, Валдар Сильный, покажи, как ты разорвешь волосок, как разорвал веревки!

Я бросил только один взгляд на ее милое смеющееся лицо, опустился перед ней на колени и поднял сложенные руки над головой:

— Нет, я не могу, потому что ты отняла у меня волю. Я твой раб, Брендда, и эти сладкие узы будут держать меня крепче, чем оковы из кованой стали, и развязать их можно только твоими нежными руками.

— Тогда я сейчас освобожу тебя, — сказала она, — потому что такие руки выглядят не лучшим образом в узах, какими бы легкими они ни были. Всё, теперь ты свободен!

И легким, едва ощутимым прикосновением она сняла тонкую золотистую нить с моих запястий. Но прежде чем она успела отнять

руки, я поймал их. Все еще стоя на коленях, я прижал их, не сопротивлявшиеся, к губам и вновь взглянул на нее:

— Нет, не свободен, Бренда, потому что я никогда не смогу быть снова свободен, пока память о тебе и твоей милости не исчезнет из моего сердца. Я твой человек, как ты сказала, и буду им до тех пор, пока смерть снова не разлучит нас, так что возложи на меня свои повеления и дай мне вкушать сладость служения тебе.

— Тогда встань, Валдар, — сказала она, еще раз резко изменив голос и движения, — встань и скажи всем здесь еще раз, что «Сага о Валдаре» истинна, что ты — тот, кто по воле Вечного, который выше всех богов, о которых грезили люди, пришел сюда из других веков, чтобы принести нам его величайшую истину, и что я — та, кого ты держал за руку в других странах и веках, ибо душа, пробудившаяся во мне от твоих слов, теперь говорит моими устами, и тот, кто говорит, что слова эти неправдивы, с тем же дыханием назовет меня лгуньей.

— А тот, кто это сделает, — воскликнул я, выхватывая свой клинок и поворачиваясь к ним лицом, — пусть встанет посреди зала, чтобы я мог доказать на нем правдивость твоих слов!

На какое-то время воцарилась тишина. Все они стояли большим, тесным полукругом по обе стороны стола, уставившись на нас и онемев от увиденного. Затем в толпе раздался рев, похожий на мычание дикого быка, и берсеркер Хуфр, который был кровным братом Хрольфа и претендовал на право крови на меня, вскочил на стол, пинком сбросил на пол сосуды с питьем и начал прыгать, и плясать, и размахивать большим обнаженным мечом над головой, крича с пеной у рта.

— Я — Хуфр Берсеркер, Хуфр Сильный, Хуфр Доблестный, Хуфр Непобедимый! Я пил кровь лучших людей, чем ты, и вырывал сердца более отважные, чем твое. Смотри, я плюю на тебя, лживый рассказчик монашеских сказок. Выходи и сражайся за своего Белого Христа, а я буду сражаться за Одина, и посмотрим, кому отныне будут поклоняться в Иварсхейме.

— Ты пьяный дурак! — рассмеялся я, не двигаясь с места, — иди, окуни свою горячую голову в море и вымой свой грязный рот, а когда протрезвешь, я сверну тебе шею, как свернул Хролфу, потому что такой бешеный зверь, как ты, недостойн хорошей стали, вкусившей крови королей и воинов.

— Берегись, Валдар, берегись! В нем ярость берсеркера, и она дает ему втрое больше сил. Возьми щит и шлем, прежде чем встретишься с ним.

Это был голос Бренды, и когда она заговорила, я почувствовал легкое прикосновение ее руки к моему плечу. Я почувствовал сквозь кольчугу, как дрожит ее рука, и сжал её своей левой рукой:

— Не бойся за меня, милая моя госпожа! Если его безумие придало ему десятикратную силу, я встречу с ним с непокрытой головой и без щита и порежу его уродливую тушу на куски, прежде чем он коснется меня. Уберите там стол! — крикнул я толпе, — и дайте места, чтобы выпустить безумие с кровью этого хвастуна!

— Места для схватки! Места для схватки! — раздался крик из сотни глоток. — Христос или Один! Пусть дерутся! Пусть дерутся!

Шестеро стащили со стола Хуфра, который все еще был и пенился от ярости. Затем столы были сдвинуты в сторону, и для нас освободилось пространство размером в половину большого зала.

— Благослови это оружие, Бренда, как ты делала это перед старой Ниневией и в той жестокой битве при Муте, и ты увидишь, что оно сделает ради Белого Христа и твоего блага.

Я поднес золотую рукоять креста к ее губам, и она поцеловала его, а я поцеловал место, которое таким образом было трижды освящено ее губами, а затем, выйдя на середину зала, крикнул тем, кто сдерживал Хуфра: — Выпускайте дикого зверя!

Они отпустили его, и он с ревом бросился на меня, согнувшись пополам, подняв меч и закрыв голову круглым медным щитом. Он сделал широкий удар, который разрубил бы меня пополам, если бы достиг цели; но я был слишком опытен, чтобы допустить это. Прежде чем клинок упал, я отпрыгнул в сторону и, когда Хуфр промчался мимо меня, я нанес ему такой удар плашмя мечом по заду, что он взревел от боли, а все зрители взорвались от смеха.

Он развернулся и снова набросился на меня, еще более взбешенный, но на этот раз с большей методичностью в своем безумии. Я остановился, чтобы принять его, и он начал рубить, резать и колоть, но ни один удар или укол не достиг меня, потому что такая грубая работа была всего лишь детской игрой для того, кто учился владению мечом в суровой школе сирийских войн. Куда бы ни падал его клинок, мой встречал его, пока, наконец, его меч не стал таким

зазубренным и затупленным, что больше походил на изношенную пилу.

Все это время я не произнес ни слова, а он ревел и задыхался от напряжения собственной ярости и тяжести работы, которую я ему устроил. Наконец он задержал свой потрепанный меч над головой чуть дольше, и я нанес удар немного выше рукояти, отчего отрубленный клинок с грохотом упал на землю.

— Достань себе другой меч! — рассмеялся я над его растерянной яростью. — Твой бедный жатвенный серп изнашивается.

— Монашеское колдовство! — завопил он. — Его меч зачарован и летит сам по себе в тысячу мест одновременно. Посмотрим, сумеет ли он разрубить это!

С этими словами он подбежал к одному из товарищей, который наблюдал за схваткой, опершись на огромный боевой топор с двумя лезвиями. Он выхватил его, отбросил щит и, взмахнув топором высоко над головой обеими руками, снова бросился на меня. Я услышал крик гнева из толпы вокруг меня и тихий, короткий вскрик с верхней части зала, но прежде чем он успел опустить топор, я сделал широкий боковой удар со всей силой своей рабочей руки, и в следующее мгновение топор рухнул на пол, а две отрубленные руки все еще сжимали его рукоять.

Когда он, спотыкаясь, по инерции прошел мимо меня, я нанес ему режущий удар по шее спереди назад, и его огромная уродливая голова покатила по полу, как мяч для игры в кегли, и остановилась в метре от ног Бренды. Из всех глоток вырвался громкий крик, который сотряс сосновые стропила крыши, и мое имя перекатывалось из конца в конец зала, как раскат грома, и когда шум затих, я встал посреди того места, где лежало безголовое и безрукое тело Хуфра, и, поставив на него ногу и подняв меч, воскликнул:

— Итак, кто живет — Белый Христос или ваш господин Один? Есть ли еще кто-нибудь из вас, ярл или юнец, морской разбойник или берсеркер, кто все еще хочет назвать правду о том, что я видел, ложью?

Снова раздался дикий крик, громкий, долгий и низкий, оружие взметнулось вверх, и радостные возгласы прокатились по трясущемуся дереву крыши, и вот таким грубым образом, но в соответствии с обычаями своего времени и расы люди Иварсхейма впервые

приветствовали имя Белого Христа и истину, которую я разъяснил им своим добрым мечом.

Глава 24. На священную войну

В ту ночь я хорошо и сладко спал после тяжелого трудового дня, и когда слуга, которого Ивар дал мне для выполнения поручений, принес утреннюю выпивку, как было тогда принято у викингов, я отправил его узнать у служанок Бренды, когда я смогу поговорить с ней. Он вернулся и сообщил, что она примет меня в комнате для гостей через час. Я облачился в латы, купленные в Венеции, обрядился в самые роскошные воинские наряды, какие только мог найти, и, когда прошел час, вошел в комнату для гостей весь с головы до пят в кольчуге и доспехах, с опущенным забралом и широким мечом Армена на боку в новых серебряных ножнах, украшенных золотом.

За мной слуга нес тот изящный костюм из золота, стали и серебра, о котором я недавно рассказывал, с серебряным щитом, золотым шлемом и мечом из прекрасной толедской стали.

Когда я открыл дверь комнаты и вошел, звеня сталью о сталь и громко стуча железными сапогами по деревянному полу, Бренда стояла у одного из окон и смотрела на море вместе с Торой, сестрой Ивара и, если не считать самой Бренды, самой прекрасной девушкой в Скандинавии. Они обе отпряли, вскрикнув одновременно и в шутку, и в тревоге, потому что ни одна из них никогда прежде не видела такой удивительной и, как потом призналась мне Бренда, такой величественной фигуры воина.

Я подошел к ним, опустился на одно колено у ног Бренды и, подняв забрало, посмотрел на нее полусерьезно-полушутя и обратился к ней, подражая придворной речи, которую слышал от молодых кавалеров в Венеции:

— Моя милая госпожа, твой верный рыцарь преклоняет колени у твоих ног, прося у тебя милости.

— Так это ты, Валдар! — рассмеялась она, протягивая руку, которую я поднес к губам. — Я думала, что это один из тех рыцарей в доспехах, которые едут из всех стран Европы сражаться с Саладином и его сарацинами за гроб Господень. А теперь скажи, о какой милости ты хочешь просить?

— Принять знак любви, который твой верный рыцарь привез тебе из Венеции на юге.

— Ах, знак любви! — повторила она, и горячая кровь прилила к ее щекам. — Похоже, что ты столь же быстр в любви, сколь готов к бою, а ведь мы встретились только вчера утром...

— И любили друг друга в течение многих веков, — перебила Тора со смехом, который быстро перешел в шепот, как будто она была поражена собственными словами. — В самом деле, такое долгое и удивительное ухаживание, Бренда. И все же, будь я на твоём месте...

— Не говори глупостей, дитя! — рассмеялась Бренда, прикрыв ладонью прелестный ротик Торы. — А теперь, добрый сэра Валдар, — я полагаю, я должна называть тебя сэром в твоём рыцарском обличье, — хотя такая спешка несколько неприлична, все же ты получил благословение за храбрые поступки прошлого вечера, хотя я вполне могла бы найти в своём сердце упрек за твою поспешность.

— А знак любви? — воскликнула Тора. — Это то, что держит твой слуга?

— Да, — ответил я, поднимаясь с колен и разворачивая перед их изумленными глазами сверкающий военный наряд. Показывая им вещь за вещью и объясняя их назначение, я снова рассказал Бренде нежными словами, как в те времена, что ныне забыты, она выехала со мной, одетая в доспехи, в колеснице во главе армии Армена, и как в более поздние времена она шла в атаку во главе отряда дев-воительниц в Муте, Айзнадине и Ярмуке. И тогда, взяв обе её руки, я попросил её снова сделать то, что она делала раньше, и отправиться со мной на священную войну, чтобы сразиться за нашу новую веру, как вместе мы сражались за ислам в дни его новорожденной силы и чистоты.

Она выслушала меня молча, но её щеки покраснелись, а глаза ярко засверкали, и когда я закончил, она сказала:

— Это серьёзное дело, Валдар, и мне нужно время, чтобы обдумать его. Оставь нас сейчас, и к полудню ты получишь мой ответ.

— А доспехи? — спросил я. — Что с ними? Неужели мой бедный дар отвергнут?

— Нет, — ответила она, смеясь и краснея ещё ярче, чем прежде. — Глупый рыцарь, неужели ты утверждаешь, что знал меня все эти века, и не понимаешь, что, будучи женщиной, я должна прежде всего увидеть, как все это будет сидеть на мне?

С этими словами она подтолкнула меня к двери, так что я волей-неволей согласился и вышел из комнаты в сопровождении своего носильщика. Из комнаты для гостей я отправился к ярлу Ивару и рассказал о сделанном предложении, а также о причине, по которой я купил в Венеции пятьсот доспехов, и он, как старый боевой конь, вздрагивающий при звуке трубы, без лишних слов протянул руку:

— Хорошо придумано, Валдар! Клянусь Тором и Одним, это отличная идея! Значит, ты так спешил домой, не только ради того, чтобы увидеть Лилию Севера? Да, да, еще не август, и время есть и в избытке. Нет дня лучше сегодняшнего, потому что завтра никогда не наступит. Наши люди все еще в Иварсхейме. Через час они встретятся с тобой на Тингплаце^[31], и ты будешь проповедовать им свой крестовый поход, и не сомневайся, что они с радостью выслушают тебя, если ты расскажешь им о богатой добыче, которую можно привезти из Сирии.

— Не беспокойся, я не забуду сказать об этом, — рассмеялся я, пожимая ему руку.

Не прошло и часа, как на Тингплаце гудела огромная толпа воинов, жаждущих услышать обещанную новость, и когда я с ярлом Иваром занял свое место на кургане в центре, все еще одетый с головы до ног в ослепительно сверкающую на солнце сталь, вверх взметнулось оружие и раздались радостные возгласы, так как слова были не нужны, чтобы сказать им, что мы снова идем на войну.

Ярл Ивар призвал их к тишине, а я, сняв шлем, который не стал застегивать, в нескольких простых словах рассказал им о своей цели, попросил взять крест в знак их новой веры и отправиться со мной в Сирию. Когда стихли ответные крики, я рассказал им о своих восточных войнах и о сокровищах, которые храбрые сердца и крепкие руки могут добыть на золотом Востоке.

И наконец, я объявил, что, если за мной пойдут пятьсот человек, я дам каждому латы, пику, меч и боевой топор, и куплю коня, как только мы доберемся до нужного рынка; одним словом, вся война будет за мой счет, а вся добыча будет разделена как обычно.

Эта сделка была им по сердцу, и вместо пятисот у меня могло быть две тысячи, и едва я закончил, как некоторые из них чуть не подрались в борьбе за место в моем отряде.

Но внезапно крики и шум их пререканий стихли, и все взоры обратились и все руки указали на тропинку, которая вела вниз из бурга. Обернувшись вместе с остальными, я увидел, что к нам спускается самая изящная рыцарская фигурка, какую видели глаза смертных, вся с головы до ног в золоте, стали и серебре, с мечом у бедра и с сияющим щитом на руке. В наступившей тишине фигурка бесшумно подошла и заняла свое место на холме рядом со мной и ярлом Иваром.

Затем две руки в изящных латных перчатках сняли шлем с золотым забралом, и перед ними предстала Лилия Бренда, самая прекрасная дева-рыцарь. Краснея и смеясь, она качала головой, пока ее длинные, густые локоны, освобожденные из-под шлема, не заколыхались яркими блестящими волнами золота над сверкающей сталью ее тесного нагрудника.

Слышали бы вы крик удивления и поклонения, который зазвенел в небе, когда она вложила свою руку в мою и спросила:

— Ну что, Валдар, нравится тебе мой ответ? Ты все еще хочешь взять меня с собой напарником на священную войну?

— Да, конечно! — воскликнул я. — И, если позволишь, то чем-то более дорогим, чем товарищ по оружию.

— Нет, нет, об этом еще рано! — засмеялась она, покраснев еще больше. — Ты слишком спешишь со сватовством, сэр Валдар, а девицы Скандинавии так легко не сдаются. А теперь скажи мне, как продвигается твоя проповедь? Пойдут ли люди Иварсхейма за нами в Сирию?

— Все пойдут, все! — закричали они. — К оружию! К оружию! На корабли!

И, словно стая отпущенных на волю школьников, эти огромные отважные воины побежали наперегонки к берегу, команда против команды, чтобы первыми спустить на воду свои драккары, как будто мы собирались отправиться в Сирию в тот же день и час.

Но хотя мы и не отправились так срочно, мы не теряя времени приступили к подготовке. В тот же день мы с ярлом Иваром устроили невиданные в Иварсхейме испытания силы и боевого мастерства, и из числа победителей выбрали наш отряд из пятисот пятидесяти «рыцарей Скандинавии», как их быстро окрестила Бренда — пятьсот, чтобы заполнить мои латы, и еще пятьдесят, чтобы заполнить пробелы, которые могла бы проделать смерть в наших рядах. Это были самые

лучшие воины в стране — молодые, суровые, искусные во всех приемах оружия и мужских упражнениях, моряки и солдаты с детства, которые так же хорошо чувствовали себя в седле, как на веслах норвежской ладьи.

На следующий день я научил их тому немногому, что им нужно было узнать об их новых доспехах и оружии, а Бренда с девушками и матронами деревни сшила нам белые льняные накидки с широкими красными крестами на груди и спине, чтобы надеть их поверх доспехов в знак нашей миссии. На четвертый день все было готово, флот из пятидесяти сильных и величественных ладей стоял на катках на пологом берегу, полностью нагруженный и снаряженный, и ждал лишь толчка проворных рук, чтобы снова погрузиться в родную стихию.

Отплытие было назначено на утро пятого дня, и еще до восхода солнца весь Иварсхейм уже был на берегу, наблюдая за последними приготовлениями. Когда солнце поднялось над огромным кольцом восточных гор и его первые лучи осветили серые воды фьорда, превратив их в золото и сапфир, Бренда, стоявшая рядом со мной в дорожном снаряжении, вдруг схватила меня за руку и указала на Западный фьорд.

— Посмотри-ка, Валдар, что это? — спросила она. — Это счастливое благословение для нашего путешествия, или в самом деле что-то плывет сюда с запада?

Я поглядел в направлении ее руки и увидел там поднимающиеся из воды очертания огромного золотого креста, сверкающего в розовом свете восходящего солнца. Вскоре его заметили и остальные, и крик благоговения и изумления прокатился по берегу, приветствуя священное знамение. Но когда крест приблизился, мы убедились в реальности видения. Это был небольшой, выкрашенный в белый цвет кораблик на двенадцать весел, на носу которого вместо мачты был установлен высокий крест из плоских досок, покрытых тонкими пластинами полированной меди, и именно его мы видели сверкающим на солнце.

Когда кораблик приблизился, стало видно, что гребцами были монахи с выбритыми макушками в грубых серых шерстяных балахонах. Они перестали грести шагах в пятидесяти от берега, и на носу рядом с крестом появилась высокая фигура священника с

капюшоном, откинутым назад с седой всклооченной головы, с длинной белой бородой, падающей на грудь. Широко раскинув руки, он прокричал глубоким раскатистым голосом на хорошем церковном греческом и на латыни:

— Кирие, элейсон! Господи, помилуй! *Benedicite in nomine Jesu Christi!* Благословляйте имя Иисуса Христа!

— Кто ты? — крикнул ярл Ивар, спускаясь к воде. — Расскажи нам о своем деле, друг, на хорошем простом языке, понятном скандинавским ушам. — И он замолчал в ожидании ответа.

Тогда монах ответил ему на языке, мало отличавшемся от нашего:

— Я — Ансельм из Линдисфарна, недостойный слуга господа, принесший вам его благую весть, которая призовет вас из тьмы язычества во славу его истины.

— Тогда добро пожаловать, Ансельм из Линдисфарна! — крикнул ярл Ивар. — Сходите на сушу без страха. Мы готовы принять твоё учение и твоё благословение.

— Кирие, элейсон! Кирие, элейсон! Христос побеждающий! Благословен идущий во имя господа, даже самый смиренный носитель его вести!

Он наполовину прокричал, наполовину пропел священные слова, скрестив руки на груди и подняв лицо к солнцу, когда гребцы подхватили его крик глубоким напевом, весла снова ударили по воде, и лодка ринулась на берег. Дюжина наших товарищей прыгнула в воду и на руках вынесла Ансельма на сушу.

Но как только он опустился на сухую землю и заметил меня, он пробрался ко мне сквозь толпу и замер ошеломлено:

— Ты — тот, чье видение во сне призвало меня сюда! Я вижу свет других веков в твоих глазах. Кто ты?

— Меня зовут Валдар; раньше меня называли Халид-Меч аллаха, а еще раньше — Терай из Армена, пришедший со звезд во времена, которые давно забыты, — ответил я медленно и серьезно, глядя ему прямо в глаза. — А ты — не другой ли образ того, кто стоял рядом со мной на Голгофе? Твой голос звучит для меня как эхо того, кто говорил со мной там, когда опустилась тьма и гром возвестил смерть Белого Христа.

— Не знаю, не знаю, — пробормотал он, склонив голову и перекрестившись. — Мне только приснилось то, что ты видел, ты,

высокочитимый среди людей. И все же, это может быть, да, может быть, ибо истинно пути господни полны тайн и непостижимы.

— Однако цель твоего прихода сюда достаточно ясна, — сказал я. — Тебе предстоит сделать святое дело, а здесь есть время и место, чтобы выполнить его.

Затем к его удивлению и восторгу я рассказал о цели, ради которой мы собрались на берегу у наших кораблей, и, когда я закончил, он упал на колени и, протянув руки и подняв лицо к небу, произнес в слезах голосом, прерывающимся от рыданий:

— Осанна всевышнему! Да будет благословенно имя господа, ибо он сотворил чудо и обратил сердца язычников к поклонению ему!

Я взобрался на корму одного из кораблей и рассказал всем о миссии монаха, после чего поставил его на свое место и велел говорить. И говорил он до тех пор, пока грубые сердца не растаяли от жара его горячих слов. Мужчины кричали, а женщины плакали, когда он сильными, простыми словами поведал о жизни Христа и судьбе его гроба.

Когда он закончил, воцарилась тишина, которую нарушал только плеск мелких волн на берегу, а люди, затаив дыхание, смотрели друг на друга и сжимали рукояти своего оружия.

Потом тысячи клинков сверкнули одновременно, и тысячи голосов прокричали, свирепые от новорожденного религиозного пыла:

— Слава Белому Христу! Слава! На Иерусалим! На Иерусалим!

В то утро мы не отплыли, потому что прибытие Ансельма и его монахов принесло им и нам много дел и забот, так как святые люди не успокоились, пока не окрестили каждую душу в Иварсхейме — мужчин, женщин и детей, а поскольку их было около пяти или шести тысяч, то на это ушел не один час, хотя они и выстроились рядами на коленях на обоих берегах небольшого ручья, протекавшего через долину; и когда Ансельм благословил воду, братья его, подобрав полы своих монашеских одежд, пошли вверх и вниз по течению, окропляя людей водой и осеняя их лбы крестным знаменем.

Когда церемония закончилась, я отвел Бренду в сторону и спросил, не позволит ли она мне попросить Ансельма совершить еще одно таинство его церкви и соединить нас браком, прежде чем мы отправимся на священную войну. Но при этих словах она покачала хорошенькой головкой и упрекнула меня так мило и торжественно,

что, как ни обиден был для меня ее отказ, я еще больше полюбил ее за это. Я не смог найти в сердце сил переубедить ее, когда она возложила руки на крест на своей груди и сказала, как много столетий назад говорила мне на другом языке и во имя другой веры, что, будучи девой-рыцарем, она поклялась посвятить себя нашему святому делу и что она вернется с победой и миром или отдаст во имя Христа свою жизнь, как отдала ее прежде за ислам.

На такую готовность не могло быть другого ответа, кроме согласия. Но когда я оглянулся через века на тот ужасный и все же славный день в Ярмуке, мое сердце сжалось от боли, и я был бы готов отдать все, кроме ее бесценной любви, за то, чтобы мой подарок Бренде оказался лежащим глубоко на морском дне, прежде чем я отдал его ей или внушил ей мысль надеть его в Сирии. Но что сделано, то сделано, и мне оставалось только терпеть со всей верой и мужеством.

В ту ночь, как и полагалось, мы долго и весело пировали в большом зале бурга, и Ансельм рассказывал нам удивительные истории о том, как поколение за поколением викинги приходили к английским берегам, не только из Скандинавии, но и из другой земли, завоеванной ими на юге, называемой Нормандией, откуда внук сурового конунга Хрольф Пешеход повел огромную армию на завоевание Англии и обратил в рабство саксонскую деревенщину южной Англии, заслужив себе имя «Завоеватель», под которым он известен и по сей день.

Он также рассказал, что король Англии Ричард Львиное сердце, правнук того завоевателя, уже движется на священную войну. Когда мы услышали это, имя Ричарда Львиное сердце вырвалось у каждого воина, наши крики сотрясли стены и крышу большого зала, и тут же мы поклялись, что не будем служить никакому другому вождю, кроме того, в чьих жилах течет настоящая кровь конунгов — морских королей.

На следующее утро мы вышли в море, и Ансельм Линдисфарнский отплыл с нами. Когда мы выходили из фьорда, его братья-монахи встали на своем кораблике вокруг большого медного креста и благочестиво простились с нами, распевая «Te Deum» [«Тебя, Господь, славим!»] на сладкозвучной церковной латыни, пока наши длинные корабли проносились мимо них.

Много дней под парусом и на веслах мы шли на юг, догоняя лето, покидавшее северные земли, и посещая по пути прибрежные города и поселки, но не как морские разбойники, какими мы были во время нашего путешествия на север, а в мирном обличье добрых воинов-крестоносцев.

В Италии и на Кипре мы купили лошадей для нашего отряда, а в Ларнаке мне посчастливилось найти угольно-черного жеребца, достойного носить имя моего старого боевого коня, достаточно сильного, чтобы выдержать самого Ричарда Львиное сердце. И на Кипре же я нашел светло-гнедую лошадку, на спине которой Бренда, вся в доспехах, выглядела самым изящным рыцарем, когда-либо отправлявшимся на войну, даже в те времена, когда это не казалось необычным, что знатные дамы и девушки надевают рыцарские доспехи и скачут со своим сеньором или возлюбленным, куда бы честь ни позвала его.

С Кипра мы отправились в Сирию и высадились в нескольких сотнях метров к северу от Акко, как раз вокруг которого тогда бушевала вся война. Турки, как тогда стали обычно называть мусульман (так как они не были ни настоящими арабами, ни верными последователями пророка, а лишь чужеземными и беспородными еретиками, в руки которых опозоренный скипетр ислама перешел в результате раздоров и продажности), владели городом, который, как вы знаете, расположен на мысу.

За городом крестоносцы выстроили осадный лагерь от моря до моря, а еще дальше за ним со стороны суши против нас расположились войска великого Саладина. По воле судьбы мы прибыли с хорошо нагруженными кораблями как раз вовремя, чтобы спасти лагерь от голода, так как крестоносцы были доведены до такого тяжелого положения, что рыцари были вынуждены убивать своих лошадей, чтобы поесть мяса.

В то время как последние дни осады подходили к концу, я выводил своих викингов-рыцарей на равнину и проводил необходимые тренировки, и вскоре они доказали свое мастерство и силу во многих ожесточенных стычках с турками. Затем Акко пал, как вы знаете, измученный голодом и тяготами двухлетней осады. Но едва удалось достичь этого первого и величайшего триумфа, как выигравшие этот

приз перессорились между собой и в самый час успеха принесли крах и провал всему делу.

Сначала Леопольд Австрийский, а затем лже-Филипп Французский в нарушение клятвы покинули знамя креста. За ними последовали другие, менее влиятельные, но столь же лживые, пока, наконец, один Ричард не остался во главе армии, в которую половина европейских народов внесла свои национальные раздоры и жалкую зависть, что заставило их почти так же часто и охотно обнажать мечи друг против друга, как и против тех, с кем они пришли сражаться.

Пока осада не закончилась и город не пал, я не видел и не разговаривал с этим «самым добрым рыцарем христианского мира», как все называли Ричарда, потому что затяжная болезнь удерживала его на носилках и в хижине, из которой он руководил осадой. Но, наконец, 22 августа, в год, следующий за тем, как я проснулся на троне Птаха, по лагерю и городу разнеслась весть о том, что король приказал на следующий день выступить в поход на Аскалон.

Порядок похода был на юг вдоль берега через Хайфу, Кесарию и Яффу, при этом флот должен был прикрывать армию с моря на некотором расстоянии от берега. Так как ярл Ивар и я, как и большинство других вождей, следовали собственным советам, которые считали наиболее разумными, мы решили, что он должен взять на себя командование нашими драккарами, в то время как Бренда, молодой Ивар и я повели наш конный отряд перед основной армией, чтобы прокладывать для нее дорогу, и именно при выполнении этой задачи удача войны впервые свела меня лицом к лицу с Львиным сердцем.

Ближе к ночи мы вышли на ровную травянистую равнину, окруженную с суши и моря низкими округлыми холмами и сужающуюся к югу. Я достаточно знал восточную войну, чтобы понять, что это именно то место, которое Саладин выбрал бы для ночной атаки, если бы ему удалось запереть там тяжеловооруженных крестоносцев. Поэтому я послал разведчиков вдоль западных холмов, и вскоре, как я и ожидал, они вернулись с сообщением, что вся местность за холмами кишит мусульманскими солдатами.

Я отвел свой отряд со входа на равнину туда, где почти поперек нее тянулась невысокая гряда холмов, а затем расставил часовых вдоль возвышенности и послал пару легковооруженных всадников, хороших

наездников, обогнуть восточные холмы и сообщить Ричарду новости, после чего стал ждать сражения.

Солнце зашло, и полная луна медленно поднялась за восточными холмами, и как раз в тот момент, когда ее широкий красный диск всплывал над гребнем, с вершины небольшого холма я увидел темную фигуру всадника, так четко очерченную на фоне света, что я мог разглядеть его длинное копьё, похожее на черный волосок поперек фигуры.

Мгновение спустя всадник исчез, а когда полный диск поднялся и залил равнину потоком бледного света, свет заиграл на линиях блестящей стали, сверкая тысячами точек, как рябь на залитом лунным светом море. Это был авангард крестоносцев, и, как я узнал следующим утром, во главе его ехал сам король Львиное Сердце.

Сверкающие линии шли ярким упорядоченным массивом, как на турнирном поле или на плацу, а не во враждебной стране в непосредственной близости от огромного войска, возглавляемого таким искусным вождем, как Саладин. Из этого я понял, что Ричард понял мое послание, хотя, без сомнения, немало удивился ему, так как до сих пор он ничего не знал ни обо мне, ни о моем отряде, кроме донесения о некоей банде вольных вояк, пришедших с далекого севера, несомненно, в поисках не более высокой награды, чем добыча или выкуп.

Когда они добрались до середины равнины, все еще непринужденно двигаясь свободным, открытым строем, как будто думая о чем угодно, но не о мрачном деле войны, по всей линии восточных холмов без предупреждения разразился тот длинный, пронзительный боевой клич ислама, который был так хорошо мне знаком, и с холмов покатились быстроногая конница Саладина, волна за волной бесчисленными рядами, пока я не подумал, что этот могучий поток никогда не закончится. Слово бушующий океан, выплеснувшийся на берег, они катились яростной волной ненависти и отваги по узкой равнине.

Наблюдая за их наступлением со своего наблюдательного пункта, я почувствовал, как старое пламя боевой ярости, как всегда, запылало в моей груди, кровь закипела, и каждый нерв и мускул покалывал и дрожал от ее жара, и со всем пылом, рожденным воспоминанием о

моих многочисленных битвах, я с нетерпением ждал, когда наступит момент для нашей атаки.

Сверкающие ряды крестоносцев развернулись навстречу туркам. Стрелы из луков и арбалетов густо и быстро полетели в освещенном лунной воздухе. Я видел множество всадников-мусульман, свисающих с седла, и скачущих туда-сюда лошадей без наездника, доведенных до безумия колючими стрелами в боках и в груди.

Передний ряд крестоносцев стоял как прочный железный вал с длинными копьями в упоре и изгородью из наконечников копий в трех метрах от пластинчатых нагрудников их коней, и между каждой парой рыцарей находился лучник или арбалетчик. Первая, вторая и третья шеренги мусульман с дикими криками устремились вперед и пали под ужасными копьями, под непрерывным дождем стрел, под сокрушительными ударами булав и палашей, обрушивавшихся на тех, кто миновал наконечники копий. Но за каждой павшей шеренгой шли все новые и новые, пока крестоносцы не превратились в железный остров посреди огромного бурлящего моря белых бурнусов и тюрбанов, озаренных блеском доспехов и оружия.

Наконец последняя шеренга перевалила через холмы и скатилась на поле смерти. И вот пришло наше время. Я выхватил меч и взмахнул им в лунном свете, и не успел я вложить его обратно в ножны, как все уже были в седлах, и наша длинная блестящая шеренга поднялась из-за холма, где прятались мои войска, и остановилась на вершине. Не было нужды в словах приказа, так как каждый человек уже знал, что нужно делать. Я указал копьем туда, где самые густые массы мусульман толпились против христианского фронта, а затем опустил забрало и рысью направился к своему месту в середине шеренги. Когда я подъехал, из нее выехали Бренда и Ивар. Бренда заняла свое место между нами, и мы двинулись вниз по склону.

В тысяче шагов от плотного фланга мусульман мы выстроились тесным строем для атаки, по двое в глубину. Я снова взмахнул копьем и пустил Тигрола рысью, и мы двинулись вперед, словно живая стальная стена, молчаливые, как ночь, и страшные, как смерть. Рысь ускорила до легкого галопа, который перешел в галоп, затем все копья полетели вниз, а все щиты вверх, и непреодолимым потоком разрушения мы промчались сквозь толпу легковооруженных мусульман на легких скакунах. Два наших фланга немного отстали,

образовав клин, и тогда за работу принялись булава и боевой топор, и шаг за шагом мы пробивались в самое сердце войска, оставляя за собой широкую красную дорогу, усеянную раздавленными и искалеченными мертвецами, которые всего несколько мгновений назад были полны жизни и отваги.

Мы уже почти дошли до фронта крестоносцев, как вдруг он распался и растаял, и на мгновение показалось, что рыцарство Европы удирает от полудиких орд Саладина. Турки торжествующе завопили и понеслись за ними во весь опор, размахивая копьями и ятаганами и крича, что Малик Рик, как они называли Львиное сердце, наконец повернулся к ним спиной.

Так он и сделал, но ненадолго, потому что, когда крестоносцы галопом ускакали на север, пехотинцы выстроились в плотные квадраты, пикинеры впереди и лучники посередине, и против них волны легкой турецкой кавалерии разбивались в безобидной ярости, в то время как Ричард и его рыцари выехали на открытую равнину, выстраиваясь в тесные ряды. Затем один за другим эти ряды поскакали по кругу, а мы тоже тем временем из толпы, которая роилась вокруг нас, пробились на свободное место за счет веса людей, лошадей и доспехов.

Затем мы снова выстроились в двойную линию, и когда крестоносцы атаковали наспех сформированный фронт мусульман, мы опять ворвались в их тыл и давили их между собой и линиями Ричарда, пока их ряды не были разбиты, и они не превратились просто в сброд, в котором каждый сражался за свою жизнь.

Мы с моей милой девой-рыцарем прокладывали себе путь сквозь толпу, нанося удар за ударом нашими мечами. Мы скакали бок о бок, даже уздечки наших коней спутались, а за нами следовали Ивар и доблестные викинги. Наконец мы достигли места, где одинокий пеший рыцарь стоял возле своего мертвого коня с таким огромным и удивительным двуручным мечом, какого я никогда не видел ни до, ни после. Но один против многих — тяжелая работа, и когда рыцарь сделал размашистый удар, от которого высокий эмир слетел с седла, этот мусульманин мертвой хваткой вцепился в клинок и потащил его за собой, кусая сталь в безумии агонии. Он удерживал его всего секунду или две, но этого хватило огромному нубийцу, который

взмахнул палицей с железными шипами и нацелился нанести такой удар, какого не смог бы выдержать ни один шлем.

Я был рядом, когда его булава взлетела вверх, и, привстав на стременах, обрушил свой огромный клинок на его плечо так яростно, что разрубил плоть, кость и кольчугу почти до позвоночника. Когда я выдернул клинок и нубиец свалился, пеший рыцарь повернулся ко мне и прокричал низким мужественным голосом, который прогрехотал, как гром, из его шлема:

— Это был ловкий удар, друг мой, и очень вовремя, и Ричард Английский благодарит тебя за него, а может быть, и за свою жизнь!

Глава 25. Плавание смерти

Я махнул мечом в ответ, потому что в тот момент у нас были другие дела помимо обмена комплиментами, и мы снова принялись за то, что осталось от мусульман. Наконец, мои викинги сомкнулись со всех сторон на мой призывный клич, быстро и умело проделав это мечами и топорами, не оставив в живых ни человека, ни коня внутри круга, в центре которого стоял король Ричард с поднятым забралом, опираясь на огромный меч и весело наблюдая нашу мрачную забаву.

Сражение было уже окончено, потому что люди Саладина или, вернее, те из них, кто выбрался из смертельной ловушки, в которую, как им казалось, они нас поймали, бежали к холмам, преследуемые нашими лучниками и арбалетчиками, которые расстреливали бегущих сотнями. Я соскочил с коня, поднял забрало и, опустившись перед Ричардом на одно колено, возблагодарил бога за то, что он позволил мне спасти жизнь величайшего рыцаря и самого доблестного короля в христианском мире, и положив свой меч к ногам Львиного сердца, предложил ему верность и службу моего войска до тех пор, пока не будет завоеван гроб Господень.

— Клянусь святым Георгием, — признался он, — хотел бы я, чтобы под моим знаменем было не пятьсот, а пять тысяч таких доблестных бойцов, и тогда я выгнал бы в море этих подлых предателей французов и беспородных негодяев немцев и австрийцев, хлещущих пиво, и вместе с вами и моими храбрыми англичанами навсегда расчистил бы дорогу к гробу Господню. А теперь скажи, кто ты, друг, и каково твое звание и откуда ты родом? Встань, чтобы я мог видеть твое лицо и пожать руку, которая спасла меня.

Я встал и взглянул на него, и в этот момент в его глазах мелькнуло удивление, потому что, хотя он был самым высоким человеком во всем христианском войске, мой шлем был на ладонь выше его.

— Клянусь святыми! — воскликнул он, когда наши руки сошлись в рукопожатии, способном переломать кости некоторым мужчинам. — Поистине благословенна была та, что родила такого крепкого сына, как ты. Ты единственный человек, который жмет руку еще сильнее, чем я. Так кто ты?

Некоторое время я молчал — у меня никогда не было смертной матери, кроме той арабской женщины, которая семьсот лет назад дала мне новую жизнь со своим последним вздохом, а потом ответил:

— Меня зовут Валдар из Иварсхейма в Скандинавии, откуда слава Львиного сердца привела меня в Сирию, чтобы сражаться под его знаменем. А мои товарищи, вольные воины, приехали со мной. Что касается родословной, то у меня ее нет, но моя кровь старше крови старейшего и благороднейшего рода на свете.

— И это по-настоящему благородная кровь, ручаюсь, каковы бы ни были причины скрывать твоё истинное происхождение за такими странными словами. Никогда я не видел более сильного удара, чем у тебя, и никогда не было нанесено лучших ударов во имя Христа и его гроба. Дай мне свой меч.

Я подал ему меч, и, когда его пальцы сомкнулись на золотой рукояти, он взвесил его в руке, пристально осмотрел клинок и сказал:

— Клянусь верой, это прекрасное оружие, удивительно сделанное и не вчера выкованное, ручаюсь. Как долго ты им владеешь?

— Больше лет, чем ты был бы способен поверить, если бы я сказал тебе, король Англии, — улыбнулся я. — И все же, если тебе захочется услышать эту историю, я расскажу, когда представится более удобный случай.

— Так, так, — засмеялся он в ответ. — Я с радостью выслушаю её, потому что никто не любит рассказы о ратных подвигах больше, чем Ричард Английский. А теперь снова встань на колени, а я поблагодарю тебя за то, что ты сделал.

Я опустил на колени, он провел плоской стороной лезвия по моему плечу и низким раскатистым голосом произнес:

— Встань, сэр Валдар из Иварсхейма, рыцарь святого креста и пэр христианского рыцарства, и возьми назад свой меч, чтобы никогда не обнажать его без причины и не вкладывать в ножны без чести. Приходи завтра в мой шатер, и ты получишь золотые шпоры и перевязь, а герольды провозгласят твоё имя и честь, и это наше деяние перед твоими товарищами по оружию.

Я снова поднялся на ноги под радостные крики моих викингов, приветствовавших меня и Ричарда Львиное сердце, а затем подъехал отряд английских рыцарей, которые с тревогой разыскивали короля, и

Ричард, рассказав им, кто я и что произошло, взял одну из их лошадей и ускакал, приказав мне не пропустить назначенную на утро встречу.

К этому времени подошла главная армия, и мы разбили лагерь на равнине и на холмах вокруг нее. Вскоре после восхода солнца я сделал, как велел Львиное сердце, и могу сказать вам, он выполнил то, что обещал, по-королевски в присутствии самых благородных дворян английского рыцарства с различными милостями, о которых я хотел бы рассказать, если бы только для этого оставалось место. И когда снова свернули лагерь, мы с моими викингами выехали с английскими вымпелами на копьях, чтобы занять место в центре авангарда англичан, которое назначил нам Ричард.

Затем начался долгий, утомительный марш по выжженной земле под безжалостным жаром палящего солнца мимо Хайфы и Кесарии вдоль побережья к Мертвой реке, о которой вы читали в своей истории. День за днем мы встречали и отражали непрерывные атаки отрядов, которые роились на наших флангах, пока 6 сентября мы не разбили лагерь у реки Расселины, примерно в 20 км к югу от Кесарии. Здесь мы получили известие, что Саладин во главе 300 тысяч человек, что более чем в 4 раза превосходило все крестоносные армии, ждет нас в 8 км отсюда. На следующий день, как только рассвело, мы выступили пятью дивизиями, не считая моего отряда, тамплиеры в авангарде, за ними бретонцы и анжуйцы, потом пуатьевины под командованием Ги де Лузиньяна, затем норманны и англичане со знаменем Львиного сердца, а на фланге сам Ричард и герцог Бургундский с лучшими рыцарями скакали взад-вперед вдоль линии, наблюдая за порядком марша.

В восемь часов мы увидели мусульманское войско, и еще до девяти началось сражение. Сначала атаковали нубийские лучники, которые осыпали нас градом стрел, а потом отбежали в сторону, чтобы дать возможность ударить тяжеловооруженным турецким конникам. Раз за разом они бросались на нас, но лишь для того, чтобы быть отброшенными назад железным фронтом госпитальеров. Почти до полудня по приказу Ричарда мы оставались в обороне, хотя рыцарь за рыцарем умоляли его позволить им сделать только одну атаку и рассеять назойливые орды, которые беспокоили нас, как туча мошек.

Но он упорно отказывался, отвечая только: «Рано, всем стоять», пока, наконец, двое госпитальеров, великий маршал ордена и

доблестный английский рыцарь по имени Бодуэн де Кэрю, не в силах более выносить насмешки эскадрона турецкой конницы, который все это время скакал перед ними, высмеивая рыцарей и богохульствуя, не пристегнули копыта и не бросились в самую их гущу. Каждый из них прорубил себе путь за счет веса человека и коня, а затем снова проскакал сквозь них.

Это было больше, чем смогла вынести сдерживаемая отвага их товарищей. Издав боевой клич, они бросили копыта в упоры, вонзили шпоры в бока коней, проскакали сквозь остатки турецкого эскадрона и ударили в центр мусульманского фронта. Тогда король Ричард, видя, что с ним или без него решающий момент наступил, приказал трубить общую атаку и послал мне приказ присоединиться с моим отрядом к англичанам и норманнам и ударить во фланг.

Я повиновался и передал сообщение сэру Томасу де Во, возглавлявшему английских рыцарей, и обсудил с ним план действий. После этого мы, четыре тысячи всадников, проскакали галопом и обогнули левый фланг мусульман как раз в тот момент, когда большая колонна турецких копейщиков, закованных в броню с головы до ног, выехала из бреши во фланге и полетела на нас сплошной массой стали и меди, оцетинившись сверкающими наконечниками четырехметровых копий. Мы пропустили их, отклонившись в сторону, пока они не остановились, боясь уйти слишком далеко от основной армии.

Как только они встали, я крикнул своему отряду, и мы пошли на них, и когда мы ударили их во фланг, я услышал, как низкий боевой клич «Св. Георг и веселая Англия!» раскатывается с другой стороны от них. Земля дрожала от грохота тысяч лошадиных копыт, и чтобы избежать атаки закованных в латы английских рыцарей, турки дрогнули и устремились назад к основной армии. Я сразу же отвел своих викингов, и мы отпустили турок, зная, что скоро представится лучший шанс.

Ряды мусульман расступились, чтобы принять их, чуть-чуть раньше времени, и в этот момент судьба сражения была решена. Я крикнул своему отряду: — Приготовиться к атаке! — и взмахнул над головой щитом, наши копыта опустились, и все конники одновременно бросились вперед. Голова моей колонны ударила во фланг точно в том месте, где линии были открыты. Мы врезались в них, как лавина

прорывается сквозь деревья горной долины, их линия прогнулась внутрь, затем выгнулась наружу, а затем снова согнулась назад, на этот раз дальше, чем раньше.

Побросав копья в ляжки, мы обрушились на них обнаженной сталью.

— Дорогу кресту! Вперед, к гробу Господню! Вперед, за святого Георгия и Англию, вперед! Бей их! Бей!

Крик прозвучал сзади громко и яростно, и я понял, что всей массой английские рыцари ворвались в образовавшуюся брешь. Мы каким-то образом выстроились в клин и топором, булавой и мечом рубили и прокладывали себе путь шаг за шагом, метр за метром сквозь ломающиеся ряды мусульман, и час за часом мы продолжали эту мрачную игру, кружась и атакуя все редееющие массы вокруг нас, пока битва не превратилась в разгром, а разгром в погоню. Мы рубили их верхом или гнали их между нашими сходящимися линиями безжалостной стали, пока берега реки Смерти не стали изрезаны ручьями крови, стекающей в удачно названный поток, и могучее войско, которое Саладин вывел против нас, не было разорвано на куски, и только темнота ночи спасла его остатки от уничтожения.

Это была последняя крупная битва, в которой армия Саладина сразилась против Львиного сердца и его крестоносцев. Десяток летописцев рассказал вам, как мы двинулись в Яффу, а после того как шесть недель драгоценного времени были потрачены впустую на постыдные пререкания, мы отправились оттуда в Аскалон и нашли его в руинах. Они рассказали вам также, как лживые французы дезертировали; как Конрад Монсерратский, самый подлый предатель из всех, поджал хвост и вернулся в Яффу; как герцог Бургундский отвел своих людей в Акко, потому что Ричард больше не давал ему денег взаймы; и как народ за народом все лживые друзья и вероломные союзники покинули нас, когда только Ричард со своими верными англичанами после многих месяцев сражений, голода и болезней наконец пробился обратно в Яффу, которую Саладин успел отвоевать; как крестоносцы штурмовали город одним яростным жестоким ударом и быстро выгнали из него мусульман.

На этом боевые действия закончились, и Третий крестовый поход завершился. Если бы не подлое предательство тех, кто нарушил свои клятвы и запятнал свои щиты вечным позором, то один этот поход

навсегда сломил бы власть Саладина и вернул бы древнему Иерусалимскому царству былую мощь и славу. Однако, все средства, которые были израсходованы, вся сила и отвага, которая была потрачена, и вся храбрая кровь, пролитая на эти жаждущие пески, принесли, как вы знаете, только трехлетнее перемирие, узкую полосу береговой линии от Акко до Аскалона и свободу христианам посещать храм Гроба Господня.

Я исполнил свой древний обет и пророчество Софрония и совершил паломничество с Брендой, Иваром и добрым отцом Ансельмом в святой город и в храм Гроба Господня. Сам Ричард выехал вместе с нами, но на вершине последней гряды холмов, возвышающихся над городом, он остановился и, закрыв лицо руками, склонился к шее лошади и низким, срывающимся голосом громко прорыдал:

— О Иерусалим, теперь ты действительно беспомощен! Кто защитит тебя, когда Ричарда не будет? Я видел тебя в первый и последний раз, и я не войду в твои ворота как паломник, потому что я не могу войти в них как победитель ^[32].

С этими словами он осадил коня и поехал обратно один по дороге на Яффу. Мы никогда его больше не видели, потому что, когда наше паломничество закончилось и мы вернулись на побережье, мы узнали, что его снова поразила лихорадка и что он отплыл в Европу, где попал в темницу в замке одного из изменников, предавших и его и святое дело, и встретил смерть в неясной борьбе за ничтожное сокровище.

Что касается нас, то мы снова погрузились на ладьи и отправились обратно в Скандинавию, оставив на полях сражений в Сирии много наших доблестных викингов, но увозя с собой солидный груз сирийской добычи и сундуки, набитые золотом от выкупа. Но то, что мы завоевали славу и добычу, не имело для меня никакой ценности, потому что мы пробыли в море всего несколько дней, когда среди нас начали проявляться признаки смертельной восточной лихорадки, и на шестой день Бренда заболела ею.

От корабля к кораблю болезнь распространялась, как чума, да это и была чума. Затем начались проливные дожди и жестокие шторма, и каждое утро восходящее солнце показывало, что еще одна часть нашего флота пропала без вести, и, наконец, из шестидесяти отважных кораблей, отпльвших из Иварсхейма, только три ладьи, разбитые

бурями и волнами, пробившись сквозь штормы Северного моря и остановились на берегу Иварсхейма.

Это было печальное и горькое возвращение домой, болезненный и скорбный конец такого благородного предприятия. Все, кроме Бренды и Ансельма Линдисфарнского, смотрели на меня как на виновника бедствия, постигшего Иварсхейм, как на призрака, вышедшего из теней неведомого, чтобы отвратить их от веры в старых богов и увести их лучших и храбрейших сыновей к страданиям и смерти.

Бездетные матери, скорбящие вдовы и невесты, которые никогда не станут женами, оплакивали своих дорогих покойников и проклинали меня как виновника их горя. Даже ярл Ивар отвернулся от меня, потому что оба его доблестных сына нашли безымянные могилы под печальным серым северным морем.

Но Бренда, хотя и знала, что вернулась домой только для того, чтобы умереть, все еще любила меня той преданной любовью, которая возобновлялась снова и снова через века, и когда утром четвертого дня после возвращения домой Ансельм привел меня в ее комнату, чтобы попрощаться, она вложила свою тонкую белую руку в мою и ласково сказала, что теперь она сдержит обещание, данное перед отплытием, и прежде чем снова стать невестой смерти, впервые отдала себя мне.

Весь этот день и всю следующую ночь я наблюдал, как ее бесценная жизнь медленно угасает. Когда первый луч восхода упал на ее лицо с холодного, ясного зимнего неба сквозь окно, выходящее на юг, я не мог понять, жива она или мертва, так она была бледна и недвижна. Потом она открыла глаза, ее губы шевельнулись в улыбке, и когда я опустился на колени рядом с ней, я услышал слабый шепот:

— Прощай, Валдар, опять... Поцелуй меня на прощанье, дорогой, пока мы не встретимся снова.

И когда наши губы встретились, она умерла, как в тот далекий день, когда мы умерли вместе в песках ассирийской пустыни. Я никому не позволил прикоснуться к ее мертвому телу и сам одел ее в рыцарские латы, соорудил погребальный костер на палубе моей ладьи и положил ее на него. Я попрощался с Иварсхеймом и Ансельмом, который остался, чтобы выполнить работу своего господина или умереть за нее, поднял парус и три дня и три ночи держал курс в Северное море, а затем в полночь, наедине с мертвой возлюбленной над черной пустыней моря я разжег костер, и когда пламя взревело вокруг

неподвижной, сияющей фигуры, рука судьбы снова поразила меня холодом смерти, я упал на палубу, а горящий корабль все плыл со своими мертвецами сквозь ночь.

Глава 26. Во времена великой Елизаветы

Лежа на узкой кровати на выцветшем гобелене, во всеоружии в доспехах крестоносца, в том самом виде, в каком я отправился в последнее печальное путешествие из Иварсхейма с Брендой, если не считать того, что мой шлем был расстегнут и лежал рядом, мой меч покоился у меня на груди, мои руки были скрещены на рукояти, а мой щит стоял у моих ног — вот так я, заснувший перед пылающим костром Бренды в черную тоскливую полночь на Северном море, снова проснулся к новой жизни в начале очередного этапа моего долгого пути.

Какое-то время я лежал неподвижно, мои мысли, не сдерживаемые волей, блуждали по туманной границе между царствами сна и яви, то с закрытыми глазами оглядывая длинные просторы прошлого, которые возвращающаяся память делала все яснее и яснее, то лениво и мечтательно рассматривая маленькую, увешанную гобеленами комнату под круглым куполом, в которой я лежал.

С каждым все более глубоким вдохом кровь все быстрее и быстрее бежала по моим жилам, и через некоторое время вместе с жизнью ко мне вернулось неутолимое желание снова действовать и страстное желание узнать, как совершился этот последний мой переход из прошлого в настоящее, и что это за настоящее, в котором я снова увижу дневной свет и приобщусь к заботам живых людей, я — единственное оставшееся воспоминание о жизни ушедших веков.

Я поднялся с ложа и размял затекшие руки-ноги, а затем в качестве первого действия моей новой жизни, вытянул клинок из ножен и обнаружил, что его серо-голубой блеск все еще не потускнел, а верная сталь цела, ярка и остра, как всегда. Перевязь, украшенная золотом и драгоценными камнями, все еще пересекала грудь от правого плеча до левого бедра, и рыцарский пояс, который король Львиное сердце вручил мне на далеком поле битвы в Сирии, все еще был застегнут на мне. Латы, щит и шлем были так же блестяще отполированы и безупречны, как в то печальное утро в Иварсхейме, и каждая заклепка была такой же прочной, а каждое соединение таким

же гибким, как и тогда, когда я впервые купил латы у оружейника в Венеции.

Как это могло случиться? Чья любовь и забота охраняла меня в течение многих лет смертного сна, лет, которые, как я мог догадаться, исчислялись сотнями?

На невысказанный вопрос вскоре был дан ответ, самый сладостный ответ, о котором я мог только мечтать после воспоминания о моей потерянной любви, потому что, стоя с обнаженным мечом в руке, я услышал, как ключ повернулся в замке, дверь открылась, гобелен был отодвинут в сторону, и там, одетая необычно, но изящно, со светом жизни в глазах и румянцем здоровья на щеках стояла та, которую я в последний раз видел мертвой, холодной и бледной, одетой в рыцарские латы на погребальном костре на моем корабле.

Но в следующее мгновение румянец исчез с ее щек, тихий сдавленный крик вырвался с полуоткрытых уст, глаза распахнулись в изумлении и страхе, а затем, как вспышка света, гаснущая в темноте, которую она осветила, девушка исчезла как раз в тот момент, когда я протянул к ней руки и быстро шагнул ей навстречу.

Онемев от изумления, но чувствуя, как бешено бьется мое сердце от новорожденного восторга и надежды, я стоял неподвижно, как стальная статуя, пока дверь не открылась снова. Гобелен был поспешно отброшен в сторону, и высокий, крепкий молодой человек, который, как я догадался с первого взгляда, был не кто иной, как брат той, что теперь носила облик Бренды, шагнул в комнату, но мгновенно побледнел и отпрянул. Однако он быстро пришел в себя, протянул руку и сказал на языке, который мало отличался от той приятной, энергичной английской речи, которую я узнал во время наших путешествий из уст Ансельма Линдисфарнского:

— Добро пожаловать обратно в мир, сэра Валдар Иварсхеймский! Вы спали долго и, по-видимому, хорошо, потому что я никогда не видел человека ваших лет таким молодым и здоровым.

Он рассмеялся на этих последних словах, а я, с интересом пожимая его руку, улыбнулся и сказал на своем старом языке:

— Я не знаю, сколько времени спал, но это не первый сон такого рода, как ты, возможно, знаешь, ведь ты знаешь мое имя и титул, который Ричард Львиное сердце даровал мне после битвы на равнине. А теперь позволь мне поблагодарить тебя за радушный прием и за ту

заботу, которую оказали мне, пока я спал на том ложе. Но прежде скажи твое имя, чтобы я мог знать, кому причитается долг.

— Нет, нет, мой долг совсем небольшой, — ответил он, — с тех пор как десять поколений Кэрю до меня передали мне чудесное наследство от старого сэра Бодуэна, из которого я извлекаю удовольствие и пользу.

— Что? — воскликнул я. — Значит, тебя зовут Кэрю, и ты говоришь о том храбром Бодуэне де Кэрю, который смело напал на турок с маршалом госпитальеров — двое против двухсот — и сражался бок о бок со мной в той великой битве у реки Расселины^[33], где мы так сокрушили силы султана, что, если бы не подлые предатели, которые нам мешали, мы могли бы отнять у него всю Сирию, а может быть, и Египет?

Прежде чем он успел ответить, дверь снова очень медленно отворилась, гобелен мягко отодвинулся в сторону, и милое лицо девушки, которая нашла меня первой, с робким удивлением уставилось на нас. Увидев, что мы разговариваем и смеемся, как и все другие существа из настоящей, честной плоти и крови, ее удивление взяло верх над страхом, она вошла и закрыла за собой дверь.

— Ах, госпожа Кейт, вы вернулись, — заметил молодой человек, ее брат, как я вскоре узнал. — Я был уверен, что женское любопытство быстро победит женские страхи. Итак, вы видите, что чудо, предсказанное старым сэром Бодуэном в завещании, все-таки свершилось, и вот ваш Спящий крестоносец проснулся и страстно желает знать, чья нежная забота, как он сам выразился, охраняла его, пока он спал. А теперь подойди и пожми ему руку. Нет, нет, для страха нет причины. Его рука такая же живая и теплая, как у меня, но намного сильнее, мои пальцы все еще покалывает от его рукопожатия.

Пока он говорил, он взял ее за руку, и подвел, одновременно и съезжившуюся, и нетерпеливую, ко мне, и когда он вложил ее маленькую трепещущую руку в мою, я, как рыцарь, встал перед ней на колени, поднес ее руку к губам и поцеловал:

— Как в прошлом, так и в настоящем и будущем я буду твоим истинным рыцарем, милая леди, и тот, кто не признает тебя несравненной среди дочерей этой или любой другой страны, получит подтверждение правды на своем теле.

— Что это значит, сэра Валдар? — изумленно воскликнул ее брат. — В прошлом? Не скажете же вы нам, что, пролежав здесь триста шестьдесят лет, вы видели мою сестру Кейт и служили ей как истинный рыцарь во времена рыцарства?

— Да, — подтвердил я, поднимаясь на ноги и глядя им в глаза, — я скажу это и скажу искренне, хотя вряд ли вы мне поверите. Но это долгая история, и я прошу у вас прощения за то, что столь резко и грубо затронул эту удивительную и ужасную тему. Скажите мне, дорогая леди, что я могу надеяться на прощение.

— Да, да, — ответила она, отступив на шаг и прижав руку к груди. Она молча смотрела на меня несколько мгновений, а потом с той же милой улыбкой, которая так часто радовала мое сердце, продолжила: — Но мне нечего прощать, и я действительно верю вам, как бы чудесны ни были ваши удивительные слова, потому что вы рыцарь моих снов, о которых я расскажу когда-нибудь, когда вы снова поведаете нам историю, которая была легендой для нас на протяжении многих поколений. Ой! Я забыла, что я здесь хозяйка и что вы, наш гость, должно быть, испытываете голод и жажду после столь долгого поста. Пойдемте, Филип, выведите сэра Валдара из его унылой спальни в гостиную, а я посмотрю, что есть в кладовой.

Ее слова были столь же желанны, сколь и любезны, так как во мне просыпались первые инстинкты обычного человека — есть и пить, поэтому я прошел за сэром Филипом (таков был его титул) через дверь, вниз по длинному узкому коридору с каменной крышей, вверх по невысокой каменной лестнице и через другую дверь, которая вела в просторную комнату с дубовым потолком, увешанную гобеленами, на которых были искусно вышиты сцены рыцарских подвигов, среди которых была одна, о которой сэру Филипу не было нужды рассказывать мне, изображавшая доблестную атаку старого сэра Бодуэна, которую я лично наблюдал у реки Расселины.

Мы сели за стол, и леди Кейт, как я вскоре стал называть ее на старом манер, вскоре сама собрала для меня обильную трапезу, объяснив, что пока она должна быть и хозяйкой, и экономкой, так как старая Марджори, их служанка, наверняка умрет от страха при виде меня. Когда я наелся и напился, как голодный волк, я снова попросил сэра Филипа рассказать, как я очнулся в такой приятной компании.

И он рассказал мою историю следующим образом:

— Этот дом — поместье Кэрю, — начал он, как мне показалось, несколько печально, — и стоит он на остатках того, что когда-то было одним из самых прекрасных поместий в Нортумберленде, а та комнатка, в которой вы спали долгим сном, находится в полуразрушенной башне, которая является всем, что осталось от мощного и величественного замка, в который наш доблестный предок, сэр Бодуэн де Кэрю, вернулся со священной войны после того, как крестоносцы заключили перемирие, о котором вы знаете гораздо больше, чем мы. Замок стоял вон там, на том маленьком холме, на котором до сих пор видны остатки внешних крепостных валов. В ту ночь, когда он вернулся домой, сторож, стоявший на вахте наверху, увидел в море яркий свет, потому что берег находится всего в полумиле отсюда, и когда об этом донесли сэру Бодуэну, он приказал немедленно вывести в море гребную шлюпку, чтобы спасти жизни на горящем корабле, ибо, как вы, несомненно, знаете, славный старый рыцарь был столь же добр сердцем, сколь и силен рукой. Шлюпка быстро двинулась в путь, и на корме драккара, одного из тех, на которых древние викинги отправлялись на войну, нашли лежащего ничком рыцаря могучего телосложения, с головы до ног облаченного в великолепные доспехи. Носовая часть корабля почти сгорела, и вода уже лилась через открытые швы и шипела, попадая на огонь, когда они сняли рыцаря с палубы и перенесли на шлюпку. И едва это сделали, как пламя вспыхнуло в центре палубы, судно развалилось надвое и пошло ко дну.

— Увы, бедная Бренда! И все же ты нашла могилу, достойную дочери конунга.

Эти слова вырвались у меня совершенно бессознательно посреди недолгого молчания, потому что сэр Филип замолчал, и они с Кейт смотрели на меня, ожидая, что я скажу что-нибудь в ответ на эту историю о конце моего последнего путешествия.

— А кто была Бренда, сэр Валдар? — спросила Кейт с румянцем на щеках и дрожью в голосе. — Она тоже была с вами на том горящем корабле?

— Нет, — ответил я, — потому что эта милая душа, которая сейчас смотрит на меня вашими глазами, дорогая леди, уже вернулась в свой дом за звездами, но все, что было смертного в ней — да и в вас тоже — лежало на том пылающем костре, который я соорудил для нее

и зажег своими руками. Но это лишь малая часть той длинной истории, которую я должен вам рассказать, потому что вы должны услышать целое, прежде чем сможете понять часть.

Она съежилась в глубоком кресле у окна и на мгновение закрыла лицо руками, словно отгоняя какое-то страшное видение, а сэр Филип, взглянув сначала на нее, а потом на меня, продолжал:

— Мне кажется, сэр Валдар, что моя история скучна и ничтожна перед всеми чудесами, о которых вы нам расскажете, поэтому я постараюсь изложить ее как можно короче, чтобы меньшее скорее уступило место большему.

Когда шлюпка доставила вас на берег и вас внесли в замок, сэр Бодуэн сразу узнал командира викингов, который спас жизнь королю Ричарду в Сирии и был посвящен в рыцари за этот и многие другие доблестные поступки самым великим Львиным сердцем. И еще он вспомнил чудесную историю, которую вы рассказали в шатре короля Ричарда о других жизнях, которые вы прожили, и о других войнах, в которых вы сражались, хотя об этом тогда он ничего не сказал. Поэтому, когда заговорили о том, чтобы похоронить вас, он объяснил, что вы просто впали в транс, и поклялся, что до тех пор, пока собственными глазами не увидит следов разложения на вашем теле, кладбищенская плесень не коснется вас. Он приготовил для вас ту маленькую комнату, в которой вы пребывали с тех пор до сегодняшнего дня, и расположил вас в ней в подобающем рыцарю виде. Когда двенадцать лет спустя он заболел в последний раз, а на вас не появилось ни следа перемен, он составил завещание и, назначив мессы за упокой вашей души на тот случай, если она никогда не вернется в тело, оставил ту часть своего состояния, которая образует это поместье, наследнику своего дома на вечные времена с условием, что вам обеспечат покой в вашей комнате до тех пор, пока не наступит тление смерти или вы не выйдете из трансa. Кроме того, он распорядился, как вы увидите в завещании, когда я его покажу, чтобы у вас никогда не изымали ничего, принадлежащего вам, и чтобы каждый день хозяин поместья или, в его отсутствие, кто-нибудь, кому он мог бы полностью доверять, навещал вас и следил, чтобы ваши доспехи и оружие хранились в чистоте, а ваша комната была в порядке. Эту должность, надо сказать, госпожа Кейт взяла на себя шесть лет назад,

когда умерла наша мать, а Кейт была всего лишь маленькой девочкой двенадцати лет; так что, видите ли, вы уже старые друзья.

— Ну, это вы могли бы опустить, Филип, — воскликнула Кейт, снова краснея и безуспешно стараясь не смотреть мне в глаза. — Какое это имеет отношение к судьбе сэра Валдара?

— Может быть, большее, чем готова признать ваша дорогая скромность, прекрасная леди, — заметил я, улыбаясь ее милому смущению. — Что мы вскоре и докажем.

— Вполне возможно, — сказал сэр Филип со смехом, который быстро угас в его голосе, когда он продолжил рассказ.

— Но позвольте мне закончить, осталось уже немного. По мере того как сменялись поколения, а вы спали, судьба нашего дома претерпела много перемен, все к худшему, и после войны Роз у нас остался только разрушенный замок, наше незапятнанное имя и это единственное поместье, которое старый сэр Бодуэн сохранил ради вас и, к счастью для нас, вне досягаемости ростовщиков, которые забрали все остальное, потому что если бы кто-нибудь из Кэрю попытался продать поместье, то по условиям завещания оно сразу же перешло бы к аббатству Алник, и таким образом можете видеть, сэр Валдар, что всем, что осталось от нашего имущества, мы обязаны вам.

Ближе к вечеру сэр Филип закончил свое повествование, и тогда я попросил его рассказать, о том, что произошло в мире с тех пор, как я в последний раз покинул его. И он изложил в меру своих знаний, которые были немалыми для джентльмена его времени, большую часть той мировой истории, которую описывают ваши летописцы, и таким образом избавил меня от необходимости повторять ее. Однако, по правде говоря, почитав с тех пор писания тех же самых летописцев и сравнив их с тем, что я видел сам, я предпочел бы простую историю этого елизаветинского джентльмена всем их напыщенным томам и искаженным страстью романам о мужчинах и женщинах и поступках, которые эти самые мужчины и женщины вряд ли узнали бы, если бы смогли о них прочитать.

Но больше всего, что было естественно, сэр Филип рассказал о росте и славе своего народа, об этой сильной, энергичной расе англичан, лучшие и самые сильные линии крови которой, как я знал, можно было проследить через отважных викингов и их многочисленные миграции к тому героическому первобытному народу,

чья царица была моей первой земной любовью, и чью армию я привел с ней к победе над древней мощью Ниневи.

Он рассказал, как викинги, пришедшие и с севера, и с юга под именем норманнов под знаменем Завоевателя, прошли через яростное горнило гражданской и внешней войны, и под безжалостными ударами молота судьбы были выкованы в народ, единый мыслью, кровью и бесстрашной предприимчивостью, и как теперь, в 1585 году от рождения Христова, доблестная Англия, эта страна сильных, храбрых мужчин и прекрасных, благородных женщин, стояла одна на пороге кризиса своей судьбы перед лицом деспотизма и тьмы — единственная страна во всем мире, в которой вера и свобода могут идти рука об руку, а люди осмеливаются быть людьми и бросают вызов королям или жрецам, желающим сделать их рабами.

Когда он, наконец, закончил, некоторое время мы молчали, а затем старый боевой огонь снова вспыхнул в моей груди, раздуваемый духом храброй истории, которую он рассказал, и я вскочил на ноги, выхватил меч, поднес золотую рукоять к губам и воскликнул:

— Тогда такая страна, как эта героическая Англия, и этот храбрый народ, в жилах которого течет через бесчисленные века кровь моих первых доблестных товарищей по оружию в давно забытом Армене, будет моей страной и моим народом, и я буду сражаться за Англию и за ее народ, сколько мне позволит судьба, и да поможет мне бог и этот мой добрый меч!

— Честная клятва верности, подобающая истинному рыцарю и хорошему человеку! — воскликнул сэра Филип, вскакивая со стула и подходя ко мне с вытянутыми руками. — Род Кэрю сейчас довольно беден мирским богатством, а я последний мужчина в роду, но у меня еще есть сердце и руки, чтобы отдать их Англии, и вместе с вами, сэра Валдар, я отдаю их. Пришло время, когда стране нужна каждая рука и каждый меч, и тот, кто откажется от боя — тот не мужчина, потому что вскоре Англии придется помериться силами с тиранами мира и победить или проиграть, чтобы никогда, быть может, не подняться снова. Вот вам моя рука, хотя она и недостойна пожимать ту руку, которая знала хватку Львиного сердца, и когда настанет день Армагеддона, мы с вами да встанем рядом в битве!

И наши руки сцепились в тишине, которая говорила лучше, чем слова, а Кейт подошла к нам и, положив свою мягкую, теплую ручку

на наши, торжественно и нежно произнесла:

— Аминь, мой брат и вы, рыцарь моих грез, пробуждения которого я так долго и почти безнадежно ждала! Лучшей клятвы никогда не давали ради лучшего дела, и я прекрасно знаю, что вы ее сдержите... А теперь, сэр Валдар, — продолжила она, застенчиво взглянув на меня, и ее нежная серьезность растаяла в нежную улыбку, — поскольку вы теперь вдвойне один из нас, я осмелюсь еще раз попросить вас рассказать нам вашу историю и историю той, чью душу вы назвали моей и чей облик, как вы говорите, я ношу.

На такую милую просьбу никто не смог бы ответить, кроме меня, поэтому мы снова сели, поклявшись в нашей новой дружбе с помощью кувшина доброго старого вина, которое я заставил Кейт подсластить своими губками, прежде чем самому прикоснуться к нему. Я начал рассказ старой «Сагой о Валдаре, изгнаннике из Асгарда», а потом рассказал им историю всех моих земных любовей и войн, всех моих переменчивых радостей и печалей, жизней и смертей, начиная с первого пробуждения на том голом утесе в Армене; примерно так, как я изложил его здесь для вас, за исключением того, что мой рассказ был значительно короче.

Была уже глубокая ночь, когда я дошел до истории нашего возвращения в Иварсхейм, смерти Бренды и путешествия, которое привело меня в Англию. И когда последние слова медленно и печально слетели с моих уст, Кейт поднялась с глазами полными слез и подошла ко мне, протянув руки. Ее прекрасное лицо было почти таким же бледным, как в то последнее зимнее утро в Иварсхейме. Она сказала:

— Да, да, это так! Вы сказали, что мы можем не поверить вашей истории, и все же мы верим, потому что вы — настоящий рыцарь моих снов, и все, что вы рассказали, я видела и слышала, каждое дело и слово, возможно, не только в ночных видениях, которые приходили ко мне!

Я взял ее за руки и, глядя ей в глаза, сказал, движимый каким-то удивительным импульсом, который формировал слова помимо моей воли:

— Да, сестра моей души, это правда! Ты была Илмой из Армена и Циллой из Сабей, и, хотя Балкис и Клеопатре по удивительному капризу судьбы было позволено принять твой образ, они не были тобой. Ты была той, кто преклонила колени перед крестом, когда я

опустился на землю, чтобы умереть на Голгофе, и ты была той милой арабской девушкой, которая сражалась рядом со мной за ислам и умерла такой храброй смертью при Ярмуке; и ты была Северной лилией Брендой, которая первой признала истину, которую я принес в Иварсхейм, и пошла за мной, чтобы найти свою смерть во имя Христа в священной войне, хотя не оружие поразило тебя; и теперь ты снова живешь на земле со мной, и я снова твой истинный рыцарь, и...

— И на этом история заканчивается, пока рука судьбы не напишет ее продолжение, добрый сэра Валдар, — сказала она, вырвав руки и отступив от меня на приличное расстояние, как будто зная, что в следующий миг такой побег стал бы невозможен. Всего мгновение она стояла и смотрела на меня со смехом и испугом, с таким милым выражением вызова и независимости в глазах, что мое мрачное настроение улетучилось, как тень, и я тоже рассмеялся:

— Да будет так, милая моя леди, и, хотя перо держит судьба, все же я сделаю все, что в моих силах, чтобы направлять ее руку, когда она будет писать.

— Честный вызов, клянусь честью, который прозвучал в истинно рыцарском виде, — рассмеялся сэра Филип, поднимаясь со стула и переводя взгляд с нее на меня. — А теперь, госпожа Китти, у тебя осталось всего несколько часов ночи, чтобы увидеть еще один из твоих удивительных снов, так что иди спать, а то завтра мы увидим меньше розового на твоих щечках. Можешь довериться мне, я позабочусь о дальнейших желаниях твоего доброго рыцаря, так что пожелай ему спокойной ночи!

С этими словами он поцеловал ее на прощанье, как охотно сделал бы и я, и гораздо теплее, но для этого было еще рано, и поэтому поцелуй, который я так жаждал запечатлеть на ее губах, я был вынужден приложить (насколько она позволила) к ее руке. Когда дверь за ней закрылась, мне показалось, что с ней из комнаты ушла половина света.

Несмотря на поздний час, мы с сэром Филипом продолжили беседовать о других делах, которые требовали скорейшего устройства. Сначала он помог мне снять доспехи, в которых я пролежал так бессознательно долго. Потом он сходил в погреб и наполнил еще один кувшин вином, а когда вернулся, то застал меня с разложенным на столе содержимым последнего свитка, в котором было все, что

осталось от сокровищ давно умершего фараона. Я всегда держал свиток на шее, под мягкой кожаной туникой, которую носил под кольчугой, и там он и оставался. Как будет видно, благодаря темным и коварным путям судьбы случилось так, что часть сохраненных сокровищ фараона-тирана, который несомненно выжал большую часть его стоимости из горького труда рабов, пошла на покупку средств, чтобы нанести самые суровые и изощренные удары за свободу, какие позже увидел мир.

Сэр Филип, конечно, уже знал о том, как сокровища попали в мои руки. Честность и верность его предков, которые, несмотря на бедность, не сняли ни единого драгоценного камня с моей перевязи, сохранила не только мое бедное, впавшее в транс тело, но и сокровище, которое должно было вернуть дому Кэрю его прежнее величие. Поэтому я выбрал самый красивый драгоценный камень, огромный великолепный алмаз, чья несравненная чистота отлично подходила тому дорогому призванию, которое я для него назначил, и сказал:

— Ни одна грязная рука торговца не должна прикоснуться к нему. А эти и эти, — продолжил я, выбрав две пары лучших изумрудов и рубинов, — пойдут вместе с ним, и самый искусный мастер в Англии сделает из них дар любви, чтобы ваша милая сестра не приняла, быть может, неправильного решения относительно того кроткого вызова. Ну, а остальные штучки, которых хватит выкупить короля, принадлежат тебе и мне, сэр Филип. С твоей долей, которая принадлежит тебе по завещанию старого сэра Бодуэна, ты выкупишь древние земли Кэрю, и от тебя с какой-нибудь милой английской девушкой, которую ты возьмешь в жены, старый род обретет новую жизнь и расцветет так, как никогда прежде. Со своей долей я вернусь к своему старому ремеслу, куплю корабли и эти удивительные новые орудия из огня и грома, о которых ты рассказывал, и найму экипажи из англичан, в жилах которых течет кровь славных конунгов. И тогда ты представишь меня этой вашей девственной королеве, великой Елизавете, которую ты с таким восторгом считаешь, и я пойду сражаться за нее и Англию против темных душ, кровавых тиранов, о которых ты рассказал. И когда я прославлю себя военными подвигами, достойными войти в историю, тогда я дерзну приступить к самому дорогому завоеванию, о котором я только что говорил.

— И ты не один пойдешь сражаться с «донами», мой добрый и щедрый сэра Валдар! — воскликнул он, беря меня за руку. — Теперь я могу говорить с тобой откровенно и скажу, что только моя бедность, моя ответственность перед Кейт и перед тем, что многие поколения составляло наше фамильное наследство, помешало мне стать авантюристом и искать славы и богатства на море и в золотых испанских Индиях, ведь я полюбил море с тех пор, как впервые увидел его, и самой заветной мечтой моей жизни были далекие земли и залитые солнцем моря, которые когда-нибудь будут принадлежать Англии. Так что, если ты примешь меня в напарники, мы пойдем вместе, а древние земли Кэрю могут немного подождать.

— Охотно! — воскликнул я. — Лучшего брата по оружию я и желать не мог. А как же твоя прекрасная сестра? Сможешь найти для нее безопасное убежище, пока нас не будет?

— Поговорим с ней об этом завтра, — ответил он со смехом, который пробудил во мне слабую надежду. — Я не сомневаюсь, что у нее найдется, что сказать по этому поводу.

Решив этот вопрос, мы перешли к другим. Он уже сообщил мне, что никто не знает тайны моего существования, кроме него и Кейт, единственных оставшихся отпрысков рода сэра Бодуэна. Поэтому, чтобы избежать ненужных сплетен, было решено, что я некоторое время пробуду в своей старой комнате, пока сэра Филип не достанет мне достаточно одежды по современной моде, а затем мы с ним уедем как-нибудь ночью, незамеченные немногочисленными слугами в поместье, чтобы на следующий день он мог привезти меня в качестве гостя. Так и было в свое время сделано, и я поселился у них в облике странствующего рыцаря удачи, который искал ее улыбки во многих странах (по правде говоря, так ведь оно и было) и вернулся в Англию, чтобы насладиться ее плодами.

На следующий день мы изложили свои планы ее светлости и спросили ее совета. Она выслушала их, как я и ожидал, с ярко покрасневшими щеками и сверкающими глазами, горящими героическим духом. Но, когда сэра Филип заговорил о том, чтобы оставить ее здесь, она вспыхнула красивым притворным гневом и прямо заявила, что она такой же хороший моряк, как лучшие из нас, что она родилась у моря, знает и любит все его капризы, и что мы должны взять ее с собой, или она пострижется, наденет мальчишескую

одежду и запишется юнгой на один из наших кораблей, невзирая на наши возражения.

Напрасно сэра Филип рассказывал ей обо всех трудностях и опасностях, с которыми нам придется столкнуться, о суровой, грубой жизни на корабле и о тысяче рисков, которым нам придется подвергнуться. На все это она отвечала, неуклонно качая своей хорошенькой головкой, и, в конце концов, он был вынужден уступить. Так, женскими методами она добилась своего, к моему немалому удовлетворению, как вы, наверное, догадались.

Мы не позволили нашей решимости обрасти пылью, поэтому не прошло и месяца, как сэра Филип запер поместье и отпустил на пенсию немногих оставшихся слуг. А мы втроем отправились в Ньюкасл, где за два или три камушка старого фараона наняли добротную барку водоизмещением около 200 тонн, хорошо оборудованную и вооруженную, и благополучно прибыли на ней в Лондон. Во время плавания, с помощью сэра Филипа и корабельных канониров я узнал, как пользоваться теми ужасными новыми орудиями, которые стали применяться в моем старом военном ремесле.

Высадившись в Лондоне, я принялся за работу и с помощью сэра Филипа и некоторых купцов, друзей его и его отца, продал египетских драгоценных камней на сумму, превышающую 50 тысяч фунтов ваших современных денег, на которые мы купили, укомплектовали и снарядили четыре лучших корабля, какие только смогли найти на Темзе и в Медуэе.

Лучший из них, прекрасный новый фрегат водоизмещением 500 тонн (по тем временам это был большой корабль) мы сделали флагманом, и наша леди собственноручно окрестила его «Леди Кейт» в свою честь. Остальные корабли были поменьше, два из них фрегаты водоизмещением около 200 тонн, которые мы называли «Бренда» и «Зорайда», а четвертый — 50-тонный баркас, который должен был служить нашим разведчиком и вспомогательным судном, его мы прозвали «Приключением».

Все это заняло около двух месяцев тяжелой и напряженной работы, и в течение этого времени мы были, в основном, предоставлены себе, и когда, наконец, все было готово и мы задалась вопросом, сколько еще времени секретарь Уолсингем, которого сэра Филип просил выдать нам каперские грамоты, заставит нас ждать, 25

мая 1585 года пришло волнующее известие, что король Филипп Испанский предательски захватил большой флот английских судов с зерном, чтобы накормить свою постоянно растущую армаду, и в тот же день секретарь призвал нас немедленно прибыть в Вестминстер ко двору, чтобы быть представленными королеве.

— Хорошая новость, сэр Валдар, — заметил сэр Филип, показывая депешу. — И вдвойне хорошая новость для вас, потому что вы увидите не только величайшую королеву, когда-либо правившую королевством, но и величайшего человека, который помогал создать его, потому что сам адмирал Фрэнсис Дрейк находится при дворе, и вскоре свершатся великие дела.

Глава 27. Сэр Валдар при дворе

Худощавая женщина с резкими чертами лица, жесткими рыжими волосами и маленькими зеленовато-голубыми глазами, одетая в наряды из великолепных тканей, но самой гротескной формы, оскорбительной для прекрасной женственности, сидящая в просторном кресле под балдахином в огромном зале, богато и в то же время просто обставленном, окруженная блестящей толпой мужчин, и ни одной женщины, кроме нее самой — такой увидел я, когда церемониймейстер остановил нас у дверей зала приемов, великую Елизавету, эту «славную королеву Бесс», как вы все еще ласково называете ее, несмотря на все то, что многие летописцы сделали, чтобы запятнать ее славу. Я увидел сильную духом женщину, в чьи руки судьба вложила скипетр в те мрачные и тревожные времена, когда судьба не только Англии, но и всей Европы и половины мира колебалась между свободой и рабством.

Когда мы остановились среди прочих ожидавших у двери, невысокий загорелый коренастый человек с бычьей шеей, светлыми волосами и ясными быстрыми веселыми голубыми глазами, маленькими усиками и короткой остроконечной бородкой, делавшей его щеки еще круглее, гордо прошествовал по коридору и пожал руку сэру Филипу, прогудев низким зычным голосом, который мог бы принадлежать человеку вдвое крупнее его самого:

— Добро пожаловать в лабиринт темных путей и кривых поворотов!

После того как они обменялись рукопожатием, сэр Филип со всеми присущими этому веку церемониями представил меня, и тогда к моему величайшему изумлению я узнал, что этот человек — Фрэнсис Дрейк. Этот жизнерадостный, толстощекий, коренастый человек, голова которого едва доставала мне до груди, был тот самый великий англичанин, который первым из нации совершил кругосветное плавание; человек, чье имя уже тогда звенело от страны к стране и от моря до моря выражением похвалы или ужаса, когда его произносил друг или враг; величайший морской капитан, которого когда-либо видел мир; человек, столь ужасный в бою, что его враги верили, что он

больше, чем человек; тот, кто никогда не был и никогда не будет побежден — таков был Фрэнсис Дрейк.

Глядя на него с высоты своего гигантского роста, я думал о Нимроде и Тиглате, о рослом Дераре и могучем Львином сердце и гадал, как бы он выглядел рядом с ними, а потом покраснел от собственной глупости, вспомнив того маленького, худого, тщедушного человека с орлиными глазами и сильной квадратной челюстью, которого пятнадцать столетий назад я видел на вершине земной славы, держащим в своей властной хватке более чем полмира.

— Так это и есть ваш друг, сэра Филип, — проговорил он, откинув голову и оглядывая меня. — И он купил эскадру и хочет отправиться со мной каперствовать в Испанское^[34] море, или куда еще милость небес и мудрость нашей госпожи могут послать нас. Ну что ж, он добрый мальчик, хотя и великоват для моряка.

— Не хочу показаться невежливым, сэра Валдар, — продолжал он, оглядывая меня с головы до ног. — Но почему-то мне легче представить вас атакующим в доспехах с головы до ног и верхом на большом боевом коне с Ричардом в Аскалоне или Генрихом в Азенкуре, чем направляющим ружье или ведущим абордажный отряд. Впрочем, это всего лишь моя фантазия и дурные манеры в придачу, а высказывание непрошенных мнений в настоящее время не входит в мои обязанности. Наша суверенная владычица повелела мне привести вас и сэра Филипа, чтобы поцеловать ее королевскую руку, и я думаю, что не стоит беспокоиться о том, как вас примут, ибо, при всем моем уважении, в мире нет лучшего судьи о мужественности. А теперь, прошу вас, пойдете, потому что ее величество хуже всех в мире умеет ждать.

Последние слова он тихо прорычал, когда мы отошли от группы у двери. Пока мы с сэром Филипом шли за ним, я думал о том, что когда-нибудь расскажу ему однажды ночью в спокойном, залитом лунным светом море об Акциуме и Пелусии, о моих вылазках со старыми готскими морскими волками и о наших путешествиях по неведомому океану в тот мир, который он называл Новым светом, и по которому мы ходили полтора тысячелетия назад.

Но, как ни быстры были эти мысли, для них оставалось совсем немного времени, так как мы подошли к подножию трона, и сэра Филип и я по очереди преклонили колени перед величеством Англии.

Она протянула руку для поцелуя и, повелев встать, осмотрела меня пронизательным, испытующим взглядом, казалось, читая мои самые сокровенные мысли (боги, что бы она сделала, если бы действительно могла!), а потом спросила высоким пронзительным голосом:

— Сэр Валдар из Иварсхейма — имя и титул оба иностранные, не так ли? Мы точно никогда не слышали ни одного из них раньше.

— Да, величество, — ответил я, — оба иностранные, но оба происходят из той страны, откуда произошел твой великий предок, которого мир до сих пор называет «Завоевателем».

— Достойный ответ, — заметила она, — хотя и дан на языке, который звучит странно, старомодно. А ваш титул, откуда он у вас — по наследству или в награду за какой-нибудь храбрый поступок, совершенный вашей сильной рукой?

Я уже был готов сказать ей правду, но прежде чем я заговорил, в голове промелькнула предостерегающая мысль о том, как эти веселые придворные и серьезные государственные мужи, стоявшие вокруг нее, отпрянут и уставятся на меня, или, быть может, чуть не засмеют меня презрительно, насколько позволит им королевское присутствие, и как сама Елизавета, имея на то веские основания, примет меня за лжеца или сумасшедшего и погубит наше предприятие, прямо приказав мне удалиться, если я расскажу, как ее собственный предок Ричард Плантагенет посвятил меня в рыцари на поле битвы в Сирии, и поэтому, склонив перед ней голову, я ответил:

— Королева Англии, титул, который я ношу, был завоеван мечом, и ему уже десять поколений, так как он берет свое начало со времен священных войн.

— Тогда ваше имя, сэр Валдар, более почетно, чем нам известно, но я не сомневаюсь, что оно дошло до достойного наследника, который вскоре даст нам повод узнать его. Мы слышали от нашего верного адмирала сэра Фрэнсиса Дрейка, что вы за свой счет и на свой риск снарядили эскадру, для которой вы просите нашего королевского разрешения выйти в море на некоторые предприятия, которые, как вы ожидаете, принесут вам некоторую прибыль. Не так ли?

— Да, величество, — ответил я. — Однако наша цель не только выгода, но прежде всего защита этого древнего царства, сокрушение

его врагов и такое умножение славы его милостивой владычицы, какое может даровать нам милость небес и мудрость королевы Англии.

Пока я говорил, глаза придворных вокруг ее трона расширились, некоторые брови нахмурились, а некоторые губы насмешливо скривились, но по лицу Дрейка расплылась такая улыбка, которая не могла не понравиться ни одному настоящему мужчине, ибо, как я узнал впоследствии, моя речь была ему по сердцу, и, как он сам сказал мне, он тут же полюбил меня за это.

Но лицо Элизаветы было такой загадкой, какой я никогда не видел ни до, ни после. Брови ее были нахмурены, губы растянуты в улыбке, а глаза сверкали и искрились, и на обеих щеках слабый румянец пробивался сквозь бледность ее желтоватой кожи. Она оперлась локтем на подлокотник кресла и, положив острый подбородок на ладонь, спасла себя, как мне кажется, от откровенного смеха, заметив:

— Это смелые и отважные слова, сэра Валдар. Мы нечасто слышим их при дворе, хотя, возможно, те принцы и правители, перед которыми вы привыкли стоять, более знакомы с простой речью, чем мы, но мы должны заявить для вашего сведения, что, поскольку до сих пор не было объявлено войны между нами и нашими королевскими кузенами Европы, вряд ли уместно говорить о врагах этого королевства и нас. Тем не менее, наш добрый адмирал может объяснить вам лучше, чем мы, что есть много морей и невостребованных земель, где крепкие сердца и сильные руки, такие, как ваши и адмирала, а также вашего доброго друга сэра Филипа Кэрю, могут завоевать как богатство для вас самих, так и некоторую славу для этого королевства, а потому, при соблюдении условий, которые будут установлены нашим добрым секретарем Уолсингемом и нашим превосходнейшим канцлером и советником лордом Берли, вы получите нашу королевскую лицензию и разрешение использовать корабли и снаряжение, которые вы подготовили, для всех справедливых и законных целей в открытом море и везде, куда вас заведет удача или ветер небес. И мы не сомневаемся, что против дикарей и других врагов мира и спокойствия, которых вы встретите в своих путешествиях, вы проявите себя как люди, не забывающие о чести флага, под которым плаваете. А теперь, можете считать себя свободными от дальнейшего присутствия у нас сегодня.

Милорд Берли, — продолжила она, обращаясь к дородному пожилому широколобому джентльмену с серьезным лицом и твердым, настороженным взглядом, стоявшему по правую руку от нее, — вы слышали нас, и вы будете следовать нашим указаниям. Милорд адмирал сэра Фрэнсиса Дрейка, раз уж вы привели этих джентльменов к нам, то, может быть, вам следует проводить их и позаботиться об них, пока они не вернутся на свои корабли.

Мы поклонились и снова поцеловали руку, и сэра Фрэнсиса тоже попрощался, преклонив колено, и когда он встал и отошел в сторону от королевы, его глаза блестели, а челюсти были крепко сжаты, чтобы не рассмеяться.

Затем другие искатели аудиенции вышли вперед со своими представителями, а мы втроем направились к двери. Когда мы выходили, я обернулся на трон и увидел, что Елизавета провожает нас глазами, и, о боги, если бы не разница в лице и фигуре, я мог бы поклясться, что именно душа Клеопатры смотрела на нас загадочными сине-зелеными глазами.

Мы повернулись, в последний раз поклонились трону и вышли. В передней среди толпы, ожидавшей приглашения, я заметил молодого человека лет двадцати двух-двадцати трех, чье лицо, четко очерченное и отмеченное в каждой черте тем таинственным знаком, который природа накладывает на своих избранных сыновей и дочерей, остановило мой взгляд, как будто заклинанием, сотворенным душой, смотревшей на меня ясными серыми глазами.

— Кто этот человек, сэра Филип? — прошептал я, тронув его за плечо.

— Не знаю, но, может быть, вы знаете, сэра Фрэнсиса?

— Нет, я знаю не больше, чем вы, — рассмеялся великий адмирал. — А вот и тот, кто, несомненно, знает, — он схватил за руку церемониймейстера и спросил его вполголоса, — кто этот высоколобый молодой человек с красивым лицом, одетый по деревенски, что стоит рядом с сэром Томасом Фицаланом?

— Это, благороднейший адмирал, — ответил церемониймейстер, низко кланяясь величайшему человеку Англии и заглядывая тем временем в список, который держал в руке, — некто Уильям Шекспир из Стратфорда-на-Эйвоне, что в Уорикшире, деревенский парень, который охотно пошел бы по стопам милейшего певца ее

милостивейшего величества мастера Эдмунда Спенсера. Он пришел сюда сегодня, желая получить аудиенцию, чтобы положить к ногам королевы какую-нибудь праздную оду или какой другой стишок, единственная рекомендация которого — то, что он предназначен, пусть и недостойно, для такой почтительной и похвальной цели, как служить развлечением для ее величества.

— Тогда, если не считать присутствующих здесь, — сказал я, движимый тем же импульсом, который много раз прежде заставлял меня говорить помимо моей воли, — в лице Уильяма Шекспира есть то, что говорит мне, что в грядущие дни ни одно английское имя не будет стоять много выше его.

— Милорду угодно пророчествовать, — возразил церемониймейстер, снова низко кланяясь, на этот раз другу Фрэнсиса Дрейка, — но этот Уилл Шекспир — всего лишь один из многих других, которые приходят сюда с подобной целью и уходят, чтобы затеряться среди убожества своей низкорожденной безвестности.

Я повернулся спиной к льстивому, заискивающему чинуше и, сделав пару шагов через комнату туда, где стоял Уилл Шекспир, протянул ему руку:

— Вы Уильям Шекспир, как мне сказали, поэт, ищущий королевской милости. Вот рука, которая пожимала руки королей и завоевателей. Если ваше лицо не противоречит вашему гению, а это редко бывает с лицами, то вы достигнете чести и славы, если вложите себя в свое дело. Я — солдат удачи, а вы — слуга музыки, и обе они непостоянные любовницы. Так что мы вполне можем пожать друг другу руки, если хотите.

Он посмотрел на меня быстрым, испытующим взглядом, тем взглядом, которому суждено было прочесть самые сокровенные мысли человеческих сердец так, как они никогда не были прочитаны прежде и, может быть, никогда не будут прочитаны снова, а потом сжал мою руку со словами:

— Никакое приветствие не может быть добрее того, которое самопроизвольно исходит от доброго сердца одного незнакомца к другому. Благодарю вас, сэр, кем бы вы ни были, и если я когда-нибудь смогу отплатить вам за эту доброту, то, как бы ни был я беден сейчас, все же я всегда буду желать этого.

— Вы сделаете это, — сказал я, — в этом веке или в другом, или я, увидевший Вергилия, Овидия и Лукреция лицом к лицу, никогда еще не видел поэта.

Последнее было произнесено шепотом, который достиг только его уха, и прежде, чем выражение полного изумления исчезло с его лица, я сжал его руку, отвернулся и оставил его, величайшего из тех великих, которые должны были родиться в доблестные времена великой Елизаветы. Но когда мы вышли из приемной, я положил руку на плечо великого адмирала и попросил:

— Сэр Фрэнсис, если я когда-нибудь заслужу от вас милость, оплатите мне тем, что будете благосклонно присматривать за этим юношей, потому что какой-то внутренний голос говорит мне, что в грядущие дни мало кто сделает для славы Англии больше, чем он.

— Ну, это я охотно сделаю, сэр Валдар, — раскатился он веселым смехом. — Это самое малое, о чем можно просить, потому что, хотя я сам простой человек, я всегда любил хорошего поэта. Но вы уже заслужили от меня гораздо большего, ибо, клянусь честью доброго англичанина, когда вы добились милостивой речи от нашей милой государыни, вы добились для нас с вами разрешения совершить подвиг, о котором скоро заговорит весь мир, и за это я бы взял двадцать поэтов в королевскую милость, если бы мог.

Из дворца мы втроем отправились на тихую прогулку и приватную беседу в тенистый лес королевского парка, и там сэр Фрэнсис, взяв с нас клятву хранить тайну, рассказал нам кое-что о том великом плане, который уже вырисовывался в его вечно деятельном мозгу, и на который его несколько медлительный язык так неясно намекал. И когда мы были уже далеко за пределами слышимости, веселый маленький герой, держась за бока, рассмеялся над той невинно звучащей и в то же время полной глубокого смысла речью, которой Глориана, как эти морские рыцари любовно называли свою госпожу королеву, ответила на мои грубые, старомодные слова об истинном конце моего проекта.

К тому времени, как наша прогулка закончилась, его сильный, благородный гений так подействовал на меня, что я охотно признался бы, что из всех известных мне великих людей, которых я любил или ненавидел, всех королей и завоевателей, вместе с которыми или против которых я сражался, я никогда не говорил с человеком, который так

быстро покорил мое вековое сердце, как этот «маленький пират» королевской Англии, этот своевольный, бросающий вызов смерти и опасностям маленький флибустьер, который расчистил путь для более масштабных триумфов Родни, Хоу и Нельсона, и который, если бы ему была предоставлена свобода действий, умер бы повелителем океанов и оставил бы свою страну владычицей мира.

В тот вечер мы с сэром Филипом ужинали с адмиралом в гостинице «Старый корабль», где он остановился, и там я оказался в компании самых доблестных и осененных славой людей, когда-либо сидевших за одним столом. Нет, я действительно думаю, что если вы пороетесь в мировой истории, то не найдете за одним столом ни одной компании людей, которые поодиночке или вместе оставили бы столь большой след на скрижалях судьбы, как те, с кем я ужинал в тот вечер.

Там был угрюмый секретарь Уолсингем, который в своей тонкой белой женской руке держал, как показали события, добрую половину нитей запутанного клубка европейской дипломатии; там был Говард Эффингемский, искренний католик, который, когда Армада отплыла из Испании, поставил кровь и страну выше веры и сражался с его католическим величеством так же отчаянно, как лучший пуританин во флоте; там был черный сэр Джон Норрис, старый соратник Дрейка; толстый Джон Хокинс и суровый, жестокосердный Мартин Фробишер; был отважный, учтивый сэр Ричард Гренвилл, чье имя история и песнь Англии покрыли славой лишь менее яркой, чем его незапятнанная рыцарская честь, тот храбрейший из храбрых, который на своем маленьком суденышке «Месть» сражался с пятьюдесятью тремя большими испанскими кораблями день и ночь, пока не были израсходованы все снаряды и весь порох до последней унции, и пока не был ранен каждый человек на его корабле, и который упал замертво на палубе своего противника в момент триумфа, который стоил больше победы.

Подумайте об этой компании с Фрэнсисом Дрейком в качестве хозяина, вы, для кого эти первые создатели вашего великолепного морского царства всего лишь имена, какими бы славными они ни были, и вы скажете вместе со мной, что стоило жить и претерпеть все, что даже я пережил и выстрадал, чтобы сидеть с ними за одним столом и слушать, как они снова переживают свои сражения и рассказывают обо всех чудесных вещах, которые видели и делали.

Из одной только этой вечерней беседы я мог бы пересказать вам столько историй, что они с лихвой заполнили бы оставшееся мне короткое время и место. О путешествии славного старого корабля, суденышка, как бы вы его теперь назвали, водоизмещением 100 тонн и вооружением 18 пушек, который ушел на запад под именем «Пеликан», а вернулся с востока как «Золотая лань» и, потрепанный штормами и усеянный ракушками, шатаясь вошел в Плимутский пролив после того, как бросил вызов тому могучему подвигу, который совершил сам великий Магеллан первым из всех сынов человеческих 68 лет назад. О залитых солнцем тропических морях и той далекой стране запада и юга, которая в те дни была настоящей волшебной страной богатства и красоты. О кораблях с сокровищами и длинных караванах мулов, груженных золотом и серебром, жемчугом и драгоценными камнями, о которых эти отважные флибустьеры так позаботились, чтобы они никогда не попали в руки Филиппа Испанского. О Сантьяго-де-Лиме, о солнечных западных островах и заснеженных скалах края света, где мыс Бурь^[35] вздымает свою одинокую вершину среди вечных штормов далекого юга.

Обо всех этих храбрых деяниях, которые в истории Англии навсегда связаны с их именами, вы прочли много страниц в сочинениях ваших хроникеров и романистов, но как те же самые истории разожгли бы вашу кровь и воспламенили ваши души, если бы вы могли услышать их, как я, из уст тех самых людей, которые совершили подвиги, о которых они рассказывают? Что касается меня, то достаточно сказать, что, если моя судьба приготовила для меня столько же жизней, сколько я уже прожил на земле, память о той славной ночи будет сиять среди всех великолепных воспоминаний, которые я унесу с собой в грядущую вечность.

На следующее утро мы спустились на нашем пинасе^[36] вниз по Темзе во время отлива и поднялись по Медуэю к Апнору, где наши корабли стояли на якоре, и там сделали последние приготовления к путешествию, которое теперь несомненно ждало нас. На следующий день королевский курьер привез нашу каперскую лицензию, оформленную как положено, с собственноручной подписью королевы и вместе с ней письмо, адресованное мне, которое гласило следующее:

«С тех пор, как начался мир, детские желания, ветер и женская прихоть никогда еще не были постоянными, поэтому, если ветер будет

благоприятным, когда письмо достигнет вас, лучше сразу отплыть, чтобы завтра не поднялся ветер в лицо. Место встречи — Плимут.

Фрэнсис Дрейк».

Послание от такого человека не оставляло места для разночтений, и так как отлив был еще силен, мы подняли якоря и поставили паруса, и изящная «Леди Кейт» с сотней медных пушек, сверкающих на полуденном солнце, и сияющими белоснежными крыльями, распростертыми от верхушек мачт до фальшборта, весело спустилась вниз по Медуэю вместе с сопровождающими судами, и в назначенное время прибыла в Плимут. Дрейк, который отправился по суше, был там раньше нас, и когда мы в один прекрасный солнечный день в конце июля подошли к Плимутскому проливу, он уже поднял свой адмиральский флаг на мачте «Элизабет Бонавентура» как предводитель самого доблестного флота, который когда-либо каперствовал возле Южной Америки.

Нет нужды рассказывать вам историю нашего первого плавания, потому что это будет в лучшем случае дважды рассказанная история, так как более искусные перья, чем мое, уже рассказали, как мы сожгли Сантьяго в Кабо-Верде, где «доны» сожгли молодого Уилла Хокинса пять лет назад; как мы прошли через полосы удач и неудач, пока не достигли золотых земель Запада; как мы штурмовали хорошо укрепленные города Сан-Доминго и Картахена и вернулись домой (то, что от нас осталось) почти смертельно больные, но покрытые славой и нагруженные богатейшей добычей, которую когда-либо теряли «доны».

Для вас это всего лишь еще один рассказ о флибустьерах (каперах, приватирах), какими переполнена история морей, однако, если бы вы в тот день вернулись в Плимут с нами, вы скоро увидели бы, насколько больше значило наше путешествие.

Когда мы отплыли немногим более года назад, Испания была величайшей державой в мире, и вся Европа в ужасе смотрела на рост ее безжалостной силы. Великое религиозное восстание^[37], которому вы обязаны благословением свободы веры и вероисповедания, слова и мысли, было подавлено железным сапогом фанатизма и гонений во всех южных странах Европы. Во Франции восстание тоже потонуло в крови и пламени, а в Нидерландах герцог Пармский захватил Антверпен и со своей огромной армией ветеранов делал все, что могли

сотворить топор, меч, столб и хворост, чтобы заново выстроить империю тьмы и деспотизма.

Даже в доблестной Англии сердца людей начинали сдавать от страха. Два года испанский король Филипп отдавал все силы постройке такого флота, какого еще не видел мир, и, хотя его агенты при английском дворе и предатели, чьи души они покупали испанским золотом, упорно и умело лгали об обратном, не было ни одного моряка в английском флоте и ни одного честного человека при дворе, который не знал бы истинной цели этой великой Армады. С ее помощью Филипп соединит силы на море с герцогом Пармским на суше, мятежные Нидерланды будут разгромлены, и тогда настанет черед Англии.

Стоит ли удивляться, что мы вернулись в страну полную мрачных предчувствий? Но наши якоря и недели не пролежали в грязи, как весть о наших делах пронеслась, словно дикий огонь, над Англией и над узкими морями^[38], и люди увидели, что в мире родилась новая сила, так как именно в тот день, когда мы вернулись победителями, пробил первый час британской морской империи. Европа протерла глаза и обнаружила испанскую торговлю во власти английских каперов, герцог Пармский увидел, что его армия начала таять, полуголодная и неоплаченная, Севильский банк разорился на следующей неделе, Венеция тоже прекратила выплаты, а на величайшего монарха мира указали как на банкрота и отказали в займе в полмиллиона дукатов. Вот что мы сделали в морях Испанской Америки, и таким образом удары, которые мы нанесли на другом конце света, отозвались эхом по всей Европе.

Но даже теперь при дворе было так сильно предательство и то жалкое искусство обмана и лжи, которое называется политикой, что королева, к ее вечному позору, взяла свою долю добычи одной рукой, а другой написала королю Филиппу письмо, в котором отреклась от Дрейка и всех славных дел, которые он совершил для нее и Англии. Филипп принял это оправдание, и не сомневаюсь, посмеялся над ним в усы, так что паника прошла. Кредит Испании был восстановлен, и подготовка к вторжению в Англию продолжилась, в то время как Дрейк был вынужден тратить на бесполезные рейды в узких морях и бесплодный визит в Нидерланды драгоценные месяцы, в течение которых, как он сам сказал мне, он мог бы навсегда сломить морскую

мощь Испании. Что же касается нас, то мы отвели наши корабли в Ньюкасл, где поставили их на ремонт, а сэр Филип со своей долей того, что мы отобрали у «донов», принялся выкупать свои древние земли и восстанавливать пошатнувшееся состояние своего рода.

Так прошли осень и зима. Для меня это было самое счастливое мирное время, какое я когда-либо проводил на земле, ибо, хотя в последнее время у меня было очень мало возможностей говорить о моей дорогой леди и обо всех удовольствиях, которые я находил в ее милом обществе в промежутках между битвами с испанцами и войнами со стихиями, вы можете быть уверены, что она ни на минуту не покидала моих мыслей. Теперь, когда я снова был ее гостем в поместье, не имея никакого другого дела, кроме любви, вы можете догадаться, как быстро пролетели золотые дни и как высоко поднялись мои надежды на то, что теперь, после стольких приобретений и потерь, безжалостная судьба даст мне то, что я, несомненно, честно заслужил, если вообще когда-либо мужчина заслуживал женщину с тех пор, как впервые начала рассказываться старая-престарая история мира.

Но едва закончился январь, как с востока и юга снова накатили тучи войны, еще более черные и угрожающие. Крепости Девентер и Зютфен в Нидерландах были сданы испанцам двумя английскими предателями Уильямом Стенли и Роландом Йориком, которых Лестер оставил после себя. Марии Стюарт был вынесен смертный приговор за участие в заговоре Баббингтона против жизни Елизаветы. Франция была на грани объявления войны из-за нее, а потом Уолсингем запустил цепь событий, которая должна была поджечь Европу, показав королеве письмо Филиппа Испанского к Папе, украденное из кабинета его святейшества, в котором «защитник церкви», как он любил себя называть, многословно объявлял, что истинной целью постоянно растущей Армады является вторжение в Англию и восстановление католического правления в последнем оплоте религиозной свободы.

«Если вы любите меня и если вам хватит духу для еще более веселого времяпрепровождения, чем в последнее время в морях Испанской Америки, то подготовьте ваши корабли со всей возможной скоростью и присоединяйтесь ко мне в Плимуте, так как ее величество милостиво сооблаговолила приказать мне отправиться к берегам Испании, где я надеюсь опалить бороду короля Филиппа факелом,

сделанным из того его собственного корабля, до которого я смогу дотянуться».

Именно таких слов мы и ждали от Фрэнсиса Дрейка, как вы уже правильно догадались, и в тот же день, когда почтальон привез мне письмо, мы с сэром Филиппом приехали в Ньюкасл и отдали распоряжения не жалеть ни времени, ни денег, чтобы как можно скорее подготовить нашу флотилию к выходу в море. Это было где-то в конце февраля, а в середине марта «Леди Кейт», вся как новая от верхушки мачты до киля, спустилась по реке Тайн с пятью парусниками в кильватере и взяла курс на Плимут.

Та, в чью честь корабль был назван, была с нами на борту, но на этот раз она сопровождала нас только до Плимута, где должна была гостить у жены адмирала, пока нас не будет, потому что теперь мы отправлялись не за приключениями, и не в увеселительный пиратский круиз в тропических водах. Приказ королевы состоял в том, чтобы двинуться к берегам Испании и там сделать все, чтобы не допустить соединения частей армады, а это означало войну жестокую и беспощадную, пока или Англия, или Испания не будут повержены в прах.

Поэтому, когда в один из теплых солнечных апрельских дней мы снова повернули в знакомый пролив и отсалютовали адмиральскому флагу, развевающемуся на мачте его старого корабля, для нас с моей леди Кейт уже настало время прощаться, так как первое известие, которое мы получили, было сообщение о том, что мы должны как можно скорее пополнить запасы воды и провизии и быть готовыми отплыть в любую минуту.

В тот же день мы с сэром Филиппом отвезли Кейт на берег и представили хозяйке, так как адмиралу не терпелось поскорее отчалить, и он боялся, как бы в любой час не явился гонец от королевы, чтобы отменить приказ. Даже сейчас его моряков подкупали испанским золотом руками английских предателей, чтобы заставить их дезертировать, и никто не знал, какой еще камень преткновения может встать на его пути.

На следующий день на закате с адмиральского бака прогремела сигнальная пушка для поднятия якорей, и каждый корабль, готов или не готов, должен был отчалить или остаться сзади. Когда мы подняли

якорь, Кейт стояла рядом со мной в каюте своей величественной тезки. Я взял ее за обе руки и, склонившись над ней, прошептал на ухо:

— Милая Кейт, я иду на войну за Англию и за тебя, а случайностей на войне много, потому что этот мерзкий порох сделал любого подлого пигмея, способного держать пистолет, равным самому отважному рыцарю с мечом. Все это время я любил тебя и служил тебе, как твой верный рыцарь, и никогда не просил награды. Неужели у тебя нет для меня ни одного поцелуя из сотен, которые могут подарить твои сладкие губки? Я жажду только одного, первого, который в силу превратностей войны может оказаться последним!

Пока я говорил, она глядела на меня с некоторым испугом, а я, не увидев гневно нахмуренных бровей или отказа в глазах, принял молчание за согласие. Она приняла поцелуй с таким нерешительным протестом, что я, внезапно открыв глаза и увидев, сколько таких поцелуев я, быть может, потерял из-за слепоты или чрезмерной застенчивости, схватил ее светлость в объятия и тут же наверстал упущенное время, и когда я снова опустил ее на землю, она отступила, вся раскрасневшись, и воскликнула, одновременно смеясь, плача, хмурясь и возмущенно постукивая ножкой по палубе:

— Вот как, сэра Валдар, мой отважный герой ста сражений! Именно так ваше старомодное рыцарство научило вас использовать силу, чтобы преодолеть слабость беспомощной женщины?

— Не совсем беспомощной, миледи, — ответил я, — потому что одно слово из этих милых уст или один запрещающий взгляд этих милых глаз, которые сейчас смеются — да, смеются, несмотря на все ваши усилия нахмуриться, — превратили бы эту силу в слабость и страх обиженного ребенка. Так что, теперь вы опоздали с гневом. Если бы вы только упрекнули меня раньше, но вы этого не сделали...

— Потому что не хочу, — перебила она, рассмеявшись в свою очередь и снова подходя ко мне. — Потому, что сейчас не время для разговоров, которые идут не от чистого сердца. До свидания, Валдар, я уже слышу, как поднимают якорь, и знаю, что адмирал не потерпит промедления. Я охотно пошла бы с вами, как на те давние войны, на которые мы ходили вместе, но так как вы мне не позволяете, а сэра Фрэнсиса клянется в своей нелюбезной манере, что юбки не будут мелькать среди парусов его флота, я могу только остаться дома и

молиться о вашем благополучном возвращении. Так что, еще раз, до свидания, и когда вы вернетесь с победой...

— Тогда, — сказал я, снова обнимая ее без сопротивления, — тогда я попрошу тебя о том, в чем, надеюсь, ты мне не откажешь. Что ты скажешь, милая, я напрасно буду просить?

— Это я скажу тебе, когда ты вернешься, потому что на сегодня я, по-моему, уже достаточно сдалась.

— Почти достаточно и все же не совсем, — я снова прижал ее к себе, когда она сделала движение, чтобы убежать. — Ну же, милая Кейт, всего один поцелуй в ответ, такой, какой ты подарила мне в ту давнюю ночь у стен Мекки, перед тем как мы ушли на сирийские войны, когда я был Халидом, а ты — Зорайдой.

— Тогда только один, ради тех старых времен, — сказала она, и на половине поцелуя снова выскользнула из моих объятий, поспешно отступила к двери каюты и, приоткрыв ее, дерзко тряхнула хорошенькой головкой: — Это был не первый поцелуй, сэра Валдар. Ты забыл моего «спящего крестоносца»?

Я быстро сделал два больших шага к двери, но не успел догнать ее, она уже скрылась в коридоре, а когда я вышел на палубу, она уже прощалась с сэром Филипом так скромно и по-сестрински, что мне пришлось сдержаться и постараться собраться с мыслями, пока они не обнялись в последний раз. Она подошла ко мне, протянув руку:

— Еще раз до свидания, сэра Валдар. Передайте «донам» теплый привет ради меня и веселой Англии, и пусть ваши кили не тормозят на обратном пути. Бейте сильно и верно, и каждый раз, нанося удар, думайте о тех, кто ждет, чтобы приветствовать вас снова дома.

— Еще раз прощай, милая Кейт, — сказал я тихо, ведя ее к трапу, — и когда я вернусь, ты расскажешь мне, как ты вернула меня к жизни, так же, как это сделала Клеопатра в храме Птаха. Прощай, еще раз!

— Еще раз прощай, Валдар, мой славный рыцарь! — прошептала она, и голос ее дрогнул от нежности, когда я наклонился и поцеловал руку, которую охотно обменял бы на губы, а затем, когда из кубрика хрипло прозвучали слова «Все чисто!», и корабль освободился от швартовов, я помог ей спуститься в ожидавшую ее шлюпку и запрыгнул обратно на палубу.

Глава 28. Непобедимая армада

Я охотно и подробно рассказал бы вам о том, как мы опалили бороду короля Испании в гавани Кадиса, где мы зажгли пламя, просиявшее по всей Европе; я бы с удовольствием проследил наш путь вдоль побережья Испании, где мы штурмовали и грабили, жгли и уносили добычу, от Кадиса до Финистерре, а оттуда до западных островов; и рассказал бы, как мы захватили великий галеон «Сан-Фелипе», но эта знакомая вам история имеет мало общего с моим рассказом, поэтому я обойдусь просто ее упоминанием и расскажу лучше о нашем возвращении домой и о том, что случилось после.

Можете сами догадаться, каким радостным было возвращение для всех нас, тяжело груженных добычей, окутанных славой величайшего триумфа, который Англия когда-либо одерживала на море. Когда наши разбитые снарядами, побитые штормами суда вошли в Плимутский пролив, ведя на буксире великий «Сан-Фелипе», все пушки с плимутских батарей и с каждого корабля, имевшего на борту фунт пороха, громогласно приветствовали нас, а когда новость распространилась по городу, шпили церковей зазвенели радостными нотами, на каждом флагштоке затрепетал красочный флаг, и весь Плимут чуть с ума не сошел от восторга, приветствуя нас с возвращением в Англию и в милый старый город.

Но так, как праздновал Плимут в тот день, вскоре отпраздновала вся Англия. Армада не внушала страха, по меньшей мере, еще год. Туча войны рассеялась под огнем бортовых залпов нашего маленького адмирала, и, когда небо над Европой прояснилось, Англия увидела за морями безграничные богатства и будущую империю. Груз «Сан-Фелипе» стоил больше миллиона фунтов ваших денег, и он прибыл не из испанской Америки, а из Ост-Индии.

Нужно ли объяснять, что это означало? Теперь английские купцы начали посылать корабли к берегам, откуда «Сан-Фелипе» привез столь славный груз, и двенадцать лет спустя была основана та великая торговая компания, без которой британская корона не имела бы индийского бриллианта.

Но для меня, самого радостного среди радостных, счастливое возвращение домой означало, что то, что было бесценно за пределами любых мечтаний о богатстве или славе, то, к чему я стремился, ради чего боролся и чего ждал все века, теперь, наконец, должно было свершиться. Таинственными трудами моей чудесной судьбы я прошел через сражения и смятения, через борьбу и горе, чтобы найти всю красоту и грацию, всю нежность и силу моей много раз завоеванной, давно потерянной любви, вновь воплотившейся в несравненной форме этой милой английской девушки, которая приказала мне идти сражаться за Англию и за нее, сознательно и с радостью посвятив саму себя тому, чтобы стать призом победы.

Не успел якорь погрузиться в голубую воду Пролива, как мой пинас оказался у борта, я прыгнул в него и поплыл к берегу. Кейт и леди Дрейк были там, среди толпы встречавших нас сияющих друзей, и едва я сошел на землю, я в старинном горячем нетерпении поднял мою милую леди на руки и крепко поцеловал ее перед всеми, остановив самые слова приветствия на ее устах и вызвав румянец на многих прекрасных щечках, которые стали лишь слегка менее яркими, чем ее.

Но я был не единственным счастливым влюбленным, который, вернувшись, встретил ожидавшую его возлюбленную (я был слишком занят делами, чтобы рассказать об этом). Сэр Филип отплыл с таким же обещанием от другой прекрасной английской девушки, какое я получил от леди Кейт, поэтому Мэри Сиденхэм, младшая сестра жены нашего дорогого маленького адмирала, оказала ему прием, который, полагаю, был не менее теплым, чем тот, которым моя милая девушка наградила меня, когда, наконец, представился благоприятный случай.

В тот вечер мы пировали в старой ратуше по-королевски. Весь Плимут был освещен огнями, в нашу честь звучали сладкозвучные карильоны и громоподобные салюты, а на следующий день были решены более высокие и важные вопросы. Теперь со стороны моей милой леди не было никакой задержки, потому что то, что она обещала, я честно выиграл и мог забрать, когда захочу. Она поставила только одно условие, и оно было таково, что я был бы не мужчиной, если бы не выполнил его. Она хотела выйти за меня замуж в старом поместье в той маленькой комнатке в старинной башне замка, где сэр Бодуэн поместил меня и где она ухаживала за мной с любовью, когда я

был еще ее «спящим крестоносцем» и рыцарем ее девичьих грез. Так что, хотя мой любимый товарищ по оружию заслужил и получил свою невесту в Плимуте, мне пришлось немного подождать своей. Но ждать пришлось недолго, потому что через три дня после того, как Мэри Сиденхэм вернулась из церкви, «Леди Кейт», прекрасный новый бристольский корабль, который я купил, стоял в Проливе со спущенными парусами, готовый отвезти нас на север. И с попутным ветром по яркому солнечному летнему морю мы уплыли самой веселой компанией, какую когда-либо уносил английский дуб по английским водам.

И вот сэр Филип привез невесту домой, и они стояли бок о бок с нами, когда настал самый важный из всех дней моей долгой жизни, и мы с Кейт встали рука об руку перед маленьким алтарем, который был установлен в недавно освященной комнате, которая уже была освящена для нас удивительными и полными любви воспоминаниями.

Есть вещи, о которых нельзя писать, так как это принижает их, даже если бы человеческие слова действительно могли изобразить блаженство и восторг от них. И наш брак, самый удивительный из всех, когда-либо соединявших руку и сердце мужа и жены, был, несомненно, одной из таких вещей. Здесь на какое-то время перо выпадает из моей руки, и я откидываюсь на спинку стула, размышляя о том, что значит истинная любовь для того, кто любил и добивался любви, терял и находил, и снова терял, пока сквозь долгие грезы о той яркой осени, согретой любовью зиме и нежной весне, которая последовала за ней более трехсот лет назад, снова не прорывается грохот пушек, эхом разносящийся по английскому побережью, и сквозь туман слез, который собирается в моих устремленных в прошлое глазах, я вижу сияние предупреждающих огней маяков, перескакивающих от мыса к мысу, от горы Эджкамб до предгорий, и перепрыгивающих с вершины на вершину и со шпилья на шпиль над пробуждающейся английской землей в ту памятную ночь 19 июля, чтобы сообщить нам, что туча войны снова разверзлась и что Армада Филиппа, которая много раз вызывала растерянность и давно внушала страх, наконец, приближается к нетронутой английской земле.

Вы знаете, потому что летописцы рассказали вам, а поэты пропели для вас историю той долгой битвы, длившейся пять дней и пять ночей от Лайзарда до пролива Ла-Манш — это время яростного

наступления и жестокого отпора, когда судьба Англии и всего мира трепетала от прихоти ветров, когда мы, как бульдоги, висели на хвосте у «донов», нападали и донимали, горели и тонули, но причинили столь незначительный урон огромной массе этого могучего флота, что, когда наступила суббота и мы увидели французскую землю справа от нас и английскую слева, прямо перед нами был большой полумесяц^[39] Армады, плывущей мимо Кале, все еще несломленной и почти такой же сильной, как всегда. Еще 25 км, восемнадцать коротких морских миль и можно будет добраться до Дюнкерка. Тогда адмирал Сидония соединит свои силы с герцогом Пармским, и решится судьба Англии.

Что случилось потом, никто никогда не узнает, но, несомненно, произошло какое-то чудо, и благодаря ему Англия и весь мир были спасены.

Сила человека не смогла ничего сделать. Величайшие адмиралы и капитаны того времени, самые героические моряки проявили всю доблесть и мастерство, и, несмотря ни на что, великая Армада благополучно прошла через тысячи опасностей и была все еще непобедима. Не было ни одного англичанина, ни на корабле, ни на берегу, который в этот час не чувствовал бы тяжесть на сердце и не думал бы о том, что теперь остается только ждать конца и сражаться до смерти, когда он придет. И вот, в одиннадцатом часу, свершилось чудо, и Армада встала на якорь.

Это было необъяснимое безумие, но это случилось, хотя мы были настолько далеки от того, чтобы догадаться об истине, что чуть не догнали их, прежде чем узнали, что они остановились. Мы были так близко от них, что едва спасли себя и преимущество наветренной стороны, бросив якоря всего лишь на расстоянии пушечного выстрела от мириад огней, которые указывали, где находятся испанцы. Сеймур и Винтер присоединились к нам с дуврской эскадрой, а на борту «Королевского ковчега» был созван военный совет, от решения которого, как верно заметил один из ваших величайших летописцев, зависела судьба человечества.

Пока шел совет, я рассказывал взад и вперед по корме своего корабля, наблюдая за огнями испанского флота, и в этот момент мне явилось из далекого прошлого видение той ужасной дневной и ночной битвы в заливе Акциум более шестнадцати столетий назад.

Тогда, как и сейчас, господство над миром лежало, трепеща, на красных весах войны. Тогда, как и сейчас, два великих флота столкнулись друг с другом в преддверии величайшего сражения, которое должно было определить морскую империю и судьбу народов. Тогда решалось, будет ли это Рим или Александрия, теперь Англия или Испания.

Я закрыл глаза, все еще стоя лицом к лежащей на якоре Армаде, и увидел, как из темноты поднимается злое пламя брандеров, дрейфующих вместе с ветром и приливом на сбившиеся в кучу галеры флота Антония. Я видел, как они проникли в них, и снова наблюдал за последовавшим крушением и разгромом, и снова вел своих орущих морских волков в последнюю атаку на эту разбитую и охваченную паникой толпу.

Этого было достаточно. Не напрасно это благословенное видение посетило меня в тот решающий час судьбы Англии.

Галеон Дрейка «Месть» лежал на якоре в двух кабельтовых от «Леди Кейт», и когда я снова открыл глаза, то заметил, что сквозь мрак к нему несется пинас. Я окликнул его, и мне ответил голос Дрейка. Я снова позвал его, прося подойти к борту, и пинас развернулся под моей кормой.

— Что там, сэр Валдар? — спросил адмирал таким тоном, что я понял, что он чем-то раздражен. — Вы что-нибудь видели? Есть у «донов» признаки движения?

— Если вы найдете время, чтобы подняться на борт, сэр Фрэнсис, — ответил я, — или если вы возьмете меня на свой корабль, я расскажу вам кое-что из того, что я видел, и что может иметь отношение к завтрашнему сражению, если мы собираемся биться, но я хочу, чтобы нас никто не услышал.

— Тогда чем быстрее вы расскажете, тем лучше, — прорычал он, карабкаясь по борту. — И пусть мне это понравится больше, чем все, что я слышал там, на совете у лорда-адмирала.

— В этом я не сомневаюсь, — сказал я, входя с ним в каюту и запирая за собой дверь.

Я рассказал о том древнем морском сражении при Акциуме и о том, как мы заставили огонь сражаться вместо нас. И когда я закончил, он ударил кулаком по столу с такой силой, что выбил из него пыль, и воскликнул:

— Клянусь Господом воинств, ты попал в цель, сэр Валдар! Надо так и сделать — поджечь собственные корабли! Ты знаешь, в наши дни ходит много праздных разговоров о том, что такие средства не годятся для христиан, как будто есть какая-то разница в том, чтобы сжигать корабли на якоре, как мы это делали в Кадисе, или посылать горящие брандеры во вражеский флот. Да, клянусь честью, надо так и сделать, и мы с тобой, сэр Валдар, сделаем это, если только «доны» подождут, пока мы подготовим корабли. У меня есть четыре или пять суденышек, которые я вполне могу выделить для такого хорошего дела, и я не сомневаюсь, что мы сможем найти другие.

— Я найду остальные, — ответил я, — если предам огню все корабли, кроме этого.

Так и было решено. Это было в субботу вечером. Все воскресенье мы упорно трудились, готовя наш ловкий ход, и когда наступила ночь, безлунная и облачная, у нас было восемь судов, битком набитых горючим материалом, и каждый с полдюжиной бочек пороха, аккуратно уложенных под палубой. Мы дождались, пока прилив не переменится, и теперь он мчался от нас к Армаде, обтекая огромные галеоны, стоящие на двойных якорях.

Был отдан приказ, суда были подожжены, и с закрепленными рулями и парусами мы отпустили их. Пламя ревело и прыгало все выше и выше по мере того, как они быстро дрейфовали по своему пути, а затем мы слышали крики и вопли, и хриплые команды, доносившиеся над водой от испуганных «донов».

У них не было времени поднимать якоря или ставить паруса. Обрезанные якорные тросы соскользнули в воду, и огромные плавучие замки, покрасневшие от яркого огня брандеров, беспомощно дрейфовали прочь, врезаясь друг в друга, разбивая рангоуты и такелаж, сцепляясь в диком и непоправимом беспорядке, а безжалостный прилив уносил их к фламандским пескам. И все это время брандеры двигались на эту запутанную массу со своим пылающим грузом, безжалостные, как судьба, и страшные, как смерть. Вскоре одна за другой вспыхнули пороховые бочки, и один за другим восемь брандеров разлетелись на куски, разбрасывая искры и пылающие обломки высоко в воздух и далеко среди «донов».

Теперь или никогда настало время нанести удар, тогда Армада будет рассеяна и Англия спасена. Все якоря были уже подняты, и под

всеми парусами, какие только были, английский флот устремился вперед, чтобы вершить долгожданную месть. Огромный «Сан-Мартин» испанцев каким-то образом тронулся в путь, и вокруг него выстроилось еще с полдюжины высоких кораблей. Адмирал Говард свернул, чтобы захватить большой галеас, запутавшийся с другим галеоном и поэтому наполовину беспомощный. С его стороны это было глупостью, но для нас удачей, потому что Дрейк оказался во главе линии.

Пробил час и пришел Человек. В одно мгновение Говард со своей глупой тактикой был забыт, Дрейк стал нашим вождем, и за ним мы пошли в мрачном, ужасном молчании, пока между нами и кольцом кораблей вокруг адмирала Сидонии не осталось только половины расстояния пистолетного выстрела. Затем, как одна, прогремели наши пушки. Это был рев морского льва, набрасывающегося на добычу, и вместе с ним погребальный звон для Непобедимой армады. Мы пронеслись сквозь клубы дыма и пламени, развернулись и обрушили еще одну бурю на сбившихся в кучу «донов». Затем с севера донесся ответный грохот пушек Уинтера и Сеймура, и, когда мы уже три часа занимались этой мрачной, славной работой, сражаясь так яростно и ожесточенно, как только могли наши горячие сердца, подошел Говард с отставшими. Он тоже нырнул в битву, и величайший морской бой, закрутился быстрее и яростнее, чем любой другой морской бой, в котором когда-либо сражались люди.

Загнанный в угол английский лев клыками и когтями рвал эти гигантские корпуса в щепки, отбрасывал их в стороны, где они оседали и тонули, и бросался искать новую добычу. Мы заряжали и стреляли, давая «донам» то, за чем они пришли так далеко, и мило за милей мы гнали их сбившуюся, спутанную массу обломков по узким водам мимо Дюнкерка всю эту ночь и весь следующий день, и все, что осталось от самого могучего флота, уплывало вдаль, разбитое и беспомощное. Бой превратился в погоню.

С полудня начался дождь, и усиливающийся ветер уверенно задул на нидерландский берег, который, как мы полагали, вскоре станет могилой некогда Непобедимой Армады, а мы, держась с наветренной стороны от галеонов, наблюдали, как море бьет их, окружая и гоня их вперед, чтобы никто не мог спастись.

Еще три часа такого хорошего ветра, и испанский адмирал Сидония никогда больше не сидел бы под своими апельсиновыми деревьями в Порт-Сент-Мэри. Но этому не суждено было случиться. Снова ветер переменился, и опять «доны» были спасены. Ветер сменился на южный, и тогда все рули испанцев опустились, а все паруса поднялись. Перед испанцами открылось море, а сзади задул свежий бриз, и большие корабли, пошатываясь, пошли на север, а Эль Драке, изрешеченный пулями, без пороха, беспомощно следовал за ними.

Много лет спустя я узнал, что в память об этой нашей победе была отчеканена медаль, и на этой медали я прочел надпись на добром старом латинском языке: «Он дунул своими ветрами, и они были рассеяны» — благочестивая мысль, которая, как и некоторые другие, которые можно прочитать на надгробиях монархов, более благочестива, чем верна, ибо я, сражавшийся от начала до конца в этой долгой погоне и отчаянной битве, говорю вам, что трижды ветер пощадил Армаду в нашем долгом сражении вверх по проливу Ла-Манш, и в четвертый раз, как я только что показал вам, спас ее от самой страшной катастрофы из всех, потому что, когда западный ветер поворачивал к югу, между испанскими килями и нидерландскими грязями оставалось всего пять морских саженей.

Так что не переменчивым ветрам нынешняя Англия обязана своим спасением, а скорее тем крепким английским сердцам и сильным английским рукам, которые завоевали для нее свободу в течение этих шести роковых дней и ночей, и тому благородному мужеству, и преданной стойкости людей, которые снова и снова бросались в бой независимо от того, сражался ли ветер на их стороне или против них, не зная ничего, кроме опасности, угрожавшей Англии, и их долга спасти ее. Только когда Гравлин был потерян и отвоеван, а южный ветер вырвал добычу из наших рук, поднялись волны и шторм ударил по тому, что мы пощадил от Великой армады Филиппа, и началась ее окончательная гибель. А теперь вернемся к моей истории.

Мы гнались за ними по Северному морю, пока корабль за кораблем они не скрылись из виду в тумане дней и тьме ночей, и тогда сэр Филип и я, полагая, что сделали все, что могли сделать настоящие мужчины для безопасности Англии и ее все еще незапятнанной чести,

развернули оба наших побитых боями и штормами корабля и взяли курс на Ньюкасл.

Но как рассказать о том, что ожидало нас вместо милого теплого приема, на который мы рассчитывали? Мы высадились на берег, оседлали лошадей и с пылом истинных влюбленных поспешили в поместье Кэрю, где вместо ожидавших нас новобрачных нашли только бедную старую Марджори, ломавшую руки и рыдавшую в пустых комнатах этого заброшенного дома, которая между рыданиями рассказала, как накануне вечером испанская каравелла и пинас пришли под покровом темноты в поисках воды и провизии, разграбили поместье от крыши до подвала и снова ушли в море, забрав с собой тех, кто был для нас дороже всего на свете, дороже всей добычи, которую завоевал могучий флот короля Филиппа, и все же, увы, бесценных!

Мы вернулись в Ньюкасл, подгоняемые одной-единственной мыслью в страдающих сердцах: вырвать наших любимых из рук «донов», пока еще не поздно, или отомстить за них так, что об этом можно было бы рассказывать много дней, если бы вообще кто-нибудь останется, чтобы рассказывать.

Наши два судна, как можно догадаться, никак не годились для этого дела. Но, как я сказал себе в старой языческой манере, боги были благосклонны к нам в час нашей беды, потому что, вернувшись в Ньюкасл, мы нашли прекрасный новый корабль, только что спущенный на воду и готовый к выходу в море — замечательный фрегат водоизмещением около 800 тонн, построенный для каперства в Испанской Америке.

Деньги тогда, как и в наши дни, могли творить чудеса, и мы тратили их не скупясь. Порох и ядра, провизия и вода загружались на борт как по волшебству, пока от киля до люков «Безжалостный», как мы переименовали корабль в своем горьком гневе, не наполнился, и через два дня после высадки мы спустились по реке и снова вышли в море вслед за удирающими испанцами.

Четыре дня и четыре ночи мы держали путь на север, мчась по длинному зеленому морю, пока утром пятого дня не увидели галеас, идущий под парусами и веслами, наполовину затопленный, с рванными парусами и спутанным такелажем. Теперь нас не сдерживала осторожная тактика, и приказы адмирала не обуздывали нашу

горячую, яростную ненависть. Это были испанцы, и нам этого было достаточно.

Мы делали четыре фута хода против их одного, так что мы поставили более легкие паруса и, едва задав курс, мы уже врезались в них без единого слова предупреждения, разбив в щепки весельную скамью правого борта.

Дула наших пушек почти касались их бортов, и когда мы дали бортовой залп, он едва не перевернул галеас, несмотря на его размеры, словно на него обрушился удар урагана, а затем мы отдали команду на abordаж. Одетый в старую несравненную кольчугу, которая выдержала столько сражений, начиная с Ниневии, и с моим дорогим старым мечом, крепко зажатым в правой руке, я был первым на палубе, Филип следом за мной, а за ним сотня наших доблестных англичан.

Испанцы с ужасом уставились на нас, думая, что Эль Драке снова напал на них в каком-то новом обличье, но мы не дали им времени остановиться или удивиться, а набросились на них с пулями и сталью и с такой жестокой яростью, что измученные штормом и полуголодные эти несчастные бежали, как испуганные овцы; и не прошло и десяти минут, как я схватил капитана за горло и под угрозой расколоть череп приказал рассказать, знает ли он что-нибудь о тех, кого мы ищем.

Он поклялся всеми святыми, что не знает ничего, кроме того, что остатки Армады находятся в полудне плавания впереди, направляясь к Пентлендскому проходу^[40]. Нам пришлось этим довольствоваться, поэтому мы забрали с собой все драгоценности, порох и ядра, которые могли нам пригодиться, и оставили его тонуть или плыть, как позволят ветер и волны.

К полудню мы нашли еще один галеон в несколько лучшем состоянии, и он принял бой. Но на то, чтобы справиться с ним, нам хватило часа артиллерийской стрельбы. Нарезая круг за кругом вокруг него, мы изрешетили его залпами, пока он не спустил флаг. Мы поднялись на борт только для того, чтобы задать те же вопросы, и получили те же ответы. Так что и его мы лишили всего, что могли забрать, и бросили, как и тот, другой.

Через четыре часа после того, как мы покинули судно, мы наскочили на каравеллу и остановили ее бортовым залпом, от которого ее грот-мачта свалилась в море, унеся с собой фок и бизань-мачты. Мы поднялись на борт, опоздав всего на несколько бесценных часов,

потому что это было то самое судно, которое вместе со своим пинасом, который с тех пор затонул, высадилось у поместья и совершило то, что заставило нас выйти на дорогу спасения или отмщения. Этим самым утром две дорогие пленницы были переданы на «Сан-Мигель», огромную каракку^[41], которую, как сказал капитан, стоя на дрожащих коленях, мы узнаем по фигуре святого с пылающим мечом на фоке^[42].

Я раскрыл ему череп в уплату за его преступление, и когда мы снова взошли на борт «Безжалостного», мы послали в каравеллу несколько бортовых залпов, пока ее борта не разверзлись, и она не затонула, а затем снова подняли паруса. Северная Шотландия была за нашим баком, а впереди между нами и водянистым заходящим солнцем широко разбросанные по бушующему морю виднелись далекие корпуса остатков Армады, среди которых мы должны были отыскать то судно, если оно было еще на плаву, которое везло самый драгоценный для нас груз, который корабль когда-либо перевозил по коварному морю.

Глава 29. Поход «Безжалостного»

Всю ночь мы держали в поле зрения их сигнальные огни, с тревогой следя за тем, чтобы какой-нибудь из них не исчез во тьме и не оказался тем самым судном, который везло в себе одновременно и наши надежды, и наши страхи.

Мы насчитали девяносто шесть кораблей до того, как над серым, пенистым морем забрезжил холодный рассвет. Великая «Непобедимая армада», насчитывавшая сто сорок отличных водонепроницаемых мощных судов, вошла в пасть смерти между берегами Ла-Манша, славная своей гордостью и силой, соблазненная самыми яркими надеждами, которые когда-либо были сведены на нет. Теперь изрешеченные выстрелами и протекающие, пораженные смертельной морской болезнью, побитые ветром и волнами, с безжалостным небом сверху, глубоким коварным морем снизу, враждебными берегами, усеянными ребристым адамантиновым гранитом с подветренной стороны, жалкие остатки Армады, отчаявшиеся и почти беззащитные, шатаясь, продвигались к убежищу, которое лежало так далеко, мимо стольких опасностей. А следом шел наш «Безжалостный», полный ненависти и беспощадный, как сама судьба.

Когда наступило утро, мы подняли паруса, которые на ночь сложили, чтобы не обогнать их, и ринулись искать «Сан-Мигель». Когда они увидели, что мы мчимся хорошо оснащенные, с белыми и хорошо пригнанными парусами, как будто мы только что вышли из гавани, их сигнальные пушки загремели, и они начали сбиваться в кучу, как испуганное стадо овец, услышав волчий вой на склоне холма.

Весь этот день мы рыскали взад-вперед, тщетно разыскивая расписной фок «Сан-Мигеля» и ожидая ночи, чтобы настал час нашей мести.

При таком скоплении испанцев, да еще при таком жалком состоянии их парусов и оснастки, они были вынуждены всю ночь жечь сигнальные огни, опасаясь утопить или повредить друг друга, и в этом и в нашей скорости заключалось наше большое преимущество.

Мы шли без огней, а ночь была чернильно-черной из-за низких туч, проливающих шквалами дождя, поэтому, хотя их позиции были

нам ясны, они не имели понятия, где мы находимся, и узнавали это, только когда видели вспышки и слышали грохот наших орудий. Всю ночь мы висели у них в тылу и со стороны моря, стреляя по их огням, то подходя вплотную к какой-нибудь громадине и посылая в нее залп бортовой батареи с мушкетного расстояния, то стреляя спереди, то отходя назад с такой быстротой маневра и с такой скоростью работы наших орудий, что они вполне могли подумать, что их атакует целая эскадра, а не один корабль.

Утро выдалось по-прежнему серым и безрадостным, и мы оказались далеко к северу от флота и, как нам казалось, одни на воде. Но когда посветлело, наш дозорный увидел в трех милях к западу открытую лодку, полную людей, которые подавали нам сигналы. Мы бросились к ним, надеясь, вопреки всякой надежде, получить какие-нибудь известия о наших пропавших, и нашли в лодке ужасно выглядевших бедняг, которые приветствовали нас по-английски. Когда мы подняли их на борт, они рассказали, что ночью галерные рабы на борту одного из галеасов адмирала Уго де Монсада взбунтовались, вырвались на свободу, захватили корабль и, убив или сбросив в море всех находившихся на нем испанцев, направили галеас на скалистый берег. Мятежники захватили лодку и поплыли на север в надежде найти нас.

К счастью для них и для нас, их предприятие увенчалось успехом — для них, потому что это дало им хороший шанс отомстить своим похитителям, а для нас, потому что среди них оказался шотландский рыбак по имени Дональд МакАйвор, который смог сообщить нам новости, подтвердившие наши самые ужасные предчувствия.

Пять дней назад «Сан-Мигель» захватил в плен Дональда и четырех его спутников и заставил их провести корабль через опасный Пентлендский пролив. Дональд сделал это, чтобы спасти свою жизнь, как поступило бы большинство людей в подобном положении, и это также объясняло, почему каракка смогла взять такой хороший курс среди предательских течений — она держалась с наветренной стороны от остальной части флота и далеко обогнала его. Но через три дня Дональд обнаружил, что на борту держат в плену двух английских дам, и тогда он заявил капитану, как настоящий мужчина, каким он и был, что скорее его разрубят на куски на палубе, чем он проведет «Сан-Мигель» хотя бы еще милю с таким грузом на борту, и «дон», тщетно

испробовавший подкуп и угрозы, наконец, заковал его в кандалы и отправил вместе с товарищами на борт галеаса, пообещав, что они закончат жизнь галерными рабами.

Но Дональд рассказал еще кое-что — о женских криках, которые слышал из каюты под кормой, где он стоял у руля, и о гнусных жестях, которые видел, проходя между офицерами корабля.

Нет более горьких и печальных вестей, которые могли бы принести уста смертных. Они мгновенно погасили наше жгучее нетерпение и горячий гнев, который до сих пор владел нами. На смену им пришла холодная, безжалостная ярость отчаяния, гнев, способный оживить сердца бесов, а не людей, ведь теперь мы слишком ясно видели, что наши бедные любимые потеряны для нас навсегда. Надежда на спасение исчезла, осталась только глубокая и неутолимая жажда мести. Я смотрел в глаза Филипу, а он смотрел в мои, пока Дональд вел свой рассказ. В наших глазах стояли слезы, а в глазах сильных мужчин слезы означают агонию, слишком глубокую для слов. Мы с Филипом молча сцепили руки, и в этом молчании каждый поклялся в душе, что все, что осталось от великой Армады, должно заплатить цену за то, что было больше, чем кровная вина.

Мы вышли на корму, вызвали команду и просто и откровенно рассказали все, что узнали. В ответ не раздалось ни возгласа, ни крика, но руки и зубы были стиснуты, а двести честных англичан испытали одно на всех глубокое безмолвное чувство ярости и горя, потому что тогда, как и сейчас, самым священным на свете в глазах англичан была честь английской женщины.

Они посмотрели друг на друга из-под нахмуренных бровей, а потом старый мастер-артиллерист вышел из строя, дотронулся до фуражки и сказал:

— Благородные господа, мы ждем ваших приказаний. После того, что вы нам сообщили, мы больше не хотим грабить. Топить, жечь и уничтожать — вот слова для нас, если вы только дадите команду. Так ведь, парни?

Низкий глубокий рык пробежал по рядам в ответ, звук, который заставил бы трепетать сердце любого испанца, а я, вытащив меч из ножен, поднял перед ними крестовую рукоять, поцеловал ее и сказал:

— Тогда топите, жгите и уничтожайте до тех пор, пока плывет испанец или держатся вместе доски нашего доброго корабля! Мы

назвали его «Безжалостным», и, клянусь Господом воинств, справедливость которого позволит нам мстить, мы будем безжалостны к врагу, невзирая на вес, ранг или возраст, пока их страшная вина не будет смыта кровью!

Наконец, они закричали так яростно и дико, что я понял, что каждый из них будет сражаться до последнего вздоха, делая то, на что мы теперь решились.

Мы приступили к приготовлениям. Молча и аккуратно, движимый одной глубокой и отчаянной целью, каждый занимался своим делом, как будто все исполнение решения зависело только от него. Орудия были почищены, магазины отремонтированы, стрелковое оружие осмотрено и все приведено в порядок для долгого ожесточенного боя, который один корабль должен был вести против почти сотни. А затем мы приступили к работе без спешки и бесполезной суеты, и все долгое многодневное путешествие от мыса Гнева (никогда это название не было более точным) к далеким берегам Испании небеса помогли нам, как будто они слышали нашу клятву и нашли ее праведной.

Едва Армада миновала северо-западную оконечность Шотландии, как ветер развернулся и с северо-запада налетел ураган, и в его зубах длинные беспорядочные ряды испытывающих сильную качку судов, шатаясь, уходили туда, где их ждали гранитные берега Гебридских островов. Поставив легкие паруса, открыв брам-стенги, на зарифленных нижних парусах мы подходили к ним с наветренной стороны, держась на расстоянии выстрела наших длинных бронзовых пушек, и всякий раз, когда показывалась хорошая цель, посылали мстительное железо в корпус, или в мачты, или в фальшборт.

Тщетно пытались они отвечать. Наполовину затопленные, разбитые штормами, переполненные больными, они делали все, что могли, чтобы удержаться на плаву, в то время как мы, на новом крепком судне, со здоровым, бодрым экипажем, объединенные одной мрачной целью, били их всем, чем могли, так же неумолимо, как волны били по их деревянным бортам.

Итак, мы обогнули остров Льюис, и они оказались между нами и голодными гранитными скалами с подветренной стороны. Мы калечили корабль за кораблем и смотрели, как отстреленная мачта или бушприт, и такелаж падали на палубу спутанными обломками, а ветер гнал беспомощный корабль к гибели.

Мы насчитали десять больших кораблей, бьющихся в голодном прибое, прежде чем миновали Гебриды. Еще шестерых мы потеряли из виду одного за другим, когда наступила ночь, и больше никогда их не увидели, когда наступило утро. Мы все еще гнали их на юг, пока темные туманные берега Ирландии не замаячили с подветренной стороны, и тогда мстительная работа началась снова. Время от времени мы подрезали отставшего и, расстреляв до беспомощности, брали на бордаж, забирали боеприпасы, а затем отходили и топили испанца его же порохом и ядрами.

И вот мы гнали их мимо Донегола и диких берегов Коннахта, всегда с помощью хорошего северо-западного шторма, топили, расстреливали и гнали на скалы каракки и галеоны, галеасы и каравеллы, когда правосудие небес отдавало их в наши руки, пока, наконец, не миновали острова Керри, и тогда из девяти шести кораблей, которые мы насчитали в Пентленде, всего лишь шесть десятков расправили свои изношенные и изодранные паруса под теперь уже благоприятствующим ветром и помчались на юг, к берегам Испании.

Здесь мы оставили их на некоторое время, потому что, хотя у нас все еще было много пороха и ядер, которые мы отняли у них, вода и провизия были на исходе, и болезнь, наконец, начала проявлять себя и у нас^[43]. Поэтому мы зашли на острова Силли, и там загрузились водой и продовольствием и высадили на берег самых тяжелых больных, хотя нам пришлось потрудиться, чтобы убедить храбрых парней сойти с корабля. Мы оставили их с таким вознаграждением, которое сделало их богатыми на всю оставшуюся жизнь. Затем мы снова вышли в море под всеми парусами и помчались на юго-запад, чтобы перехватить удирающих «донов».

Через ночь и день мы поравнялись с ними, все еще с трудом продвигавшимися вперед, но теперь, когда море стало спокойнее, а ветер слабее, они снова образовали нечто вроде строя. Мы напали на их тыл и снова воспользовались преимуществом наветренной стороны, и нашим гневным сердцам было приятно наблюдать, как сигналы полетели от мачты к мачте, когда они увидели нас и сомкнулись, чтобы защититься от единственного врага. Но теперь мы должны были быть более осторожными, потому что наш друг шторм покинул нас, после того как оказал нам хорошую услугу, и все же наша цель была так же

твердо определена, как и прежде — не позволить вернуться домой ни единому кораблю, который мы могли бы потопить или повредить.

Поэтому мы держались их наветренной стороны, лавируя, изматывая и уворачиваясь, делая то один-два выстрела с дальней дистанции, то удачный бортовой залп, и так, миля за милей и день за днем, мы безжалостно преследовали их, но ни разу за все наше долгое напряженное плавание не увидели «Сан-Мигель» и его расписной фок.

Наконец, 53 разбитых штормами, изувеченных корабля, на борту которых находилось около 10 тысяч человек, «пораженных чумой и смертью», как пишут испанские летописцы, жалкие остатки того могучего флота и армии, которые вошли в Ла-Манш, насчитывая 150 кораблей и 30 тысяч солдат и матросов, собрались в Кадисском заливе вместе с «Безжалостным», как всегда, беспощадным и жаждущим боя, рыскающим туда-сюда, все еще голодным от неудовлетворенной мести.

И вдруг, пока мы спорили, оставить ли их там и довольствоваться тем опустошением, которое произвели, или поступить так, как вскоре поступил сэр Ричард Гренвилл, покрыв себя бессмертной славой, и влезть в самый центр и сразиться со всей полусотней, наш дозорный заметил большую каракку, подходящую к нам на всех парусах с северо-запада. Мы развернулись, ринулись ей навстречу и, сблизившись, увидели во всем великолепии белого, алого и золотого огромную фигуру св. Михаила с пылающим мечом, сияющую на ее фокке. Наконец, это был «Сан-Мигель», и легко было заметить, что он, как мы и предполагали, обогнал остальную Армаду, добрался до Сент-Винсента или Лагоса и там заправился.

Не было нужды спрашивать наших храбрых морских псов, бежать нам или драться, потому что, как только имя «Сан-Мигель» прошелестело по нашему кораблю, каждый без приказа занял свое место и ждал команды. Об остальной Армаде мы не думали, пока мчались навстречу нашему долгожданному врагу, и ни один корабль из Армады не вышел перехватить нас. Впрочем, бояться было нечего, так как это были уже не боевые корабли, а лишь плавучие чумные логова и развалины, и единственной мыслью «донов» было отбуксироваться в гавань Кадиса и снова ступить на приветливую землю.

Более того, ветер дул прямо в гавань свежим бризом, и ни один из них не смог бы пройти и мили против ветра за все богатства Индии.

Поэтому мы без помех держали путь к «Сан-Мигелю», и на расстоянии пушечного выстрела Филип по своему обыкновению взялся за штурвал, потому что был самым искусным рулевым на борту, а я передал канонирам, чтобы целились повыше, и приказал стрелять по мачтам и вантам. Сначала медными глотками громыхнули пушки двадцать четвертого калибра, ядра пробили высокий фальшборт, разбрасывая щепки во все стороны, а затем каракка взорвалась дымом и пламенем, дав ответный бортовой залп, и над нашими головами со свистом пронеслась туча ядер.

Прежде чем они успели перезарядить орудия, наши реи развернулись, мы обошли их кругом, и снова обрушили на каракку наш железный град. Еще один залп с ревом вырвался из ее высоких бортов, но мы снова развернулись как раз вовремя, чтобы избежать его, и залп вспенил воду за кормой, не причинив нам никакого вреда. Затем я приказал артиллеристам нацелить все орудия на среднюю часть судна, и Филип остановил «Безжалостного» с дрожащими на ветру парусами, чтобы они могли тщательнее прицелиться. Я подождал, пока старшина-канонир не крикнет: «Готово!», затем дал команду, и когда, словно единое орудие, батарея прогремела, мы затаили дыхание и увидели огромную рваную дыру, пробитую в борту каракки. Вопли боли и крики ярости диким хором разнеслись над водой. Громадная грот-мачта стала раскачиваться из стороны в сторону и рухнула в море со всем облаком парусины и лабиринтом такелажа, а вслед за ней на палубу рухнули носовая и бизань мачты, и гордый «Сан-Мигель» лежал перед нами разбитый.

Снова взревели батареи, и на нас обрушился ураган ядер — на этот раз слишком меткий, потому что наша фок-мачта упала на бак, а бушприт волочился по воде на леерах. В следующее мгновение мы услышали радостный вопль испанцев и увидели, что шесть катеров вышли из гавани и, быстро размахивая веслами, направились к нам по гладкой воде.

Прежде чем испанцы успели перезарядить пушки, наша носовая команда выскочила и абордажными топорами срезала обломки. «Безжалостный» выровнялся, и его задние паруса с полным ветром за кормой вынесли его перед «Сан-Мигелем». Наша фок-мачта все еще стояла, и когда ее освободили от обломков топ-мачты, она вскоре снова

была в рабочем состоянии, и фрегат, хотя и поврежденный, был в некоторой степени управляем.

Мы обогнули нос каракки и отошли на ее правый борт, над которым все еще висела огромная масса обломков, заслоняя орудия батареи правого борта. «Доны» делали все, чтобы расчистить его, но вскоре мы добавили им работы, потому что двойным залпом с расстояния меньше мушкетного выстрела мы обрушили такой яростный град железа и свинца на загроможденный борт каракки, который едва мог ответить нам одной пушкой из-под парусов и снастей, нависавших над жерлом, что мы смели всех, кто показался из укрытия.

Это мы проделали нашими более легкими орудиями и стрелковым оружием, так как большие орудия на нижнем ярусе выполняли другую, более смертоносную работу. Нацеленные на одну точку у ватерлинии, двенадцать хорошо обслуживаемых орудий обрушивали залп за залпом, каждый выстрел которых попадал точно в пространство размером примерно два ярда вдоль ватерлинии. Мы видели, как раскалываются и зияют доски, и с каждым залпом огромная рваная рана становилась все шире и глубже, куда вода заливалась все быстрее и быстрее, и как раз, когда первый из катеров показался за его кормой, огромный «Сан-Мигель» сильно качнулся и, пошатываясь, направился в нашу сторону.

Я крикнул артиллеристам, чтобы они снова зарядили, но не стреляли. Когда он подошел, его палубы кишели ползущими, борющимися людьми. Я дал команду, и последняя испепеляющая буря выстрелов, больших и малых, пронеслась по каракке от носа до кормы, разрывая палубы и разбрасывая вокруг мертвых и умирающих, а затем Филип опустил руль, мы развернули реи и медленно отошли, направив наш свежий залп на первый катер.

Мы подождали, пока он окажется на расстоянии pistolетного выстрела, а потом дали залп, и от носа до кормы по нему пронесся дробовой шторм. Он остановился, пораженный смертью, и лежал на воде, как огромный раненый паук, когда мы отвернули, чтобы приготовиться к остальным. Но они извлекли пользу из урока и прошли по другую сторону тонущего «Сан-Мигеля», и пошли за нами, стреляя из носовых орудий.

Мы снова развернули «Безжалостного», и снова прогремели бортовые залпы, и наши доблестные морские разбойники расхохотались, увидев, как из испанских бортов вылетают расколотые весла, а в переполненных палубах открываются красные дыры. Затем над водой раздался еще один, особенный крик, и огромный «Сан-Мигель» в последней конвульсии огромного агонизирующего зверя перевернулся набок и пошел ко дну вместе со всеми живыми душами, оставшимися на борту.

Если бы катера были наши единственные враги, мы бы скоро покончили с ними, как покончили с караккой. Но едва «Сан-Мигель» исчез в водовороте, пронесшемся над его могилой, как мы увидели, что еще четыре катера с фрегатом на буксире выходят из гавани навстречу нам. Конец был уже близок, как любой мог видеть, потому что порох и ядра были у нас на исходе, и скоро дело дойдет до ближнего боя и холодного оружия. Ветер дул прямо в бухту, и, получив тяжелые повреждения, мы с равным успехом могли попытаться плыть по суше, как и выйти в море.

Поэтому полторы сотни закопченных, забрызганных кровью, потных людей с заряженными ружьями, последними запасами пороха и ядер, выложенными на палубе, молча ждали, когда смогут использовать их с наилучшим эффектом.

Испанцы приближались осторожно, как гончие, преследующие оленя. Четыре раза они пытались взять нас наскоком, и четыре раза мы отбрасывали их назад такой бурей свинца и железа, на которую у них не хватало духу, и будь наши магазины полны, то все корабли в Кадисе не смогли бы взять нас. Но вскоре с залпов мы перешли на одиночные выстрелы, и наконец, добрые пушки, которые так хорошо служили нам, умолкли, и с пронзительными радостными криками «доны» снова бросились на нас, теперь, увы, слишком хорошо уверенные в победе.

Они зацепили нас за нос, корму и борта, и, когда они устремились на наш фальшборт, наши доблестные товарищи встретили их пиками и пистолетами, абордажными топорами и шпагами, и как только они приблизились, мы сбили их с ног и сбросили обратно в море, и так в течение трех долгих часов яростного жестокого боя мы сдерживали их все увеличивающиеся рои нашим постоянно уменьшающимся числом, пока они не устали на нас в изумлении, гадая, люди мы или демоны, как Эль Драке.

Если бы у нас было достаточно пороха, я разнес бы «Безжалостного» в щепки, прежде чем они успели бы захватить хотя бы пядь, но так как пороха не было, нам ничего не оставалось, как продолжать сражаться и показать им, как умирают англичане. Мы с Филипом, думая только о наших потерянных возлюбленных и о нашей все еще ненасытной мести, сражались бок о бок так, как никогда прежде не сражался даже я. Никогда добрая острая сталь Армена не летала быстрее и не впивалась глубже, и никогда моя кольчуга не принимала и не отбивала столько ударов.

Один за другим наши доблестные морские псы падали там, где стояли, сражаясь до последнего вздоха жизни, которая была в них, и все ближе и ближе окружало нас кольцо свирепых, яростных лиц, пока, наконец, из всей команды «Безжалостного» не остались только мы двое. Тогда из круга вышел высокий «дон» в полном вооружении, с рапирой в одной руке и пистолетом в другой и сказал на хорошем английском:

— Сдавайтесь, сеньоры, ради любви к богу и собственной жизни. Вы сделали все, что могли сделать люди, но судьба против вас. Сдавайтесь, и ваша честь не пострадает, потому что мы не хотим убивать таких врагов, как вы, просто за счет численного превосходства.

— Отойди подальше, добрый господин, — рассмеялся я, вытирая пот со лба тыльной стороной левой руки, — пока ты не поцарапал свой блестящий нагрудник, или, если предпочитаешь, прикажи твоим товарищам отойти на шаг и сразись со мной. Но не говори ничего о сдаче, ведь мы пришли сюда только ради мести или смерти, как решит судьба. Мы действительно отомстили, как вам может рассказать Сидония, и теперь, если понадобится, мы готовы к смерти. Что скажешь, Филип?

— Как скажешь, Валдар, — ответил он с таким веселым смехом, что «дон» вытаращил глаза. — Что касается меня, то я не мог бы умереть в лучшей компании, чем твоя.

Пока он говорил, испанец поднял шпагу, и на нас нацелились двадцатка мушкетов. Как вспышка молнии, мой клинок выскочил и ударил его в пасть. Я пробил его плоть, кости и сталь, так что острие вышло у него за шеей, и швырнул его назад на мушкетные дула. Прогремел залп, я услышал за спиной стон и, обернувшись на

мгновение, увидел, как Филип падает на палубу, истекая кровью от множества ран.

Тогда я вырвал свой меч и, все еще каким-то чудом невредимый, бросился на испанцев и принялся рубить и резать их, пока сокрушительный удар не обрушился сзади на мою неприкрытую голову, и, вонзив меч по самую рукоять в грудь последнего убитого мною «дона», я, ничего не видя, теряя сознание, споткнулся о его тело, и на меня навалилось с полдюжины его товарищей — последний человек, павший на борту погибшего «Безжалостного».

Глава 30. Пламенный венец мученицы

Что же было дальше? Позвольте изложить вам это в нескольких словах, потому что даже сейчас, когда это всего лишь кошмарный сон более чем двухсотлетней давности, мое сердце замирает, а кровь застывает от ужаса, и даже сейчас я едва могу заставить неохотное перо выводить слова, которые рассказывают о тех событиях.

Очнулся я лежащим на покрытом соломой каменном полу в камере Святой инквизиции. Открыв глаза, я увидел рядом с собой закрытого капюшоном фамильяра^[44] (о таких упоминал Филип в своих рассказах о темных и ужасных деяниях, совершенных в Англии во времена правления Марии, и от которых мы спасли ее в той последней славной битве у Гравлина). Все, что я мог разглядеть — это темно-серый плащ и черный остроконечный капюшон, который полностью закрывал голову и лицо, словно маска из ткани с двумя отверстиями вместо глаз и зияющей щелью вместо рта.

Должно быть, мне снились морские сражения, Александрия и Ациум, а может быть, я снова очутился в старом Риме императора Августа, потому что, когда ко мне вернулись чувства и я сел, уставившись на неуклюжую фигуру, я произнес на древнем латинском языке:

— О боги, где я, и кто ты? Человек или демон, кто? Сними эту маску с лица и дай увидеть тебя, или, клянусь славой Бэла, я сорву ее и сверну тебе шею.

Он отшатнулся от моей лежанки и прижался к стене камеры, снова и снова крестя воздух перед собой, а его глаза испуганно глядели на меня через прорези в капюшоне.

— Что беспокоит тебя, человек, если ты действительно человек? — спросил я, усаживаясь на лежанке и глядя на него все еще заторможено и растерянно. — Убери эту штуку с лица и скажи мне, кто ты и почему я здесь.

Но он по-прежнему стоял, крестясь и бормоча под капюшоном непонятные слова.

— Тогда, клянусь глазами Иштар, если не хочешь сам, я сделаю это за тебя, — воскликнул я, на этот раз на древнем ассирийском

языке, поднимаясь на нетвердые ноги и направляясь к нему.

Он повернулся к двери, собираясь открыть ее и убежать, но я уже стоял перед ним и, схватив его за плечо одной рукой и оттолкнув от двери, другой сорвал с его головы капюшон, — и вот, как будто мы снова стояли вместе на берегу в Иварсхейме, это был Ансельм Линдисфарнский, точь-в-точь такой же, каким я запомнил его после расставания более трех с половиной столетий назад.

Я протянул ему руку, как старому другу, которого был очень рад встретить:

— Здравствуй, Ансельм, товарищ-странник со мной сквозь века! Что ты делал с тех пор, как принес крест в Иварсхейм, и мы вместе отправились на священную войну в Сирию, когда Ричард Львиное сердце сражался с Саладином?

— Святые, помилуйте меня и сжальтесь над тобой! — воскликнул он, испуганно отпрянув от моего странного приветствия. — Ты все еще бредишь из-за раны, сын мой, раз несешь эту дикую чепуху. Верно, я видел такое лицо и фигуру и слышал голос, как у тебя, в снах, которые часто смущали меня, но никогда прежде я не видел тебя во плоти, а тот великий крестоносец, о котором ты говоришь, мертв вот уже более 360 лет. Ложись и поспи еще, пока к тебе не вернуться нормальные чувства, потому что тебе они скоро понадобятся, ведь моя задача — подготовить тебя к допросу перед трибуналом Святой канцелярии.

Тогда-то я и понял, где я — узник в руках испанской инквизиции, обреченный на пытки или смерть, а может быть, и на то и другое самым гнусным и безжалостным судом, который когда-либо отрицал человеческую справедливость или насмехался над милосердием божьим. Дрожь ужаса, которая была ближе всего к страху перед чем-либо, что я когда-либо испытывал, пробежала холодом по моим жилам, когда он говорил, и, проведя рукой по глазам, чтобы проверить, действительно ли я проснулся или все еще вижу какой-то дурной сон, рожденный ранами и долгой борьбой, я сказал ему:

— Неужели боги привели меня сюда после всех моих странствий, и ты, Ансельм, мой старый друг, теперь служишь этой мерзкой тирании, которая издевается над кротостью Белого Христа, совершая бесчисленные преступления во имя его? Позор тебе, некогда доброму слуге твоего господина! Лучше бы ты умер, но нет, что за глупости я

несу? Ты умирал и снова жил, как я, но ты, по-видимому, все забыл, а я помню.

— Молчи, молчи! — воскликнул он, прерывая мою речь и снова принимаясь креститься. — Сумасшедший ты или нормальный, но ты богохульствуешь. Ты уже наговорил достаточно, чтобы отправить тебя на костер, даже если бы тебя не заподозрили в том, что ты знакомый демон того навеки проклятого английского морского дьявола Эль Драке.

— Друг мой, — сказал я, подойдя к нему и положив тяжелую руку ему на плечо, когда он прижался спиной к стене, крестясь и бормоча свои папские заклинания, — у тебя лицо и голос того, кто, перед тем как я умер последней смертью, был мне очень дорог, иначе я свернул бы тебе шею, прежде чем ты смог бы позвать на помощь, и тогда пусть твоя адская Святая канцелярия делает самое худшее, так как я подозреваю, что ты здесь только для того, чтобы шпионить за мной и предать меня, как это принято у таких паразитов, каких инквизиция использует для своей гнусной работы. И все же, раз уж ты отпал от своего прежнего состояния, я пощажу тебя и прощу тебе все, что ты можешь сделать против меня, если ты расскажешь что-нибудь о двух английских дворянках, которые были привезены в Испанию пленницами «Сан-Мигеля», за что, слава богу, мы отомстили должным образом.

Он опустил глаза, как будто от стыда, и что-то бормотал себе в бороду, когда словно в ответ на мой вопрос дверь распахнулась и в камеру вошли еще четыре человека в капюшонах, а за ними еще двое, которые волочили такое жалкое, изувеченное подобие женщины, что даже мои глаза, полные любви и ненависти, не сразу распознали в ней то, что осталось от той, что когда-то была моей любимой и моей женой.

Прежде чем безумная ярость позволила мне произнести хоть слово, они отпустили ее, и она пошатнулась в мою сторону. Ее руки дрожали, а бледное, осунувшееся лицо было обращено ко мне. В одно мгновение мои руки обняли ее, ее бедное изможденное тело прижалось к моей груди, и мои голодные губы запечатлели горячие поцелуи на ее сухих, бескровных губах, которые когда-то были такими мягкими и сладкими. Затем она отстранилась и, глядя на меня пустыми воспаленными глазами, последние слезы из которых были

давно пролиты, сказала голосом, который потряс бы сердце любого, кроме этих бездушных животных, что стояли вокруг нас:

— Нет, Валдар, когда-то мой верный рыцарь и любимый муж, не целуй меня, потому что я не достойна больше твоих поцелуев. Отпусти меня, ибо я недостойна даже быть в твоих объятиях. Отпусти меня, ибо позор и мучения сделали со мной самое худшее, и я больше не женщина и не твоя жена. Я не была так благословенна, как Мэри, которая умерла на дыбе, но завтра я пройду через огонь, и после этого мы снова встретимся, как прежде, когда пламя очистит мой позор, и я снова буду достойна тебя, потому что я не отреклась ни от тебя, ни от моей веры, а остальное может быть мне прощено. Отпусти меня, дорогой Валдар, или убей снова, как ты сделал это давным-давно в песках за Ниневией.

Пораженный ее жалобными словами, я, сам не зная, что делаю, развел руки в стороны и позволил ей упасть ничком на пол. С хриплым криком нечеловеческой ярости я бросился вперед, схватил две ближайšie фигуры в капюшонах и ударил их друг об друга, так что их черепа треснули под капюшонами. Я бросил их и, подбежав к остальным, схватил троих из них, вышиб из них дух, а затем поднял, швырнул полузадушенных на каменный пол и растоптал.

Я повернулся, чтобы отомстить остальным, но камера наполнилась вооруженными людьми, которые набросились на меня и повалили, но только после того, как я сломал шею одному и изуродовал лицо другому ударом кулака. Однако их было двадцать против одного, и вот, наконец, они прижали меня к полу и связали руки за спиной.

Меня снова подняли на ноги и вытащили из камеры, где моя потерянная возлюбленная лежала среди мертвецов, которых я убил за нее, и провели по длинному коридору с каменными стенами в мрачную сводчатую комнату, где за накрытым черным столом сидели три фигуры в капюшонах. С одной стороны от них была дыба, с другой — пыточная скамья; в угольной печи уже светились раскаленные железки. Рядом лежали железный сапог, молоток, клинья и разные другие орудия мучений, которыми эти дьяволы в человеческом обличье выдавливали из своих жертв безумные слова, что отправляли их от мучений дознания к последней агонии на костре. Это были те самые инструменты, которыми они превратили мою любимую из

некогда несравненной по красоте женщины в ту несчастную калеку, которую минуту назад я держал в своих объятиях, а эти закутанные в капюшоны дьяволы были теми, кто завтра, как она сказала, отправит ее на огненную смерть аутодафе.

Меня подтащили к передней части стола, и тогда тот, чья потерянная душа обладала формой, когда-то принадлежавшей Ансельму, вышел из-за моей спины и, поклонившись распятию, висевшему на стене позади стола, сказал на церковной латыни, чтобы я понял так же хорошо, как и мои судьи:

— Обвиняемый признался, что он тот, кто недавно был знакомым демоном английского колдуна Эль Драке, и, кроме того, он рассказывал самые странные и удивительные вещи, которые, если он не больше, чем человек, несомненно доказывают, что он имел непосредственные сношения с самим адом и таким образом добился продления своей жизни далеко за пределы отведенного ему срока смертного существования...

— Заткнись, негодяй! — крикнул я. — Я знаю свою судьбу и могу встретить ее, как встречал смерть в тысяче облиций, прежде чем земля была осквернена такими дьявольскими отродьями, как вы, служители этой адской канцелярии, несправедливо называемой святой!

Я тот, кто сражался с Дрейком в Америке и при Гравлине. Я тот, кто послал огненные корабли в середину вашей Армады, некогда непобедимой, и рассеял ее под ветрами небесными. Я тот, кто преследовал ее остатки по северным морям и ради той дорогой жизни, которую вы погубили, гнал корабль за кораблем к крушению и гибели на скалах и отмелях. За ее светлую жизнь было заплачено десятью тысячами жизней испанцев, хотя, если бы я мог забрать еще десять тысяч, все же еще не было бы полной справедливости.

— Ты так же смел в речах, как, говорят, смел в бою, — произнес голос, исходивший из-под капюшона центральной фигуры за столом. Голос был такой холодный и бесстрастный, что я мог бы поклясться, что, если капюшон снять, я увидел бы под ним лицо Тигра-Владыки Ашшура. — Твое признание избавляет нас от некоторых хлопот, а тебя от некоторых страданий, ибо, если бы ты не говорил так свободно, у нас были бы под рукой средства заставить тебя говорить. Тем не менее, правосудие Святой канцелярии требует, чтобы я изложил

преступления, в которых ты обвиняешься, чтобы ты мог ответить на них, если сможешь.

Тебя обвиняют, во-первых, в том, что ты являешься знакомым демоном колдуна Эль Драке, в чем ты признался, а также в том, что причинил огромный и невыразимый вред подданным его католического величества и его имуществу. В убийстве пятерых служителей Святой канцелярии ты обвинен очевидцами твоего преступления. Твоя любовница, которую ты с использованием еретических обрядов взял себе в жены, своими поступками в твоём присутствии призналась в том, чего не могла от нее добиться дыба: что она была знакома с тобой и участвовала с тобой в том договоре, который ты заключил с силами тьмы, из которого вытекает последнее из обвинений, выдвинутых против тебя. Как долго ты живешь на свете?

Я молчал, пока он говорил, потому что уже понял, что речь ничего не даст мне перед судьями, которые уже осудили меня. Но его последний вопрос дал выход ярости и презрению, которые снова вспыхнули во мне, пока он вещал, и поэтому я все же ответил ему:

— Бедный глупец, дитя нескольких темных ночей и мимолетных дней, кто ты такой, чтобы задавать мне такие вопросы? И все же я отвечу, чтобы ты знал, насколько ты ничтожен и подл, чтобы владеть силой жизни и смерти и обречать на страдания тех, чьим рабом ты быть недостойн!

Прошли эпохи с тех пор, как я сделал первый вдох на земле. Я видел падение Вавилонской башни и слышал речь людей, смятенных ужасом, охватившим ту самую первую Ниневию, которая ныне забыта. Я стоял перед тронном Соломона и слышал слова мудрости, слетавшие с его уст. Я видел Рим во всей его славе, когда мощь великого Юлия держала трепещущий мир в его руках, и я был на Голгофе, когда тьма упала с небес и земля содрогнулась в предсмертной агонии Христа.

Я слышал последние слова, произнесенные теми устами, которые в конце земных дел спросят с вас здесь и с тех, кто дал вам вашу адскую власть, за всю кровь и слезы, которые вы пролили в своем гнусном богохульстве его святого имени и его божественной милости — его, друга бедных и нуждающихся, целителя ран и прощающего грехи! Я видел реальность того изображения, которое вы сделали идолом...

— Замолчи, богохульник! — вскричал он, вскочив на ноги. Он взял со стола распятие и высоко поднял его над головой. — По собственной воле своей беспрепятственной речью ты осквернил священный символ нашей древней веры. Этого достаточно. Отправляйся в свою келью и приготовься, если сможешь, к тому, что ждет тебя завтра. Уведите его, ибо вид его оскверняет глаза христианина.

При его последних словах те, кто держал меня, развернули и поспешно вывели меня из комнаты, прежде чем я успел ответить ему. Когда я снова вошел в свою камеру, она была пуста. Они увели мою любимую ждать той огненной судьбы, которую, как я теперь верил, мы должны были разделить вместе.

Но этому не суждено было сбыться. Когда после ночи сновидений наяву, более мучительных, чем все страдания камеры пыток, они вывели меня из тюрьмы инквизиции на большую площадь города, я увидел, что их злоба обрекла меня на худшие муки, чем эта. Они надели на меня кольчугу и повесили на бок меч, а потом повели меня со связанными за спиной руками, чтобы показать, что я полностью вооружен, но беспомощен перед врагами, которых победил.

Когда меня привели на площадь, ужасное представление аутодафе было уже подготовлено. Вокруг сомкнутыми рядами стояли стражники в три шеренги. С одной стороны располагались два трона под балдахинами. На одном из них сидел Филипп Испанский, окруженный вельможами, придворными и куртизанками, а на другом — Иоанн Торквемада, великий инквизитор святой канцелярии, с архиепископом Севильским и сопровождавшей их толпой монахов и священников.

Напротив них тянулся ряд высоких столбов, вокруг которых еще раскладывали хворост, а на небольших помостах на середине высоты столба стояли прикованные мужчины и женщины. Но из всех их я видел только одну фигуру женщины с опущенной головой, мертвенно-бледным лицом, закрытыми глазами и длинными, струящимися золотисто-рыжими волосами, прикованную к столбу прямо перед тронем Филиппа. Рядом был еще один столб, все еще ждущий свою жертву, а над всем этим опускались гневные небеса, затянутые серыми грозowymi тучами.

Низкий, глубокий рев мстительной ненависти прокатился по площади, когда стражники вывели меня и поставили между тронем

Филиппа и тронном Торквемады. Затем вышли два герольда и, призвав к тишине трубами, огласили длинный список моих преступлений против святой церкви и католического величества Испании, над чем я громко рассмеялся в горьком гневе и яростном отчаянии. Тогда Филипп поднял руку, меня повернули лицом к ряду столбов, и люди с факелами начали с обоих концов поджигать хворост.

Я слышал, как трещат сухие дрова, и видел, как дым и прыгающие языки пламени взлетают ввысь, и крик за криком агонии пронзительно разносится в сонно замершем воздухе. Наконец, факелы были воткнуты в хворост вокруг столба, к которому было приковано все, что было мне дорого на свете.

По обе стороны от нее мужчины и женщины корчились и кричали в последней агонии огненных мук, но на нее пламя напрасно дышало мучительным дыханием. Она была мертва — милосердие небес уже унесло ее душу за пределы досягаемости людской бесчеловечности.

В этот момент чары, удерживавшие меня, рассеялись. Я помолился всем богам, которых знал на земле, чтобы они дали мне силы отомстить, и тогда, как будто это были нити, я разорвал веревки, связывавшие мои руки, и устроил Филиппу и его людям другое представление, не то, для которого они привели меня. Мой добрый меч сверкнул из ножен, боевой клич Армена гневно сорвался с моих уст, я обрушил град яростных ударов вокруг себя, мои стражники разбежались с криками ужаса, и в следующее мгновение я вскочил на возвышение, где рядом с Торквемадой сидел архиепископ в великолепных одеждах.

Еще несколько быстрых взмахов меча очистили площадку от воющих монахов вокруг архиепископского трона. Торквемада неподвижно сидел на троне, глядя на меня теми же глубокими черными глазами, которые много веков назад я видел сверкающими из-под короны Тигра-Владыки.

— Я скоро приду за тобой, Тиглат, — крикнул я ему, — но этот первый покажет твою судьбу. Он лучшая пища для огня, чем ты.

Я зажал меч зубами и, схватив епископа за талию, перекинул его, вопящего от ужаса, через плечо, спрыгнул с помоста и побежал с ним к огромному костру, который ревел вокруг столба с моей любимой.

Со всех концов площади на меня бежали вооруженные люди, но я крепко держал епископа левой рукой, а мечом в правой рубил всех, кто

попадался под руку, пока не добрался до костра. Тогда я швырнул облаченного в шелка священника в гущу пляшущего пламени, а потом развернулся с мечом в руке, огнем сзади и тысячами врагов впереди, чтобы как можно дороже продать жизнь, которая мне теперь больше была не нужна.

Но прежде чем они добрались до меня или я успел нанести удар, чернильное небо расколосось с запада на восток огромной зазубренной полосой пламени, и, подобно самой трубе бога, возвещающей о роковом часе, грянул гром. Молния снова сверкнула в черной тьме, опустившейся на полдень, гора, на которой стоял Кадис, содрогнулась, как земля под Ниневией, когда пала башня Бэла, и вспышка за вспышкой, раскат за раскатом, струились молнии и гром перекатывался по дрожащему небу, и сквозь разорванную тьму бежали туда-сюда ослепшие и охваченные ужасом толпы, взывающие к своим святым в мучительном страхе.

Вокруг меня все еще злое сквозь мрак пылали костры мучеников, и дым человеческих жертв медленно поднимался к разгневанным небесам. И они, и я были забыты во всеобщем ужасе до тех пор, пока я не бросил последний взгляд на почерневшее нечто, висевшее на столбе, и жажда мести снова не проснулась во мне, и я побежал, выкрикивая языческие боевые кличи и размахивая мстительным клинком в толпе, которая с криками разбежалась.

Я бежал сквозь сумерки и ливень шторма с площади в сторону гавани, думая о том, какой прекрасный пожар получился бы из остатков Армады, если бы я мог попасть на борт одного из кораблей. Но когда я добрался до кромки воды, небеса сами сделали свое дело — вспышка молнии ударила в грот-мачту огромного галеона, поток огня пробежал вниз по раскаляющейся палубе, затем раздался рев и грохот, который затмил сам гром, и пылающие обломки разлетелись далеко в разные стороны.

У моих ног лежал двухвесельный ялик. Я вскочил в лодку, оттолкнулся и поплыл из гавани, повинувшись инстинкту, который влек меня в открытое море. Сквозь ужас шторма и пылающие корабли я беспрепятственно прошел среди освещенного огнем мрака, пока не уткнулся в корму «Безжалостного», стоявшего на якорях у внешнего форта. Взмахом меча я перерубил кормовой трос, а затем подтянулся к носу. Вторым ударом я освободил корабль, и когда он начал

дрейфовать под ураганом, который несся с суши, я ухватился за грот-цепи и вскарабкался на борт.

На палубе стоял десяток испанцев, они смотрели на шторм, крестясь и молясь. В одно мгновение я очутился среди них, размахивая мечом, но недолго, потому что едва они увидели меня, как, взыв от ужаса, перелезли через фальшборт и бросились навстречу судьбе в бурлящее море. Итак, я отвоевал «Безжалостного» и вместе с бурей, которая принесла мне избавление, унесся навстречу красному сиянию заката над бушующим западным морем, снова один в этом мире, с ужасом прошлой судьбы позади и смутным обещанием дней, которые, возможно, будут еще впереди.

День и ночь бушевала эта яростная буря, и под низкими, стремительно несущимися облаками по бурлящему морю бедный «Безжалостный», изуродованный и наполовину разбитый во время его последней храброй битвы, мчался все дальше на запад. Наконец, из серой бурлящей воды впереди показались две остроконечные черные скалы. Вскоре я увидел, как снежные волны пены кувыркаются у их подножий. Между ними зияла темная пещера, в которую несся увенчанный пеной, грохочущий поток океана. Прямо перед качающимся «Безжалостным» зияла глубокая черная пропасть, и прямо к ней я вел корабль, подгоняемый ветром и волнами.

Скалы-близнецы, казалось, мчались на меня по воде, а пропасть зияла, как огромная голодная черная пасть, готовая поглотить меня и мой бедный полузатопленный корабль. Под кормой поднялась живая гора бледно-зеленой, покрытой пеной воды. Она качнулась у меня под ногами, а затем, словно наделенная собственной жизнью и движением, нырнула между блестящими черными каменными стенами. Рев грохочущей воды ударил меня по ушам; дикие голоса, казалось, смеялись и кричали из эха пещеры, а затем с грохотом и скрежетом мой добрый корабль содрогнулся со стоном и встал, намертво застряв между скал. Замерзший, промокший, едва живой я поднялся с палубы, на которую меня швырнуло ударом, и заполз в каюту. Скорее по долгой привычке, чем по необходимости, я протер кольчугу и меч, упал на грудь парусов, на которых мы укладывали наших раненых во время боя, и не заботясь в крайней усталости, удержатся ли вместе доски «Безжалостного», когда я снова проснусь, я закрыл глаза.

Убаюканный громовой песней бури, я спал, а вокруг меня завывали и свистели ветры, и волны шипели и ревели, за днем пришла ночь, штиль сменил бурю, и стремительный поток лет мчался незаметно к тому дню, когда перст судьбы коснется моих давно закрытых глаз и снова пробудит меня к действию.

Глава 31. И снова жизнь и снова любовь

Я проснулся от гулко-го шума, похожего на отдаленный грохот пушек. Сначала я решил, что это волны бьют в устье пещеры. Но когда с пробуждением жизни возвращающиеся чувства обострились, я услышал мягкий плеск мирных волн, журчащих вдоль ближних скал, и сквозь этот плеск снова и снова раздавался грохот орудий далеко в море. Где-то шел бой, и звук его, как звук трубы, воспламенил медленно текущую кровь и заставил ее бежать все быстрее и жарче по моим покалывающим сосудам.

Глаза снова открылись миру реальных вещей. Я вскочил на ноги и огляделся. Груда парусов, на которой я лежал, превратилась в несколько истлевших пыльных тряпок. Занавески на окнах и дверях каюты висели выцветшими пыльными лохмотьями, деревянная обшивка рассохлась, сгнила и была изъедена червями, а мои кольчуга и меч лежали на столе, покрытые толстым слоем пыли бесчисленных лет.

В кормовой части корабля скопились груды камней и мусора, а дальше перед входом в пещеру тянулась высокая неровная стена, сложенная из каменных глыб, которые нападали с крыши пещеры за долгие годы и таким образом, как я понял, выстроили тот заслон, который закрывал пещеру и меня от взглядов тех, кто проплывал мимо на лодках или кораблях, если, конечно, кто-нибудь проплывал этим путем.

За этой каменной стеной с высокой кормы корабля я увидел спокойное, синее, залитое солнцем море и плывущие по нему голубые гаснущие клубы дыма — без сомнения, дым канонады, чей грохот пробудил меня от смертного сна. В мире все еще шла война. Поэтому я вооружился и прыгнул с борта «Безжалостного», привлеченный голосом войны, словно песней сирен, которые согласно старым басням, считавшимся правдой в мои прежние дни, влекли заблудших моряков к их гибели. Пробравшись по мелководью, окружавшему заросший водорослями, усеянный ракушками корпус корабля, я перелез через каменную стену у входа в пещеру и по узкому скальному выступу, который вел вокруг утеса, выбрался на песчаный берег.

Спустя много лет я снова взглянул на море и берег, и небо, и солнце, и глубоко, радостно вдохнул теплый чистый воздух небес.

Я взобрался на груды камней и осмотрел море. В отдалении стояли два корабля странной конструкции, какой я никогда раньше не видел, не такие, как в елизаветинские времена. У них не было высокой кормы и бака, и выглядели они, как мне показалось, гораздо проще и практичнее. С палубы поднимались клубы дыма, и над водой раздавались слабые крики.

— Один из этих кораблей берет другой на абордаж, — произнес я вслух, и звук моего голоса, эхом разносящегося по пустынному берегу, показался очень странным. — Я отдал бы несколько золотых дукатов, которые должны быть там, в трюме «Безжалостного», за место на борту любого из них, потому что мне нужна хорошая жаркая схватка, чтобы согреть мое окоченевшее тело. Ха, кто они, те, что плывут сюда? Беглецы и, кажется, проигравшие? Интересно, какой они нации? Ах, если бы только это были испанцы!

Последние слова вырвались у меня при виде шлюпки, которая отплыла, переполненная людьми, от борта большего судна, стоявшего ближе к берегу.

Они вошли прямо в бухту, и, когда шлюпка коснулась берега, я побежал взглянуть на них. Несомненно, моя молитва была исполнена, я уже видел что-то вроде этих черных бород, острых глаз и смуглой кожи. Как только киль коснулся берега, из лодки выскочил человек с веревкой в руке и остановился, ошеломленно глядя на странную фигуру, шагавшую к нему из-за скал.

Он осенил себя крестным знаменем и выдохнул несколько отрывистых слов, в которых я сразу же узнал тот ненавистный испанский язык, который в последний раз слышал в тот самый ужасный день всех моих жизней.

Это были последние слова, которые он произнес. Он был испанцем, а значит, моим врагом. Я подбежал к нему, на бегу выхватив меч. Одним резким ударом я рассек его от плеча до позвоночника, и когда он упал на окровавленный песок, я выкрикнул старый боевой клич крестоносца «Св. Георг и веселая Англия!» и одним прыжком запрыгнул в самую середину переполненной лодки. Там я принялся размахивать быстрым клинком, то рассекая череп, то посылая в воду

поднятую руку, пока то, что осталось от перепуганных негодяев, не попадало за борт, и я не остался один в лодке с теми, кого уже зарубил.

Мной владела прежняя боевая ярость, и короткая схватка только разгорячила меня, так что я взял весло, оттолкнул лодку и поплыл к двум кораблям, в то время как те испанцы, что остались в живых, разбежались и попрятались в скалах, думая, что на них несомненно напал какой-то демон.

Я был уже на полпути, когда глубокий, приглушенный грохот прокатился по гладкой воде в мою сторону. Я обернулся и увидел огромное серо-голубое облако, лежащее на море, с ярко-красным отблеском прыгающего под ним пламени. Потом пламя исчезло, и когда облако дыма рассеялось, на воде не осталось ничего, кроме нескольких темных плавающих обломков. Я въехал на лодке в самую середину их и не нашел ни одного живого существа. Оба корабля взорвались, и победители с побежденными вместе ушли в пучину. Я греб среди обломков добрый час и видел, как один за другим на поверхность поднялись два десятка изуродованных, почерневших трупов, но ни одно живое существо не вернулось из глубин, и я был один в лодке посреди неведомого моря. И все же, оно не было мне совершенно незнакомо, потому что это было то самое море, через которое бедный «Безжалостный» прошел, гонимый бурей, чтобы уложить меня на мое последнее пристанище, и так как солнце клонилось к западу за моим островом, у меня было достаточное представление о направлении, чтобы, когда я поставил мачту и поднял парус, который нашел в шлюпке, с некоторой уверенностью направить ее на северо-восток, где, как я полагал, лежали берега Европы. Всю эту ночь я шел под парусом с попутным ветром по спокойному морю, и на рассвете с радостью увидел судно, несущееся на меня по воде под горой белоснежной парусины. Я поставил лодку по ветру и встал поперек пути судна, вспоминая тот далекий день на Ниле, когда в меня врезался корабль молодого Ивара. Не прошло и получаса, как меня подобрали, и я снова оказался в мире живых людей.

Корабль назывался «Морской ястреб», он оказался достойным тезкой драккара старого ярла Ивара. Корабль направлялся в Вест-Индию в поисках добычи, которая могла бы встретиться в пути, или надеялся найти ее в конце путешествия. Капитан корабля Марк Вернон был мне по сердцу, он был достойным потомком моих старых морских

товарищей времен Дрейка и Фробишера. Более того, по внешнему виду он мог быть родным братом Филипа Кэрю, и одного этого было достаточно, чтобы снискать мою любовь.

В тот вечер мы с капитаном Марком поужинали вдвоем и, как и обещали, обменялись историями прошлого и настоящего. От него я узнал о переменах, которые произошли в мире, пока я спал в каюте «Безжалостного», спрятанного в пещере, которая, как я вскоре узнал, находилась на крошечном скалистом островке в группе Азорских островов. Марк рассказал мне, как шаг за шагом росли сила и величие Англии, как Шотландия и Ирландия объединились с ней, и как древняя мощь Британии уже тогда снова встала между миром и наступающим деспотизмом, как это сделала Англия во времена Армады. Но теперь Испания пала, и вместо фанатика Филиппа поднятый меч, угрожавший свободе человечества, держал корсиканский солдат.

Он рассказал о безумии кровавой резни и ужаса, с которым французский народ внезапно пробудился после векового рабства; о том, как старый порядок исчез в урагане огня и потоке крови; как этот выскочка-тиран занял место во главе армий новой Франции, а затем и на новоиспеченном императорском троне, который он возвел на руинах недолговечной республики.

Все это и многое другое, что я увидел и услышал в этой моей последней жизни, так же хорошо известно и вам, потому что это ваши вчерашние события, и поэтому я лишь слегка коснусь их, за исключением тех случаев, когда речь пойдет о моей собственной истории. Остальное вы поймете сами, если я скажу, что день моего последнего пробуждения был 20 мая 1805 года, как раз в то время, когда Наполеон совершал свой глубоко продуманный план уничтожения британской морской мощи и вторжения в Англию из Булони.

На восьмой день от Азорских островов мы увидели флотилию больших кораблей, таких кораблей, каких я и не мечтал увидеть, так величественны и великолепны были они с высокими ярусами пушек и огромными широкими белоснежными парусами. Эта флотилия военных кораблей могла бы пройти сквозь великую Армаду и разбить ее в щепки залпом одной батареи.

— Их тридцать, — заметил Марк, сидевший на бизань-мачте и пересчитывавший их в подзорную трубу. — А это значит, что это

французы, потому что у нас в этих водах нет флотилии такого размера. Они идут из Вест-Индии и направляются в Ла-Манш. Теперь мне интересно, чем они занимались и что собираются делать на той стороне пролива. Такая большая флотилия здесь не просто так.

— Насколько я помню, не больше, чем эскадра Армады, когда она направилась к берегам Ирландии, чтобы сбить Дрейка с пути и оставить Ла-Манш открытым.

— Клянусь небесами, ты попал в цель, Валдар! — воскликнул он, хлопая меня по плечу. — И может быть, для Англии хорошо то, что мы заметили эту флотилию сегодня утром. По виду и снаряжению это французы, и они вышли на серьезное дело, иначе их бы не было так много. Я не удивлюсь, если это эскадра адмирала Вильнева, которая исчезла из испанских вод в марте прошлого года. Интересно, где Нельсон? Я знаю, что он где-то на Западе, и ему надо как можно скорей сообщить. Попробуем сначала найти его на Барбадосе. Сейчас ты увидишь, как может летать «Морской ястреб».

С северо-запада дул ровный, устойчивый ветер с большей долей северного, поэтому бригантина расправила все полотнища парусины, какие только могли нести ее высокие мачты и длинные рангоуты, и, прежде чем французы заметили нас, мы уже неслись по воде со скоростью, которая на мой старомодный взгляд казалась невероятной. 2 июня мы подошли к Барбадосу, который теперь был британским островом, и там узнали, что адмирал Нельсон должен был высматривать французский флот в ближайшие день-два.

Мы посоветовались по поводу того, что видели, и, набрав свежих запасов провизии и воды, встали в море на расстоянии около пяти миль в ожидании английского флота. Утром четвертого числа он появился с севера, и мы с развевающимся британским флагом вышли ему навстречу. Мы нашли адмиральский вымпел на величественном военном корабле, на широкой и высокой корме которого я увидел, когда мы обогнули его, начертанное на золотом свитке слово «Виктори» [Победа], имя, которое вскоре будет вписано в морских хрониках рядом с названием корабля Дрейка «Месть».

Марк ответил на оклик, когда мы пронеслись рядом с флагманом на скорости, которая заставила многих на борту пристально всмотреться. Затем мы укоротили паруса, чтобы идти рядом, и Марку, после того, как он доложил, кто он и с каким поручением прибыл,

было приказано подняться на борт «Виктори» и передать свое послание адмиралу. Поэтому мы спустили гичку на воду, быстро поднялись по канату, брошенному нам с флагмана, и вскоре мы с Марком стояли на той палубе, где Нельсон должен был получить смертельную рану, прежде чем пройдет еще несколько месяцев.

Нас сразу же отвели в адмиральскую каюту, потому что, как вы знаете, Нельсон никогда не принимал новости из вторых рук, если было возможно. Когда дверь открылась, я увидел сидящего за столом худощавого, хрупкого, одноглазого человека с желтоватым лицом. Пустой правый рукав его мундира был приколот к груди. Это был Нельсон, величайший из великих английских морских капитанов со времен Дрейка. И все же, глядя на него, я подумал, что при всем его величии он выглядел бы жалко рядом с веселой, круглолицей, коренастой фигурой моего дорогого маленького адмирала, который, увы, спит на морском дне вот уже двести с лишним лет.

Он принял наши новости с быстрой, спокойной решимостью. Потом он коротко шепотом переговорил с офицером, который сидел с ним за столом, взглянул на Марка и сказал:

— Ваши новости могут оказаться весьма ценными, и я сердечно благодарю вас за то, что вы так быстро их доставили. Этот ваш быстрый корабль... насколько я понимаю, вы плаваете под каперскими грамотами. Как вы думаете, сколько времени вам потребуется, чтобы добраться до Лондона?

— «Морской ястреб» при хорошем ветре мог бы сделать это за двадцать пять дней, милорд, — ответил Марк. — Так как мы думали, что нас могут потребовать для срочной работы, мы вчера запаслись провизией и водой, так что можем отправиться в Лондон сегодня днем, если будет угодно вашей светлости.

Нельсон взглянул на нас с искоркой в глазах и улыбкой на тонких женских губах:

— Ваша дальновидность, как и ваша быстрота, выше всяких похвал, мистер Вернон, и, возможно, в ваших силах оказать своей стране очень большую услугу. Кстати, вы еще не представили вашего друга. Его лицо кажется знакомым, и все же я не могу вспомнить, где видел его раньше.

— Это Фрэнсис Валдар, — ответил Марк, мгновенно придумав мне имя. — Совладелец «Морского Ястреба».

И пока мы с великим адмиралом обменивались приветствиями, я думал о Цезаре и Александрии, в то время как Нельсон все еще гадал, где мы с ним встречались раньше.

Мы вернулись на борт «Морского ястреба» с приказом оставаться рядом с флотом до рассвета, а затем с «Виктори» прибыла гичка и снова взяла Марка на борт флагмана. Он вернулся с депешей от Нельсона в Адмиралтейство в Лондоне и, показывая ее мне, заметил:

— Эта ваша мысль была чертовски хороша, мой друг, та, которая подсказала мне, что французская эскадра прибыла сюда только как отвлекающий маневр. Ею командует Вильнев, а Нельсон уже несколько недель рыскает по морям в его поисках. Теперь он его упустил, потому что, как говорит адмирал, со своими тридцатью кораблями Вильнев никогда не убежал бы от тринадцати, даже будучи французом, если бы у него не было какой-то глубоко запрятанной цели, и эта цель, по-видимому, состоит в том, чтобы пересечь Атлантику как можно быстрее, снять блокаду Ферроля и Бреста, а затем отвести запертые там эскадры к проливу Ла-Манш, соединиться с Наполеоном в Булони и обеспечить переправку сухопутной армии и высадку в Кенте.

— Тогда, если это так, — сказал я, — это в точности то, для чего король Филипп послал Армаду, когда герцог Пармский ждал его в Дюнкерке, и я полагаю, что Нельсон, как и Дрейк, видит, к чему приведет такая комбинация. Будь на то воля Дрейка, как он не раз говорил, он сражался бы с Армадой у берегов Испании и никогда не позволил бы ни одному ее кораблю увидеть вход в Ла-Манш, но предатели и политики при дворе были слишком сильны, и поэтому ему пришлось сражаться с испанцами в Ла-Манше рядом с английской землей, а не возле испанских портов.

— Но теперь этого не случится, — сказал Марк, — по крайней мере, если мы сможем пересечь Атлантику быстрее, чем французская флотилия, потому что мы усвоили урок, который Дрейк преподал нам в действии, а Рэли — в своей книге «История мира»: когда морская держава вступает в войну, ее фронты — это берега ее врагов. Нам приказано доставить эти депеши прямо в Лондон. Нельсон отдал еще три экземпляра трем самым быстрым кораблям флота — десятипушечному бригу и двум одномачтовым шлюпам, и мы вчетвером собираемся устроить гонку через Атлантику за честь

вручить новости первыми и за приз в тысячу фунтов. Остальные уже отходят, но мы легко можем дать им час или два форы. Я сообщил нашим людям, что, у них будет тысяча фунтов, если мы придем первыми, и что мы с тобой каждый дадим им еще по тысяче, так что, думаю, они не будут терять времени.

— Они потеряли бы еще меньше, если бы ты пообещал по две тысячи каждому, — сказал я, — а то ведь у нас, знаешь ли, есть много лишнего.

— Верно, — рассмеялся он, — но это не дело, когда британский моряк становится внезапно богат. Он славный малый и отличный боец, но богатство с ним не вяжется, а твоя старомодная щедрость может оставить корабль без людей после того, когда мы прибудем в Лондон. А теперь нам лучше подняться на палубу и вывести «Морского ястреба» в путь.

К тому времени, как «Морской ястреб» расправил крылья, оба шлюпа и бриг были уже далеко, но как только мы подобрали паруса по ветру и бригантина легла на курс домой, мы начали их догонять. К заходу солнца мы оставили шлюпы позади, а к рассвету бриг был почти на корпус за нашей кормой, и мы мчались в одиночестве вслед за большой французской флотилией, которая стартовала намного раньше нас.

В конце концов, мы пересекли Атлантику быстрее, чем любое другое судно до нас, и всего через двадцать пять дней после того, как Марк принял депеши из рук Нельсона, он доставил их в Адмиралтейство в Лондоне. Это было 9 июля, и, как вскоре показали события, мы как раз успели расстроить планы Наполеона и спасти Англию от вторжения.

Мы были немедленно отправлены к адмиралу Стирлингу, который блокировал Рошфор, с приказом присоединиться к сэру Роберту Кальдеру у Ферроля и вместе с ним ждать Вильнева у мыса Финистерре. К 22 июля мы дошли до места, и в тот же день Вильнев появился в поле зрения с двадцатью линейными кораблями, семью фрегатами и одним пятидесятипушечником. Был дан сигнал к действию, но прежде чем мы вступили в бой, спустился туман, и все, что мы получили, это два испанских линкора и удовлетворение от того, что мы повредили еще три корабля Вильнева, прежде чем он улизнул в Ферроль.

Загнав его в Ферроль, мы еще раз нарушили план Наполеона, потому что, как мы узнали впоследствии, тот приказал Вильневу идти в Брест, где его ожидал адмирал Гантом с двадцатью одним линейным кораблем. Но едва мы достигли Ферроля, как Наполеон снова приказал Вильневу выйти в море и любой ценой присоединиться к брестскому флоту. И вот одним августовским утром Вильнев вышел с двадцатью девятью линкорами и обнаружил, что мы ждем его с двадцатью, и вместо того, чтобы дать нам бой, трус бежал от нас и от приказов своего командира, а мы преследовали его до Кадиса по местам боевой славы Дрейка, которые вскоре стали свидетелями более великих, если не более храбрых деяний, чем все, что он совершил.

Тем временем Нельсон, который вернулся в Портсмут более месяца назад, прибыл в Кадис, чтобы командовать блокирующей эскадрой; она теперь насчитывала двадцать девять кораблей. Почти месяц мы держали взаперти сорок судов французов и испанцев в той самой гавани, где мы с Дрейком опалили бороду испанскому королю 218 лет назад, и наконец, чтобы выманить трусов на битву, Нельсон отослал восемь своих кораблей, и когда в Кадис пришло известие, что у него всего двадцать парусов, Вильнев вышел с тридцатью тремя, все еще опасаясь даже теперь слишком близко подойти к когтям ужасного английского морского льва.

И вот, наконец, наступил день того вечно знаменитого 21 октября. Нельсон выманил Вильнева достаточно далеко, чтобы сражение несомненно состоялось, и с кормы «Морского ястреба», который все еще сопровождал английскую эскадру в качестве разведывательного и курьерского судна, далеко с подветренной стороны я увидел тридцать три французских и испанских линкора с семью сопровождающими их фрегатами. Их паруса казались снежными пиками на фоне сине-серых облаков на горизонте. Почти в тот же миг с «Виктори» пришел сигнал, приказывающий нам выяснить их положение и строй, и мы двинулись в путь. Когда мы оказались в пределах видимости могучего флота, я схватил Марка за руку и, указывая на них, воскликнул:

— Это добрый знак, Марк! Смотри, они плывут в форме полумесяца, один корабль за двумя другими. Именно в этом строю мы увидели Армаду, проходившую мимо Плимута 217 лет назад на пути к гибели.

— На этот раз они так далеко не дойдут, — рассмеялся он в ответ. — Ты видел много морских сражений, Валдар, но не таких, какое увидишь сегодня, если этот трус Вильнев снова не бросится наутек. Видишь вон ту скалу на юго-востоке? Это мыс Трафальгар — название, которое, если я не ошибаюсь, станет знаменитым еще до того, как над ним снова взойдет солнце.

— Да, — согласился я, — я вполне могу в это поверить, так как эти воды слишком часто приводили английские кили к победе, чтобы поглотить их теперь. Вон Кадис, где мы сожгли корабли Филиппа и побили его армаду, остановив его на целый год. Вон Лагос, Виго и Байона, где мы много раз учили испанцев, что англичанин стоит их дюжины, и то, что Дрейк сотворил маленькими кораблями, Нельсон вполне может сделать своими большими.

Под эти разговоры мы мчались с новостями назад к английскому флоту, и когда Нельсон узнал о численности и строе противника, он построил флот в две колонны и отдал приказ разбить полумесяц французов и испанцев в двух точках. Как вы знаете, он повел одну колонну на «Виктори», а Коллингвуд другую на «Королевском суверене». Что касается нас, то наша работа на тот момент была закончена, и нам ничего не оставалось делать, кроме как лежать в дрейфе и наблюдать за боем, потому что, если бы мы на «Морском ястребе» оказались в пределах досягаемости одного из этих могучих трехпалубников, нас разнесли бы в щепки одним залпом. Время маленьких кораблей миновало, и, как бы меня это ни огорчало, поделаться было нечего, и мне пришлось утешать себя заверениями Марка, что до конца дня у нас будет шанс нанести какой-нибудь урон.

Это было великолепное зрелище — отважный британский флот, который движется в боевом порядке с открытыми портами и пушками, готовыми спеть грохотом и пламенем триумфальную песню Англии на море. С поднятыми парусами корабли гордо шли вперед, словно сознавая свою мощь и величие, однако «Королевский суверен», самый быстрый парусник в эскадре, стал постепенно отклоняться от остальных. Кровь яростно пульсировала в жилах, и старая боевая страсть пылала во мне, восставая против жалкого бездействия, на которое я был обречен. Тем временем, «Королевский суверен» выходил из линии.

Вдруг мы услышали воинственные крики, пролетевшие по обеим британским колоннам, и увидели знаменитый сигнал Нельсона «Англия ждет, что каждый выполнит свой долг», развевающийся на мачте «Виктори». Тогда «Королевский суверен», теперь уже далеко опередивший остальных, влетел один в центр сорока французов и испанцев. Когда он проходил мимо первого из них, из его батареи вырвался поток пламени и огромные клубы дыма, и такой грохот донесся до нас над водой, какого я никогда не слышал за все мои боевые дни. После залпа он отвернул, оставив за собой полуразрушенную развалину, повернулся бортом к следующему и вместе с ним на некоторое время затерялся в клубах дыма, которые поднимались от его непрерывно грохочущих бортовых пушек.

Прежде чем подошла остальная часть британского флота, отважный корабль был окружен огромными врагами, и вокруг него разразился такой яростный шторм сражения, что я не думал увидеть его снова. Но один за другим подходили британские суда, и каждый из них взрывался внезапным громом и пламенем, проходя через вражеские линии. Флагман «Виктори», который полз вперед под таким слабым ветром, что его едва хватало наполнить паруса, находился под сходящимся огнем нескольких десятков французов и испанцев, но ни разу за все это время не выпустил ни единого снаряда. Наконец, он приблизился на расстояние кабельтова к флагману Вильнева «Бюсантор», и тогда с ужасающим эффектом обрушил железный шторм на самые его жизненно важные органы.

К этому времени мы были уже близко и упражнялись с нашими тридцатью двумя дальнобойными пушками в стрельбе по французским мачтам и такелажу. Как и «Королевский суверен», «Виктори» несколько минут сражался один, и мы были так близко к нему, что слышали приказы офицеров и свистки боцманов всякий раз, когда бой на мгновение стихал.

Не успел «Виктори» послать залп в «Бюсантор», как огромный линкор «Сантиссима Тринидада» (в те дни самый большой на плаву) приблизился и открыл огонь по «Виктори» из четырех высоких ярусов орудий. Однако, не обращая внимания на железную бурю, обрушившуюся на него, «Виктори» пошел дальше и уложил французский линкор «Редутабль» [Грозный] на борт, а затем подошел английский «Темерер» [Безрассудный], сопровождаемый остальными

кораблями Нельсона, которые выстроились в линию один за другим, выбрав каждый своего врага, пока битва не разгорелась из конца в конец французской и испанской линий. Вы знаете, что произошло потом, как снайпер с грот-мачты «Редутабля» сделал выстрел, который поверг Британию в траур и лишил ее половины радости от величайшей победы, когда-либо одержанной на море. Рассказывали, что, когда по флоту пронеслась весть о том, что Нельсон подстрелен и лежит при смерти, каждый английский моряк был одержим одной-единственной мыслью — заставить французов и «донов» заплатить как можно дороже за бесценную жизнь, которую они отняли.

Нет нужды рассказывать вам, как велика была эта цена, как корабль за кораблем, разбитый непрерывными залпами, спускал флаг и сдавался; как из сорока кораблей, вышедших нам навстречу в то утро, только девять испанцев вернулись в Кадис, а четыре француза улизнули только для того, чтобы быть захваченными через несколько дней у Ортегала. Из остальных десять пали во время сражения, а двадцать сдались в конце боя, и сам Вильнев вместе с испанскими адмиралами Алавой и Сиснеросом и двадцатью тысячами солдат и матросов стали нашими военнопленными.

Так закончилась последняя битва титанов на море. Во второй раз я видел, как Невредимый остров^[45] спасся в критический момент своей судьбы от вторжения чужеземного врага и хватки чужеземного тирана. Трафальгар окончательно сломил морскую мощь Франции и Испании. Великая Булонская армия, которой через несколько дней предстояло вторгнуться в Лондон, развернулась в поисках других полей сражений, и по сей день вы можете увидеть статую Наполеона на его колонне над Булонью, повернутую спиной к той английской земле, которую будущий деспот Европы никогда больше не увидит, пока не окажется пленником на палубе британского линкора.

Если бы не стремительное плавание «Морского ястреба», Трафальгарской битвы могло бы и не случиться, а статуя Наполеона могла бы стоять лицом в другую сторону.

Мы принесли эту весть домой, убегая от шторма, который разразился над полем битвы на следующее утро, и никогда еще ни один корабль не приносил известий о большей радости и большей печали, чем мы. Британия была спасена, но человек, который спас ее,

погиб смертью героя в самый час победы и в высший момент судьбы своей страны.

В течение пяти лет после Трафальгара мы на «Морском ястребе» действовали везде, где можно было найти хорошо нагруженного француза, пока британский флот и крейсера не прочесали моря настолько чисто, что едва ли можно было найти приз, за который стоило бы сражаться. Наконец, мы привезли наши сокровища домой из пещеры, где все еще медленно гнил «Безжалостный», а затем заплатили команде «Морского ястреба». Сцена битвы переместилась с моря на сушу. У подданных волн была теперь только одна хозяйка, и никто не мог безопасно плавать по ним, кроме как с ее разрешения.

И все же для меня не было ни радости в золотом отдыхе, ни покоя на суше или на море, пока мой жизненный путь снова не пересечет путь той, с кем я в последний раз простился в темнице инквизиции. И снова поиски моей много раз потерянной любви стали движущей страстью моей новой жизни, и снова я отправился искать ее по красной тропе войны.

Половина мужского населения Англии, как вам известно, бросилась с оружием в руках навстречу булонской угрозе, и поскольку у нас с Марком были деньги, которые можно было тратить без ограничений, мы вскоре собрали отряд из пятисот всадников, оснащенный и вооруженный на испанские сокровища и французскую добычу, и отправились искать военного счастья с маршалом Веллингтоном на полуострове.

Вся Европа теперь пылала сражениями от края до края, а корсиканский авантюрист, сделавший себя тираном Франции, казалось, быстро шел к всемирной империи, подобный новому Молоху, сквозь пламя бесчисленных городов и кровь миллионов людей, погибших по приказу его проклятого честолюбия. Вы знаете, как он поднялся и как пал, чтобы снова подняться для той величайшей битвы, которая в один день разорвала цепи, которые он в течение почти двадцати лет готовил, чтобы сковать народы.

От кровавого поля Виттории до последней трагедии Ватерлоо мы пробивали себе путь от победы к победе во многих доблестных сражениях, о которых я охотно рассказал бы вам, если бы оставалось место или время, но моя длинная история спешит к концу, и деяния лет должны быть ограничены скудным упоминанием в нескольких словах,

потому что для меня, кроме сражений и маршей, и снова сражений, эти годы были пустыми, так как все эти годы я тщетно искал свою любимую, но все же надеялся снова и снова, потому что я не мог поверить, что этот последний этап моего земного пути я пройду в одиночестве и без приветливого присутствия той, которая, верная своей клятве через сменяющиеся века, непременно появится снова, чтобы вложить свою руку в мою и поведать мне, что мрак, стыд и ужас нашего последнего расставания действительно очищены пламенем ее мученического костра, и что она снова вернулась ко мне со звезд, на этот раз, быть может, чтобы закончить свою миссию и мое скитание, и в последний раз провести меня сквозь тени к жизни за пределами мира и к восстановлению моего утраченного родства с богами.

Глава 32. Последняя победа

Именно в ночь перед битвой при Катр-Бра, ночь на 15 июня 1815 года, прославленную в бессмертной песне Байрона^[46], наконец-то была услышана моя долгожданная молитва. Брюссельские часы пробили одиннадцать, когда герцогиня Ричмондская приветствовала улыбкой двух предводителей отряда, который стал известен благодаря множеству яростных и смертельных, отчаянных и безнадежных подвигов, и поэтому пользовался ничуть не меньшим почетом в этом историческом зале, который видел цвет британского рыцарства.

Когда мы были формально представлены и поклонились хозяйке, я поднял голову и рядом с ее светлостью увидел самую красивую фигуру во всей этой блестящей толпе, ту, кого я искал в течение десяти долгих лет сквозь бури и войны на море и на суше. Нежная, величественная и еще более прекрасная, чем когда-либо, с грацией новой, более совершенной жизни, сияющая в своей возрожденной женственности стояла она, та, чье несчастное, измученное пытками тело я в последний раз держал в объятиях в темнице инквизиции в Кадисе, и чей белый силуэт я в последний раз видел чернеющим среди пламени мученического огня. А сейчас на ее белой груди сияли огромные драгоценные камни, которые я подарил ей на обручение, когда сватался к ней и получил ее как Кейт Кэрю.

Наши глаза встретились, и от нее ко мне мелькнул приветственный взгляд такого совершенного узнавания, что, совершенно забыв, где я нахожусь и сколько глаз на нас смотрит, я шагнул к ней, протянув руки, с самым первым ее смертным именем на устах.

— Значит, вы уже знакомы? — спросила хозяйка, не подозревая, как странно звучат для нас ее банальные слова. — А я как раз собиралась представить вам капитана Валдара, леди Илма, потому что, я уверена, вы были бы самой красивой парой в этом зале, чтобы вести котильон.

— Как видите, в этом нет необходимости, ваша светлость, — ответила леди Илма. Откуда у нее опять это старинное имя? — Мы

встречались с капитаном Валдаром некоторое время назад в Испании, в Кадисе, не так ли?

— Да, — ответил я, черпая уверенность в ее совершенном самообладании. — Это было в Кадисе, и, если ваша светлость не слишком занята, я могу немало рассказать вам о том, что произошло с той поры с человеком, судьбой которого вы тогда изволили интересоваться.

— И чем же я могла бы быть больше занята, мой Валдар, — сказала она, глядя на меня с любовью, уже пылавшей в ее милых глазах, которые более двухсот лет были затемнены смертью, но все же каким-то волшебством мгновенно преодолели огромную пропасть. — И все же, — продолжала она, когда мы распрощались с хозяйкой и отошли подальше от любопытных ушей, — может быть, у меня есть больше, что рассказать тебе, чем...

— Неважно, больше или меньше, рассказывай скорее, милая Илма, — перебил я. — Потому что, как ты, без сомнения, знаешь, сейчас лишь затишье перед бурей, и приказ выходить в поход может прийти в любой момент. Так что говори, чтобы мы не расстались, не разгадав тайну этой самой удивительной из всех наших встреч. И эти драгоценности, которые я подарил тебе так давно, перед тем, как мы с тобой поженились...

— Да, — сказала она, положив на них руку и снова глядя мне в глаза. — я много над этим думала, мой бывший муж...

— И нынешний, — возразил я, — если истинный брак когда-либо нуждался в разрешении земли и благословении небес.

— И нынешний, и будущий, если пожелаешь, мой истинный рыцарь, — согласилась она. — Теперь перейдем к моей истории, а сначала к драгоценностям. Ты знаешь, что сэр Филип завещал поместье Кэрю своей жене Мэри, и так как она умерла, не успев родить наследника, оно перешло к ее матери леди Дрейк, а когда «Безжалостный» так и не вернулся, и сэр Фрэнсис вступил во владение поместьем от ее имени, эти вещи были найдены вместе с другими моими драгоценностями в твоей комнатке, где, как ты помнишь, я их хранила. Старшая дочь леди Дрейк вышла замуж за старшего сына лорда Говарда Эффингемского, и эти твои драгоценности были свадебным подарком ее матери. С тех пор они стали семейной

реликвией, и, поскольку я ее дочь в шестом поколении и последний ребенок в нашем роду, они снова вернулись через меня к тебе.

— Не через тебя, а с тобой, милая, — уточнил я. — А теперь, как ты узнала меня снова?

— Потому что я никогда не забывала тебя.

Она произнесла эти совершенно удивительные для меня слова голосом, в котором не было дрожи, так сильна была ее милая убежденность.

— Потому что через жизни, которые я прожила, и через ту последнюю смерть, которой я умерла ради тебя и истины, мне была дана способность видеть сквозь завесу, которая охватывает вещи времени.

Когда мое мертвое тело повисло на столбе, я увидела тебя другими, более ясными глазами. Я видела, как ты бросил вызов смерти во всех ее проявлениях ради праведной мести. Я видела, как ты уплывал один сквозь бурю и тьму. Я наблюдала за тобой во время твоего смертного сна в пещере посреди моря, а потом для меня наступило новое рождение, и вместе с моей новой смертной жизнью росла другая жизнь, в которой, когда я забывала мир, я вспоминала все, что случилось раньше, и все причины событий стали мне ясны.

Это то, что я заслужила для себя и для тебя, и все это будет твоим, когда ты сразишься в последней из твоих многочисленных битв за правду и свободу, и это случится скоро. Это твоя работа, и скоро она закончится, как и моя. Сквозь тучи твоей последней битвы над миром воссияет новая эпоха, и для тебя, как и для многих других, после долгой борьбы наступит мир.

Едва эти нежные торжественные слова замерли у нее на устах, как в комнатку, где мы уединились, вошел адъютант и, отдав честь, вручил сложенный лист бумаги, после чего удалился, не сказав ни слова.

Я развернул листок и прочел:

«Войска выступят в течение часа. По приказу герцога.

Гордон».

Я подал письмо Илме, она прочла его и вернула недрогнувшей рукой. Затем она вложила свои ладони в мои и снова сказала мне, как говорила много веков назад на берегах Тигра:

— Прощай, Валдар, до тех пор, пока ты не вернешься с победой. Пришло время войны. Завтра или послезавтра снова придет время

любви.

— Нет, оно всегда здесь у меня, и всегда будет, пока мое сердце хранит мысль о тебе, моя милая, — ответил я. А потом, так как для долгих прощаний не было времени, а сердце мое было слишком горячо и полно для слов, я обнял ее и поцеловал, и с ее прощальным поцелуем, все еще теплым и сладким на губах, я покинул ее, чтобы найти Марка и проститься с нашей хозяйкой.

Не прошло и часа, как все мы уже были в седле и мчались вместе с длинными потоками пехоты, конницы и артиллерии, хлынувшими по дороге на Катр-Бра. Там, как вы знаете, мы встретили французского маршала Нея и отбросили его обратно на Фран, в то время как Наполеон гнал прусского фельдмаршала фон Блюхера из Линьи на Вавр. Затем мы отступили, ожидая нападения Корсиканца на возвышенности Мон-Сен-Жан возле Ватерлоо. Ночь 17-го числа застала нас в час, когда мы разбивали там лагерь на промокшей земле, которая скоро должна была превратиться в дикую кровавую трясику. Мы сидели у потрескивающих костров под непрекращающимся дождем, который, по правде говоря, высасывал силы Наполеона с каждой падающей каплей.

Всю ночь бушевала буря, бесконечными потоками обрушивался потоп, и день начался унылым зрелищем, которое волшебство битвы, как всегда, превратило в великолепие. Мы встали из грязи и выстроились лицом друг к другу — две армии, которым предстояло сразиться в тот день за величайший приз, который когда-либо зависел от случайности войны.

К девяти часам потоп прекратился, и еще более двух часов мы стояли и смотрели друг на друга, молчаливые и страшные, собирая силы, чтобы нанести и принять те могучие удары, которые еще до полудня потрясут мир. Это была передышка, которую дал нам дождь. Если бы не этот рассвет, батареи, прославившиеся под Аустерлицем и Йеной, обрушили бы на наши ряды бурю и смерть. Но колеса пушек и повозок с боеприпасами крепко увязли в грязи, став неподвижными и бесполезными, пока земля не просохла настолько, чтобы их можно было вытащить.

Так тянулись медленные минуты, наполненные судьбой. Часы на деревенской колокольне четко отбивали время в затишье перед бурей, пока в половине двенадцатого не зазвонили с башни Нивеля. Тогда мы

увидели движение в правом крыле великолепного строя, который протянул свои теперь сияющие линии вдоль гребней склонов перед нами по другую сторону той долины смерти, в которой свобода и тирания скоро должны были сцепиться в смертельной схватке.

Еще несколько минут, и мы увидели облачко дыма, вспышку пламени и услышали короткий, резкий звук выстрела одиночного ружья. Это был боевой сигнал и погребальный звон для Наполеона и той великой армии, которая к полуночи должна была превратиться в разбитый сброд, в отчаянии удирающий без командующего с места своего последнего поражения.

Не успел дым рассеяться, как прогремел гром целой батареи, и колонна за колонной французы покатались вниз по склону на левом фланге и бросились на шато Угумон.

Это был первый удар. Старый замок и сад пылали, как вулкан, среди стремительных клубов дыма. Грохот английских орудий справа смешался с громом французской артиллерии, а затем буря прокатилась по долине налево, где в ожидании стояли мы, чтобы выполнить суровый простой приказ, который был дан нам: «вступить в бой и бить сильнее везде, где есть возможность».

У меня нет подробного рассказа о Ватерлоо, и я не могу сообщить вам что-то, чего нет в той истории битвы, о которой вы знаете более чем достаточно. Я был всего лишь один человек с единственной парой глаз, словно потерпевший кораблекрушение моряк, который цепляется за обломок рангоута и видит столько же в широком просторе моря, сколько я мог видеть в этом огромном океане дыма и пламени.

Для меня это был хаос атакующих эскадронов, которые то накатывались на неподвижные, окаймленные штыками британские каре, то откатывались назад поредевшие, разбитые вихрем огня и градом свинца, который раздражался, как только они достигали расстояния огня. Это был хаос движения и встречного движения длинных, мускулистых линий конницы и пехоты, которые раскачивались взад-вперед в ожесточенной борьбе, как чудовища, корчащиеся в предсмертной агонии, изгибаясь то в одну, то в другую сторону, ломаясь на куски и снова соединяясь, пока, наконец, из боя не начнут выходить, шатаясь, дезертиры с одной стороны во все увеличивающихся количествах, а затем гнущаяся, извивающаяся линия рванется вперед, и то, что было битвой, станет погоней.

Все это и многое другое я видел мельком в коротких паузах, переводя дух от нашей жаркой работы. Наш первый шанс представился, когда Наполеон предпринял первую атаку на левый фланг и центр британцев. Восемнадцать тысяч пехотинцев-французов вместе с окаймленным сталью облаком конницы Келлермана пронеслись вниз по склону от главной французской линии и поднялись на следующий гребень, где у французов были установлены семьдесят четыре орудия, готовые начать смертоносную работу. Они быстро прошли между пушками и спустились в долину перед нами. Тогда прогрохотали орудия, и буря картечи и ядер, пролетев над их головами, обрушилась в самую гущу британской линии.

Впереди стояла бригада голландцев и бельгийцев, и едва французские стрелки открыли огонь, как труссы дрогнули и побежали, как овцы. Когда они пробегали через английские ряды, англичане, одновременно смеясь и ругаясь, дали по ним залп, чтобы поторопить их на их позорном пути, а затем повернулись навстречу французам, стоя так хладнокровно и организовано под этой железной бурей, как будто это был всего лишь дождь из градин.

Это были люди Пиктона, всего их было три тысячи, и они выстроились в две тонкие красные линии. Мы были слева от них, а на возвышенности справа стоял генерал Понсонби со своей тяжелой конницей. На гребне невысокого хребта французы остановились и развернулись, восемнадцать тысяч человек против трех.

Это был момент для храбреца, и Пиктон воспользовался им. Я видел, как он взмахнул мечом и крикнул:

— Теперь залп, ребята, и на них!

Не успели они отойти и на тридцать шагов, как три тысячи ружей прогремели как одно. Передняя часть французской колонны съежилась и рухнула, а над их криками боли и ярости раздалось оглушительное британское «ура!», и три тысячи штыков двумя длинными волнами сверкающей стали бросились в атаку на фронт французов.

В момент атаки отважный Пиктон вскинул руки и упал с простреленным мозгом, но стальная линия пронеслась дальше. В течение нескольких безумных мгновений я наблюдал за яростными ударами штыков. Мои пальцы сжимали рукоять меча, каждый нерв и мускул в моем теле покалывал, а дыхание становилось все жарче и

быстрее от яростной жажды борьбы и желания присоединиться к мрачной игре, которая велась так близко от меня.

Наконец французы дрогнули, их линия прогнулась назад, и мы увидели красные мундиры среди синих. Справа и слева от длинной линии раздался сигнал горна. Никогда более сладкая музыка не радовала мои уши. Мой большой клинок выскочил из ножен и взметнулся высоко над головой. Мои проверенные ветераны не нуждались в других приказах, и, сбросив уздечки на шеи лошадей, мы двинулись рысью. Рысь перешла в легкий галоп, затем в бешеный галоп, и с пистолетом в одной руке и саблей в другой мы обрушили поток стали и пламени на раскачивающийся фланг французов.

В то же мгновение конница генерала Понсонби ударила французов в левый фланг. Тем временем храбрые красные мундиры отошли, перестроились и снова ринулись вперед со штыком, и огромная французская колонна повалилась назад, раздавленная с обеих сторон и тяжело раненная в центр. Несколько мгновений она дюйм за дюймом пыталась закрепиться. Вдруг толпа у моих ног расступилась — кого-то растоптали, кого-то отшвырнули в сторону, и я увидел перед собой двух драгунов Келлермана во главе отряда, который пробивался сквозь сражающуюся массу, чтобы добраться до нас.

Я поднял своего старого скакуна на дыбы, и когда я приподнялся в стременах, чтобы облегчить его, он скакнул вперед, и я оказался между драгунами. Пока я был в воздухе, мой меч взлетел вверх. Я опустил его на шею лошади, стоявшей справа от меня, и меч прошел сквозь плоть, кости и сухожилия так чисто, что голова упала и на мгновение повисла на уздечке. Затем лошадь и всадник рухнули и вместе покатались по земле.

Пока мой меч еще двигался вниз, на мое левое плечо пришелся размашистый удар, и, несмотря на всю свою силу, я пошатнулся. Затем удар клинка острием пришелся мне в бок. Но оба раза хорошая кольчуга выдержала, и согнувшиеся клинки не причинили вреда. Я ударил драгуна слева от меня рукояткой пистолета и когда его подбородок взлетел вверх, я воткнул под него острие своего меча так, что он вышел из затылка на добрую пядь длины.

Я выдернул меч как раз вовремя, чтобы нанести удар назад противнику, который делал выпад в бок моего коня. Когда он отводил руку, я попал мечом между локтем и запястьем, и его сабля вместе с

предплечьем упала в грязь. Затем меч еще раз сверкнул перед его лицом, и когда мы переехали его, под его шлемом было лишь большое красное кровавое пятно.

— Добивай, Валдар! Они отступают. Сейчас они получают, как следует!

Я оглянулся и увидел рядом Марка. Я ответил резким ударом, от которого каска еще одного драгуна покатила под ноги нашим лошадям вместе с головой. За моей спиной снова раздались радостные возгласы, французская шеренга все прогибалась и, наконец, оборвалась, и когда пространство перед нами расчистилось, мы помчались бешеным славным галопом вниз по склону, вверх по следующему и в гущу орудий, которые причинили нам такое опустошение. Артиллеристы бежали с криками ужаса, только чтобы быть зарубленными или растоптанными. Затем мы перерезали построения и перебили тягловых лошадей, и когда эта короткая смертельная атака закончилась, Франция стала беднее на два орла^[47], две тысячи пленных и семьдесят четыре орудия — цена, которую Наполеон заплатил за то, что послал восемнадцать тысяч французов против примерно пяти тысяч конных и пеших англичан.

Пока мы отбрасывали эту первую атаку, драгуны Сомерсета вели славную битву с французскими кирасирами, которые проскакали через немцев, удерживавших Ла-Э-Сент. Драгуны сбросили французов в латах вниз по склону и загнали их обратно в свои ряды.

Между тем Угумон все еще был вулканом пылающих руин и разрывающихся снарядов, окруженный огнем многочисленных колонн, которые были брошены против него, но были откинута назад, разбитые и пристыженные, теми немногими отважными английскими воинами, которые сражались за рушащимися стенами. И все это время под пронзительную мешанину лязга стали, криков команд, визга и воплей ярости и агонии над полем перекатывался низкий звук постоянно грохочущих орудий, а над всем этим густым, сернистым облаком боя висело темное, хмурое небо.

Так шли часы, а битва гигантов продолжалась. Два величайших полководца и две величайшие нации в мире мерялись мечами, и вопрос был не из тех, которые легко решить. Когда мы возвращались, пробиваясь сквозь колонну, которая была брошена нам наперерез, я увидел сквозь разрывы в дыму кирасиров французской гвардии,

которые стремительными, сменяющимися друг друга волнами сверкающей стали и яростной отваги поднимались по склонам, за которыми, как я знал, располагались каре британского центра.

Потом, как вы знаете, Наполеон предпринял последнюю попытку вырвать победу из поражения. На склоне у трактира «Бель-Альянс» я увидел две огромные колонны пехоты Старой гвардии. Справа от них была видна неподвижная фигура на белом коне. Это был Наполеон, и он собирался лично направить последний удар по тем упрямым британским каре, которые лежали между ним и господством над Европой.

Я знал, что скоро у нас будет больше работы, и повел свой отряд вокруг возвышенности посредине между двумя армиями и остановил их там, укрывшись, насколько это было возможно, от французской артиллерийской бури, которая непрерывно свистела и визжала над нашими головами, когда мы стали, спешившись, рядом с лошадьми, готовые по первому слову вскочить в седло.

Мы смотрели, как кирасиры пересекают гребень. Британские пушки громыхнули один раз и замолчали, а закованные в сталь всадники продолжали двигаться дальше. Затем из-за холма донесся глухой, непрерывный грохот ружейной стрельбы, и кирасиры откатились от огороженных штыками непроходимых квадратов. Снова и снова они нападали, и снова и снова откатывались назад. Пять раз они бросались в атаку и пять раз отступали. Тогда я решил, что наше время, несомненно, пришло.

Когда они в последний раз перевалили через гребень, я вскочил в седло, отряд поднялся, как один человек, и мы галопом поскакали в самую гущу их, скатили их тяжело и безвозвратно разбитые остатки вниз в долину и преследовали тех немногих, кто остался, почти до самого Угумона.

Атака следовала за атакой, и атака сменялась отражением по всей неколебимой британской линии. Ла-Э-Сент пал, но Угумон держался, расстрелянный и дымящийся, но все еще неприступный, и сумрак дня начал сгущаться в вечерние сумерки как раз в тот момент, когда на востоке прогремел глухой непрерывный раскат новой канонады, сообщая нам, что фон Блюхер, по прозвищу «старый маршал Вперед», наконец, пришел нам на помощь со своими доблестными пруссаками.

Теперь поднял руку Наполеон, и огромные колонны с ревом двинулись вниз, в то, что на самом деле было для них Долиной тени смерти. Над их головами снова загрела французская артиллерия, и ураган выстрелов и снарядов открыл им путь сквозь редящие ряды британцев.

Словно две массивные движущиеся стены, французы поднимались по роковому гребню под непрерывным шквалом железа британских орудий. Они добрались до гребня, и со своего места за одним из пехотных полков, где мы держались наготове для следующей атаки, мне было видно, как они вглядываются в дым, высматривая ожидаемого врага. Не обнаружив его, они с радостными криками приблизились на расстояние пятидесяти метров к ложине, в которой лежали гвардейцы пехоты, тысяча четыреста человек, с примкнутыми штыками и взведенными ружьями.

Прозвучала команда. Пехотинцы вскочили четырьмя рядами, и выстрелы побежали из конца в конец и обратно вдоль их линии. Я видел, как французский фронт остановился и смялся, а потом раздалось английское «ура!», сквозь дым мелькнули штыки, и ветераны Старой гвардии Наполеона, сломленные и побежденные, в последний раз покатались вниз по роковому склону.

Нам было приказано атаковать, и мы поскакали между неподвижными квадратами пехоты, гвардейцы-пехотинцы остановились и расступились, чтобы пропустить нас, а мы, весело смеясь и подбадривая друг друга, помчались к остаткам некогда славной бригады, которая всего час назад была гордостью Франции.

За все это время, если не считать эскадронов кавалерии, ни один британский полк не сдвинулся с места. Девять часов они стояли, терпеливые, упрямые и непреодолимые и сражались под непрекращающейся железной бурей, которая давным-давно рассеяла бы любое другое войско на все четыре стороны.

Но теперь долгожданный момент был уже близок. Остатки Старой гвардии вернулись на свои позиции, и Наполеон делал последнюю попытку снова поднять их. Блюхер и его пруссаки уже били с грохотом по правому французскому флангу. Над «Бель-Альянс» нависла туча французской кавалерии, и нам было приказано присоединиться к гусарской бригаде Вивиана и атаковать вместе с ними.

— Это начало конца, — рассмеялся полковник Вивиан, когда я передал ему приказ. — Герцог^[48] наконец-то решил сдвинуться с места. Вперед, ребята, скоро мы уберем этих парней с дороги!

Он поскакал к фронту, и мы за ним рысью, звеня амуницией, гремя ножнами и перебрасываясь шутками. Сабля Вивиана взметнулась вверх, и долгожданные слова прозвучали четко и ясно:

— Рысью! Галопом! В атаку!

И мы ворвались в расположение французов под грохот копыт и радостные крики. Несколько мгновений это была дикая, жаркая рубка, а затем французы сломались, и после этого оставалось только сшибать их и раскалывать их черепа, как только представлялась возможность. Едва мы начали пробираться через их разгромленную толпу, как тучи, которые весь день висели над полем боя, разошлись. С запада заструилось широкое красное сияние заходящего солнца, которое осветило сцену резни и разрушения, еще более красную, чем оно само. Это было око небес, взирающее на поле Армагеддона, чтобы наблюдать славное зрелище последнего торжества порядка и свободы.

Когда засияло солнце, я оглянулся в седле на английские ряды и увидел, как волна за волной, конные и пешие идут терпеливые, храбрые солдаты, которые так стойко перенесли бремя и жар самого страшного дня в истории войны.

Наконец, сдерживающая хватка Железного герцога ослабла, и сила и рыцарство Британии торжествующими волнами ликующей отваги хлынули на разбитые, изломанные массы сбившихся в кучу французских конников и пехотинцев, которые давили друг друга в панике и горечи поражения — разбитые остатки той могучей армии, которая этим серым утром насчитывала восемьдесят тысяч человек, выстроившихся безупречным порядком, ожидая, когда Наполеон поведет их к победе, которая означала бы унижение Британии и, возможно, завоевание мира.

Под заходящим солнцем ярким красным светом блестели шлемы и мундиры, сабли и штыки, все эти славные атрибуты войны, когда побеждающая армия устремилась вперед, выкатывая гортанное «ура!», чтобы нанести последний удар этого долгого смертельного сражения. Волна за волной продвигалась армия, все ближе и ближе к разбитым войскам Франции.

Я пришпоривал коня до тех пор, пока не увидел, как французские офицеры выбегают, крича своим солдатам, чтобы те перегруппировались и встретили свою судьбу как мужчины. То тут, то там несколько разрозненных групп обретали какую-то форму и порядок только для того, чтобы снова раствориться в бушующем вокруг них потоке паники. Затем в трехстах шагах от себя я увидел, как отряд Молодой гвардии вырывается из окружившей его толпы, а справа от него — человека с непокрытой головой, закопченного, забрызганного кровью, в разорванном мундире с мертвенно-бледным изможденным лицом.

Это был Ней, «храбрейший из храбрых», самый отважный предатель, который когда-либо нарушал честное слово. В руке у него была лишь половина сабли. Он взмахнул ею над головой и прокричал:

— Гвардия, вперед! Покажем им, как умирают французы!

Но к этому времени мы были уже в сотне шагов от них и безжалостные, как судьба, мы ворвались в эти храбрые ряды, сбили их с ног и рассеяли, и последний бой Франции был окончен. Я видел, как Ней схватил под уздцы лошадь без всадника и взлетел ей на спину. Я мог бы сбить его с ног и убить, если бы захотел, но я отпустил его, потому что не хотел убивать такого храброго воина. И все же для него, наверное, было бы лучше погибнуть под моим мечом, чем быть застреленным французскими пулями как предатель.

Однако я охотился на более ценную дичь, чем он, но тщетно. Маленькая, приземистая фигурка на белом коне исчезла, потому что убийца миллионов в час своей судьбы струсил и бежал, спасая свою жизнь среди толпы, устремившейся на юг, в Париж.

Британские линии пронеслись мимо Угумона и Ла-Э-Сент, поднялись на высоты к «Бель-Альянс» и дальше к Планшенуа, очистив поле боя от всех, кроме мертвых и умирающих, и битва закончилась. Начался разгром. Пруссаки были уже на ногах и бросились на фланги удирающего сброда, размахивая мстительной сталью, с жгучей памятью о Йене.

В Планшенуа британские регулярные войска остановились, но нам еще было мало. Из пятисот солдат, которых я привел на бой, осталось теперь едва ли триста, и Марк остался далеко позади, погибший где-то там, где сражение было самым ожесточенным; но наши приказы все еще выполнялись, и поэтому мы вместе с

разъяренными тевтонами шли вперед, чтобы быть уверенными в том, что остатки Великой армии никогда больше не соберутся в новое войско.

Через Женап и Катр-Бра, мимо Сомбреф и Франа, через Тюэн и Шарлеруа мы продолжали безумный карнавал резни и смерти, пока все, что осталось от покорителей Аустерлица и Йены, Ульма и Маренго, не было загнано через границу во Францию, как стадо охваченных паникой овец. И тогда луна осветила живых, умирающих и мертвых, победителей и побежденных, а мир избавился от самой гнусной тирании, какая когда-либо угрожала свободам человечества.

Эпилог. В мирном саду

Наконец, история рассказана, и сон растаял. Но был ли это всего лишь сон или нечто большее? Рядом со мной, когда я дописываю эту последнюю страницу, стоит та, чье присутствие говорит мне, что это не сон, а самая настоящая правда — моя любовь, которой много веков, но которая все еще пребывает в нежном расцвете вновь воплощенной женственности; моя четырежды венчанная невеста, чья милая душа шла к назначенной встрече со мной через меняющиеся эпохи, прошедшие с тех пор, как ас Валдар, сын Одина, был изгнан из божественного Асгарда.

Века приходили и уходили, империи поднимались и угасали, и сам лик небес изменился с тех пор, и все же глаза, которые следят за этими словами, пока я их пишу, — это те же самые глаза, что улыбались мне, когда я в последний раз смотрел на равнину Ида^[49] и на своих богоподобных родичей.

Эта маленькая рука, которая так легко покоится на моем плече, — та же самая, что была возложена в благословение на мой шлем, когда я шел на свой первый бой против армии Нимрода перед падением Вавилонской башни, а прекрасные глаза, которые сейчас так близко от меня, смотрели на меня с мученического столба в Кадисе. Голос, который так ласково упрекает меня за то, что я позволяю сердцу водить моей пишущей рукой, — тот же самый, что звал воительниц ислама в отчаянную атаку при Ярмуке; и эта мягкая, шелковистая прядь золотисто-рыжих волос, которая так игриво струится по моей груди, когда-то знала прикосновение руки Тигра-Владыки в тронном зале второй Ниневии.

Моя повесть, которую я начал рассказывать три года назад в новом Вавилоне, когда на полях смерти вокруг Ватерлоо созревало первое зерно, завершается в благоухающем английском саду, спускающемся с террасы старого поместья Кэрю к тому северному морю, по которому мы с Брендой совершили наше путешествие смерти из Иварсхейма, и вон там стоит маленькая серая, поросшая мхом башня, в стенах которой я спал тем сном, от которого меня

разбудил поцелуй моей леди Кейт, как почти две тысячи лет назад в Мемфисе поцелуй Клеопатры.

Как же тогда я могу сомневаться в истинности этой истории, какой бы удивительной она ни казалась? Хотя имя Одина и поклонение ему теперь лишь миф старого мира, разве грезы о «Саге о Валдаре» не были для меня правдой?

Разве я не жил и не любил, и не терял; и не жил снова, и не находил, и не терял снова в течение сменяющих друг друга эпох, и не видел, как яростный поток людской вражды с грохотом катится вниз между гулкими берегами времени? Разве не видел я Соломона, уставшего от всего, что мог дать ему мир; распятого Белого Христа; великого Цезаря, убитого в городе, где он воздвиг престол мира; пророка ислама, осмеянного, презираемого и изгнанного из своего дома; веру и доблесть Львиного сердца, сведенные на нет предателями из его же лагеря; и христиан, мужчин и женщин, истерзанных и корчащихся в кострах Торквемады?

И все же, несмотря на все бури и раздоры, не оборвалась та золотая нить любви, которая, ниспадая с небес, ведет через лабиринт человеческого бытия и обратно на небеса. Смерть приходила не один, а много раз, и все же любовь победила ее. Может быть, мне еще предстоит столкнуться с невзгодами, и мой длинный урок еще не полностью усвоен. Может быть, сон смерти снова придет к моим глазам, и они снова откроются в каком-нибудь далеком веке мира, когда сегодняшняя слава станет вчерашней, но об этом людям настоящего не нужно беспокоиться.

Когда пройдет два поколения, моя история выйдет в мир, чтобы те, кто захочет, смогли ее прочесть, а к тому времени вера или сомнение мало что будут значить для нас, чьи глаза пробежали по ее страницам с нежным воспоминанием, ибо тогда либо долгое путешествие будет, наконец, действительно закончено, либо мы будем ждать, как говорили древние египтяне, в залах Аменти часа нашего следующего свидания.

Конец

notes

Примечания

1

Асы — основная группа богов в германо-скандинавской мифологии; верховным богом и вождем асов является Один. (*Здесь и далее примечания переводчика.*)

Бэл — в религиях Древней Месопотамии обозначение верховного бога; позднее Мардук, в Финикии — Ваал или Баал

3

Горы в Иране.

4

Емаф, *библ.*

Двойные восьмиугольные призмы Тукульти-палешарра (Tiglath-Pileser) (Тиглатпаласара), обнаруженные в 1862 году в кургане Килех-Шергат. Перевод слов Тигра-Владыки см. в «Story of the Nations» («Истории народов») — Ассирия, с. 52–54. — *Прим. автора.*

6

Тадмор — древнее название Пальмиры.

7

Лифостротон, место в Иерусалиме.

Бусайра, Иордания.

Дейр-Алла, Иордания

Явная ошибка автора; по-видимому, имелся какой-нибудь созвучный топоним.

Сейчас Аль-Синнабра.

По поводу постройки первого Храма.

Т.е. Ахилла.

Тараном.

Одна из древнейших скандинавских легенд описывает Одина как героя, который завоевал обширные территории вокруг Черного моря незадолго до рождения Христа, а затем мигрировал через Россию и основал скандинавские королевства. — *Прим. автора.*

Т. е. 7 стадий — около полутора километров; стадия (стадий) — около 200 м.

Храм, который Клеопатра начала строить в честь Марка Антония; впоследствии стал храмом в честь Августа.

Халид ибн аль-Валид, полководец пророка Мухаммеда.

Ал-Лат, ал-Узза и Манат — богини доисламского пантеона.

Нет другого истинного бога, кроме аллаха, и Мухаммед — посланник его!

Амр ибн аль-Ас.

Аджнадайн.

Красного.

Зейд ибн Хариса.

Племя мидийцев, исповедовавшее зороастризм.

Черного.

Вариант произношения имени Мухаммед в средневековой европейской литературе.

Ладья викингов.

Фраза «Аллаху акбар» («Аллах — велик»).

Крепкая рука.

Место для Тинга — собрания мужчин (аналог вече).

По условиям Яффского договора 1192 года, на три года объявлялось перемирие, Иерусалим оставался под исламским контролем, а взамен предоставлялась свобода для христианского паломничества.

Битва при Арсуфе.

Карибское.

Мыс Доброй Надежды.

Маленькое парусно-гребное судно; катер.

Появление протестантизма.

Проливы, окружающие остров Великобритания.

Боевое построение в виде дуги; задний корабль прикрывал корму переднего.

Пролив между островом Великобритания и Оркнейскими островами, соединяет Северное море с Атлантическим океаном.

Купеческий галеон.

Передний парус.

По-видимому, цинга.

Здесь — служитель инквизиции.

Британия.

«Паломничество Чайльд-Гарольда», третья песнь.

В армии Наполеона фигура орла на древке использовалась в качестве полкового знамени.

Веллингтон.

Идаволл или Идаваллен (сканд. миф.) — равнина, на которой жили и веселились асы.